

НОВЕЛЕСКАЯ ПРИБЛИЖИТЕЛЬНО

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



0 01 00 4899031 0

Джозеф М. Кутзее

В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ



АМФОРА 2004

ДЖОЗЕФ М. КУТЗЕЕ
В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ

[САНКТ-ПЕТЕРБУРГ]

АМФОРА2004

УДК 82/89
ББК 84(6Юж)
К 95

J. M. COETZEE
Waiting for the Barbarians
Life and Times of Michael K

Перевод с английского
А. М. Михалева, И. П. Архангельской, Ю. И. Жуковой

*Издательство выражает благодарность
литературному агентству P. & R. Permissions & Rights Ltd.,
а также Peter Lampack Agency, Inc.
за содействие в приобретении прав*

*Защиту интеллектуальной собственности и прав
издательской группы «Амфора»
осуществляет юридическая компания
«Усков и партнеры»*



Кутзее Дж. М.

К 95 В ожидании варваров: Романы / Пер. с англ. —
СПб.: Амфора, 2004. — 463 с.

ISBN 5-94278-458-2

При чтении южноафриканского прозаика Дж. М. Кутзее нередко возникают аналогии то с французским «новым романом», то с живописью абстракционистов — приверженцами тех школ, которые стараются подавить «внетекстовую» реальность, сведя ее к минимуму. Но при этом Кутзее обладает своим голосом, своей неповторимой интонацией, а сквозь его метафоры пробивается неутасимая жизнь. В книгу вошли романы «В ожидании варваров» и «Жизнь и время Михаэла К.». В 2003 году Кутзее за роман «Жизнь и время Михаэла К.» удостоен Нобелевской премии.

© J. M. Coetzee, 1980
© J. M. Coetzee, 1983
© А. Михалев, И. Архангельская,
Ю. Жукова, перевод, 1989
© «Амфора», оформление, 2003

ISBN 5-94278-458-2

**В ОЖИДАНИИ
ВАРВАРОВ**

I

Я никогда такого не видал: перед глазами у него висят два круглых стеклышка в проволочных петлях. Он что, слепой? Если бы он прятал слепые глаза, я бы еще мог понять. Но он не слепой. Стеклышки темные и снаружи кажутся непрозрачными, но он сквозь них видит. Он говорит, что это новейшее изобретение.

— Они защищают глаза от солнца, — говорит он. — В этой вашей пустыне очень помогает. Меньше щуришься. И голова реже болит. Посмотрите. — Он притрагивается к уголкам глаз. — Никаких морщин. — Он снова опускает стекла на место. Да, действительно. Кожа у него как у молодого. — У нас все в таких ходят.

Мы сидим в лучшей комнате трактира, на столике между нами фляга и тарелка с орехами. Причину его приезда мы не обсуждаем. Он прибыл в связи с чрезвычайным положением, этим все сказано. Мы предпочитаем говорить об охоте. Он рассказывает, как недавно выезжал на великолепную травлю: забили тысячи оленей, кабанов, медведей, до того много, что целую гору туш пришлось так там и оставить («Хотя было жалко»). Я рассказываю о великолепных стаях перелетных гусей и уток, что каждый год опускаются на наше озеро, и описываю здешние способы охоты. Предлагаю свозить его на туземной лодке на ночную рыбную ловлю.

— Презанятнейшее зрелище, — говорю я. — Рыбаки зажигают факелы и бьют над водой в барабаны, чтобы рыба шла прямо в сеть.

Он кивает. Рассказывает о своей поездке в другую приграничную провинцию, где жители едят некоторые виды змей и считают их лакомством: а еще рассказывает, как подстрелил огромную антилопу.

Среди непривычной мебели он двигается неуверенно, но свои темные стекла не снимает. Спать он уходит рано. В трактире он остановился потому, что ничего лучше наш город предложить не может. Трактирщику и служанкам я объясняю, что он очень важная персона.

— Полковник Джолл служит в Третьем отделе, — говорю я. — А Третий отдел в наше время самое важное подразделение Гражданской охраны. — Так, по крайней мере, утверждают сплетни, с большим запозданием доходящие до нас из столицы. Трактирщик кивает, служанки угодливо кланяются. — Мы обязаны произвести на него хорошее впечатление.

Выношу свою циновку на крепостную стену, где ночной ветерок позволяет ненадолго забыть о жаре. На плоских крышах города в лунном свете различаю силуэты спящих людей. Из-под ореховых деревьев с площади еще доносятся приглушенные голоса. В темноте рдеет, как светлячок, чья-то трубка: красная точка то тускнеет, то снова вспыхивает. Лето медленно катится к концу. Сады изнемогают под бременем плодов. В столице я не был со времен моей молодости.

Просыпаюсь до рассвета и на цыпочках спускаюсь по лестнице мимо спящих солдат; они ворочаются, вздыхают и видят во сне своих матерей и не-

вест. Сверху на нас смотрят тысячи звезд. Воистину мы здесь живем на крыше мира. Проснешься среди ночи под открытым небом, и дух захватывает.

Часовой у ворот сидит, скрестив ноги, и крепко спит, мушкет он держит на руках, как ребенка. Каморка привратника закрыта, его тележка стоит снаружи. Иду дальше.

— Условий для содержания заключенных у нас нет, — объясняю я. — Преступления здесь дело довольно редкое, виновные наказываются в основном штрафами или принудительными работами. Этот сарай, как видите, просто кладовка, пристроенная к амбару, где мы храним зерно.

В сарае тесно и воняет. Окон там нет. Двое задержанных лежат связанные на полу. Запах в сарае — от них, застарелый запах мочи. Зову стражника, приказываю:

— Принеси им помыться, и побыстрее.

Пропускаю гостя вперед и вслед за ним вхожу в прохладный сумрак амбара.

— В этом году надеемся собрать с общинных земель три тысячи бушелей. Сеем мы всего один раз. Последнее время погода весьма нам благоприятствует.

Мы ведем разговор о крысах и о способах сокращения их числа. Когда возвращаемся в сарай, там пахнет мокрой золой, а оба арестанта в ожидании стоят на коленях в углу. Один из них старик, другой совсем еще мальчик.

— Их поймали несколько дней назад, — говорю я. — Меньше чем в двадцати милях отсюда был набег. Случай необычный. Как правило, они так близко к крепости не подходят. Этих поймали уже после

набега. Они утверждают, что ни при чем. Если хотите с ними побеседовать, я, разумеется, помогу вам и переведу.

Лицо у мальчика распухло, все в ссадинах, один глаз затек и не открывается. Сажусь перед ним на корточки, треплю по щеке.

— Послушай, — говорю я на приграничном диалекте, — мы хотим с тобой потолковать.

Он никак не отзывается.

— Дурачком прикидывается, — бурчит стражник. — Все ведь понимает.

— Кто его избил?

— Не я, — говорит стражник. — Его таким и привели.

— Кто тебя избил? — спрашиваю я мальчика.

Он меня не слушает. Он смотрит мимо меня, и не на стражника, а на полковника Джолла.

Я поворачиваюсь к Джоллу.

— Вероятно, он ничего подобного не видел. — И поясняю жестами: — Я имею в виду ваши стекла. Должно быть, думает, что вы слепой.

Но Джолл на мою улыбку не отвечает. Как я догадываюсь, в присутствии арестантов полагается вести себя с известной долей официальности.

Опускаюсь на корточки перед стариком:

— Отец, послушай меня. Тебя поймали после угона скота. Дело нештучное, сам понимаешь. Тебя могут наказать.

Старик облизывает губы. Лицо у него серое, измученное.

— Видишь этого господина, отец? Господин приехал к нам из столицы. Он объезжает все приграничные крепости. Его работа — узнавать правду. Другой работы у него нет. Он только узнаёт правду. Если не хочешь говорить со мной, тебе придется поговорить с ним. Ты меня понял?

— Ваша милость, — хрипло произносит старик и откашливается. — Ваша милость, никакие мы не воры. Солдаты схватили нас и связали. Ни за что ни про что. Мы в город шли, нам к лекарю надо. Парнишка этот — сын моей сестры. Нарыв у него, все никак не заживает. Мы не воры. Покажи их милостям свою болячку-то.

Ловко, рукой и зубами, мальчик развязывает тряпку, намотанную выше локтя. Последние слои повязки, пропитанные засохшей кровью и гноем, прилипли к коже, но он отдирает краешек тряпки и показывает мне багровый ободок нарыва.

— Видите, — говорит старик. — Что только ни пробовали, не заживает. Я его к лекарю вел, а нас солдаты схватили. Вот и все.

Мы с моим гостем идем назад через площадь. Мимо проходят, возвращаясь с плотины, три женщины, на голове у них корзины с выстиранным бельем. Женщины с любопытством косятся на нас, но головы на напряженных шеях остаются неподвижными. Солнце палит нещадно.

— Эти двое — единственные, кого мы поймали за многие годы, — говорю я. — Просто случайность. В другое время мы не сумели бы показать вам вообще ни одного варвара. Этот их так называемый разбой не слишком нам досаждал. Бывает, выкрадут пять-шесть овец или отобьют от каравана какого-нибудь мула. Иногда мы их за это наказываем, посылаем карательные отряды. Они ведь в основном из нищих племен, собственного скота у них очень мало, живут они на землях вдоль реки. Так что грабеж для них почти неотъемлемая часть жизни. Старик говорит, они с мальчиком шли к лекарю. Допускаю, что так и было. Кто возьмет старика и больного мальчишку в разбойничий налет?

Внезапно я сознаю, что защищаю их.

— Конечно, полной уверенности нет. Но даже если они лгут, какая вам от них польза — простые невежественные люди?

Я пытаюсь подавить раздражение, которое он вызывает у меня своим загадочным молчанием и дешевой театральной таинственностью темных щитков, скрывающих здоровые глаза. Ходит он, сложив руки перед грудью, как женщина.

— Тем не менее я обязан их допросить, — говорит он. — И сегодня же вечером, если не возражаете. Со мной будет мой помощник. Кроме того, мне понадобится кто-нибудь, знающий местный язык. Может быть, стражник? Он говорит на диалекте?

— Да мы все тут на нем объясняемся. Мое присутствие было бы для вас нежелательно?

— Вам будет неинтересно. Мы действуем отработанными методами.

Никаких криков из амбара я не слышу, хотя многие потом утверждают, что слышали. Занимаясь в тот вечер своими обычными делами, я ни на миг не перестаю думать о том, что, возможно, сейчас происходит; более того, я сознательно настроил свой слух на регистр человеческой боли. Но амбар — здание массивное, с тяжелыми дверями и крохотными оконцами, да и стоит он далеко, за скотобойней и мельницей, в южном квартале. К тому же застава, ставшая впоследствии приграничной крепостью, постепенно переросла в земледельческое поселение, в город, где живут три тысячи душ и где шум повседневной жизни, которым эти души наполняют теплый летний вечер, не затихнет лишь из-за того, что кто-то где-то кричит. (Вот я уже и начал оправдываться.)

Когда у полковника Джолла выпадает свободное время и мы снова встречаемся, я подвожу разговор к вопросу о пытках.

— А что, если допрашиваемый говорит правду, но понимает, что ему не верят? — спрашиваю я. — Ведь это ужасно, вам не кажется? Представьте себе: человек готов во всем признаться, он признаётся, больше ему признаваться не в чем, он сломлен, но на него все равно давят и требуют новых признаний! И какую огромную ответственность берет на себя допрашивающий! Как вы вообще определяете, когда вам говорят правду?

— По тону голоса, — отвечает Джолл. — Когда человек говорит правду, голос у него звучит в некой особой тональности. Распознать ее нам помогают специальная подготовка и практический опыт.

— Тональность правды?! А в обычной, обыденной речи вы тоже ее слышите? Вот сейчас, например, вы можете определить, правду я говорю или нет?

За все время нашего знакомства мы с ним впервые так откровенны, но он небрежно перечеркивает великий миг легким взмахом руки.

— Нет, вы меня не поняли. Я говорю лишь о вполне определенных обстоятельствах, когда правды необходимо доискиваться, когда, чтобы установить истину, я вынужден применять нажим. Сначала в ответ я слышу только ложь — это, знаете ли, проверено, — итак, сначала идет ложь, я нажимаю, снова идет ложь, я нажимаю сильнее, наступает перелом, затем я нажимаю еще сильнее, и вот тогда уж слышу правду. Так и устанавливается истина.

Примем боль за истину, все прочее подвергнем сомнению. Вот что я выношу из беседы с полковником Джоллом, а воображение усердно рисует мне картинки из его жизни в столице, куда ему явно не

терпится скорее вернуться, и где он — ах, эти безукоризненные ногти, этот лиловый платочек, эти изящные ноги в мягких туфлях! — разгуливает в антрактах по фойе и сплетничает с приятелями.

(Но, с другой стороны, кто я, чтобы доказывать, что между нами лежит пропасть? Я с ним пью, я с ним ем, я знакомлю его с нашими достопримечательностями, я оказываю ему всяческое содействие, как повелевает его мандат, и так далее. Империя требует от своих подданных не любви друг к другу, а лишь выполнения каждым его долга.)

Отчет, который он представляет мне, как городскому судье, лаконичен.

«В ходе допроса были выявлены противоречия в показаниях задержанного. Когда ему было указано на эти противоречия, он пришел в ярость и напал на офицера, проводившего допрос. В последовавшей схватке задержанный сильно ударился о стену. Попытки вернуть его к жизни оказались безуспешными».

Для составления протокола в полном соответствии с буквой закона я вызываю стражника и прошу его дать свидетельские показания. Он излагает факты, я записываю: «Задержанный разъярился и напал на приезжего офицера. Меня вызвали на помощь, чтобы его утихомирить. Но пока я пришел, схватка уже кончилась. Задержанный был без сознания, из носа у него текла кровь». Я показываю ему, где расписаться. Он почтительно берет у меня перо.

— Этот офицер объяснял тебе, что ты должен мне говорить? — тихо спрашиваю я.

— Так точно, — отвечает он.

— Руки у задержанного были связаны?

— Так точно. То есть никак нет.

Я отпускаяю его и выписываю разрешение на похороны.

Но потом, вместо того чтобы лечь спать, беру фонарь, пересекаю площадь и в обход, переулками, добираюсь до амбара. Стражник сменился, перед дверью пристройки спит, завернувшись в одеяло, другой, такой же простой крестьянский парень. Сверчок в амбаре, заслышав мое приближение, смолкает. Завос громко звякает, но стражник не просыпается. Поднимаю фонарь выше и вхожу в сарай, сознавая, что вторгаюсь в пределы, ставшие отныне освященными (или, если угодно, оскверненными, хотя какая разница?), в заповедник, оберегающий тайны Государства.

Мальчик лежит в углу на соломе, живой, невероятный. Кажется, что он спит, но его выдает напряженность позы. Руки у него связаны на груди. В другом углу — длинный белый сверток.

Я бужу стражника.

— Кто тебе приказал оставить труп в сарае? Кто зашил его в саван?

Он слышит гнев в моем голосе.

— Это тот, который приехал вместе с господином офицером, с их милостью. Я когда заступал, он как раз тут был. Он мальчишке этому сказал, я сам слышал: ты, говорит, спи со своим дедушкой, а то он озябнет. А потом еще вроде как хотел мальчишку тоже в саван зашить, в тот же самый, но не зашил.

Мальчик лежит все в той же неловкой позе, зажмурив глаза, а мы выносим труп из сарая. Во дворе стражник светит мне фонарем, я поддеваю ножом шов, распарываю саван и откидываю ткань с лица старика.

Седая борода слиплась от засохшей крови. Губы разбиты и оттянуты к деснам, зубы переломаны. Один глаз закатился, вместо другого кровавая дыра.

— Закрой его, — говорю я.

Стражник связывает края распоротого савана. Но узел развязывается.

— Мне сказали, он разбил голову о стенку. А ты что скажешь?

Стражник устало смотрит на меня и молчит.

— Принеси какую-нибудь бечевку и свяжи покрепче.

Я поднимаю фонарь над мальчиком. Тот даже не шевелится; но когда я нагибаюсь и глажу его по щеке, он дергается, его начинает бить дрожь, по телу волнами бегут судороги.

— Не бойся, — говорю я. — Я тебе плохого не сделаю.

Он перекатывается на спину и закрывает лицо связанными руками. Руки у него опухли и побаливали. Я пробую распутать веревки. Рядом с этим мальчиком я почему-то особенно неловок.

— Послушай меня: ты должен сказать господину офицеру всю правду. Ничего другого ему от тебя не надо. Как только он поверит, что ты говоришь правду, он тебя больше не тронет. Но ты должен сказать ему все, что знаешь. На каждый вопрос ты должен отвечать только правду. Если будет больно, не отчаивайся. — Узел наконец поддался, и мне удалось ослабить веревки. — Потри руки, надо разогнать кровь.

Беру его руки в свои и мну их. Морщась от боли, он сгибает пальцы. Зачем кривить душой, я сейчас играю жалкую роль матери, утешающей ребенка в коротких промежутках между вспышками отцовского гнева. И я уже понял, что, допрашивая, мож-

но поочередно менять две маски и пускать в ход два голоса: один — суровый, другой — ласковый.

— Его вечером кормили? — спрашиваю я стражника.

— Не знаю.

— Тебе поесть давали? — Мальчик мотает головой. Мне все больше не по себе. Зря я впутался в эту историю. Чем она кончится, неизвестно. Поворачиваюсь к стражнику: — Я уже ухожу, но у меня к тебе три просьбы. Во-первых: когда руки у него отойдут, свяжешь их снова, но не слишком туго, чтобы не опухли. Во-вторых: труп пусть лежит там, где сейчас, то есть во дворе. Назад в сарай его не клади. Утром я пораньше пришло могильщиков, и они его заберут. Если кто-нибудь начнет задавать вопросы, скажешь, что я тебе так приказал. И в-третьих: сейчас ты запрешь сарай и пойдешь со мной на кухню. Я дам тебе для мальчика какой-нибудь еды, ты вернешься сюда и его накормишь. Пошли.

Я нисколько не собирался во все это влезать. Городской судья, ответственный чиновник на службе у Империи, я дорабатываю оставшийся до пенсии срок на этой тихой границе и мечтаю скорее уйти на покой. Я собираю церковную десятину и налоги, распоряжаюсь общинными землями, слежу, чтобы наш гарнизон был обеспечен всем необходимым, руковожу младшими офицерами — других у нас здесь и нет, — надзираю за торговлей и дважды в неделю председательствую на судебных заседаниях. А еще люблю восходы и закаты, ем, сплю и живу в свое удовольствие. Когда я умру, в «Новостях Империи», надеюсь, появятся заслуженные мною три строчки мелкого шрифта. Спокойная жизнь в спокойное время — ничего больше я для себя не ищу.

Но с прошлого года из столицы начали доходить слухи о волнениях среди варваров. Торговые караваны, двигавшиеся по прежде безопасным дорогам, подвергались нападениям и грабежу. Участились и стали более дерзкими случаи угона скота. Исчезло несколько чиновников, проводивших перепись; их трупы нашли потом в наспех вырытых могилах. В губернатора одной из провинций во время инспекционной поездки стреляли. Кое-где произошли стычки с отрядами пограничной охраны. Племена варваров вооружаются, твердили слухи; Империи следует принять предупредительные меры, ибо война неизбежна.

Сам я с подобными происшествиями не сталкивался. Мои собственные наблюдения подсказывали, что каждые тридцать — сорок лет слухи о варварах непременно вызывают всплеск истерии. Любой женщине, живущей в приграничной полосе, не раз снится, как из-под кровати высовывается смуглая рука варвара и хватает ее за щиколотку; любой мужчина не раз в ужасе представляет себе, как варвары пируют в его доме, бьют стекла, поджигают занавески, насилюют его дочерей. Все эти фантазии — порождение слишком беспечной жизни. Покажите мне собранную варварами армию, тогда я поверю.

В столице опасались, что северные и западные племена варваров наконец решили объединиться. Офицеров генштаба начали направлять на границу с проверками. Усиливали отдельные гарнизоны. По просьбе некоторых торговцев караванам придавали группы военного сопровождения. И, чего никогда раньше не было, в приграничную полосу стали наведываться сотрудники Третьего отдела Гражданской охраны — стражи безопасности Империи, знатоки, выявляющие самые скрытые поползнове-

ния смуты, поборники истины, мастера допросов. Так что, полагаю, для меня отныне кончилась черед безмятежных лет, когда ко сну я отходил со спокойной душой, зная, что там подтянешь, здесь подкрутишь, и все будет, как и прежде, катиться по наезженной колее. Если бы у меня хватило ума попросту сдать двух этих недотеп полковнику, размышляю я («Извольте, полковник, вы свое дело знаете, вы с ними и разбирайтесь!»), если бы я, как и следовало, уехал на несколько дней на охоту, скажем, в верховья реки, а потом возвратился и, не читая или небрежно пробежав равнодушными глазами его отчет, поставил бы внизу свою печать и не спрашивал бы себя, что на самом деле означает слово «допрос» и что прячется за ним, как привидение за кладбищенской оградой, — если бы у меня хватило ума поступить правильно, тогда, вероятно, я смог бы сейчас вернуться к моим привычным занятиям: постреливал бы уток, выезжал на соколиную охоту, лениво предавался плотским утехам, а там, глядишь, беспорядки успели бы кончиться и границу перестало бы лихорадить. Но, увы, никуда я не уехал: просто на время запретил себе слышать вопли, доносившиеся из пристроенной к амбару кладовой, а потом, вечером, взял фонарь и отправился туда, чтобы увидеть все собственными глазами.

Куда ни глянь, земля до самого горизонта бела от снега. Снег падает с неба, озаренного светом, который исходит не из одной точки, а рассеян равномерно и повсюду, словно солнце расплавилось и превратилось в дымку, в ауру. Во сне я прохожу через гарнизонные ворота, иду мимо голого флагштока. Городская площадь передо мной расплзается,

края ее сливаются с мерцающим небом. Стены, деревья, дома — все вдруг съезжилось, потеряло незыблемость, отодвинулось куда-то за пределы мира.

Я скольжу по площади, и постепенно сквозь белизну проступают темные силуэты, фигурки играющих детей: дети строят из снега замок, сверху они воткнули в него маленький красный флажок. От мороза детей защищают варежки, сапожки, шарфы. Пригоршню за пригоршней носят дети снег, стены их замка становятся все толще и рельефнее. От детей клубочками отлетает белый пар дыхания. Крепостной вал вокруг замка уже наполовину построен. Напрягаю слух, чтобы хоть что-то уловить в странном плывущем гомоне детских голосов, но не разбираю ни слова.

Я понимаю, что я — огромное темное пятно, и потому не удивляюсь, когда при моем приближении детские фигурки бесследно тают. Все, кроме одной. Девочка в капюшоне — она старше других, может быть, даже уже не девочка, а девушка — сидит, отвернувшись от меня, на снегу и мастерит ворота замка: ноги ее развернуты коленями наружу, руки роют, приминают, лепят. Встаю у нее за спиной и наблюдаю. Она не оборачивается. Какое оно, это лицо между лепестками остроконечного капюшона, — я пытаюсь представить его себе, но не могу.

Мальчик лежит на спине, голый; спит, дышит часто и неровно. Тело его блестит от пота. На руке впервые нет повязки, и вскрывшийся нарыв виден целиком. Подношу фонарь ближе. Живот и пах у него сплошь покрыты мелкими струпьями, царапинами, порезами, из некоторых еще сочится кровь.

— Что они с ним делали? — шепотом спрашиваю у стражника, того же паренька, который был здесь вчера вечером.

— Да ножом, — шепотом отвечает он. — Просто маленьким ножичком. Вот таким. — Двумя пальцами, большим и указательным, он показывает длину ножа. Потом зажимает воображаемый нож в руке, с маху вонзает его в тело спящего мальчика и слегка покручивает, как ключ в замочной скважине, то вправо, то влево. Затем вытаскивает его, опускает руку и снова неподвижно замирает.

Опускаюсь возле мальчика на колени, свечу фонарем ему в лицо и тормошу его. Он вяло открывает глаза, но тотчас закрывает их снова. Глубоко вздыхает и начинает дышать не так часто.

— Мальчик! — говорю я. — Тебе снится страшный сон. Ты должен проснуться.

Он открывает глаза и, щурясь от света, глядит на меня. Стражник приносит склянку с водой.

— А сидеть он может? — спрашиваю я. Стражник отрицательно качает головой. Потом приподнимает мальчика и подносит склянку к его губам.

— Послушай, — говорю я. — Мне сказали, что ты сознался. Как мне сказали, ты подтвердил, что вместе со стариком и другими мужчинами вашего племени вы угоняли овец и лошадей. Ты сказал, что ваше племя вооружается и что весной все вы объединитесь для великой войны против Империи. Ты говорил правду? Ты хоть понимаешь, что может наделать твое признание? Ты это понимаешь? — За молкаю; весь мой пыл напрасен, в глазах у мальчика пустота и усталость, как у человека, пробежавшего огромное расстояние. — Ведь теперь солдаты станут нападать на твой народ. Начнется резня. Ваши люди будут гибнуть, может быть, погибнут

даже твои родители, твои братья и сестры. Неужели ты и вправду хочешь, чтобы это случилось?

Он не отвечает. Трясу его за плечо, бью по щеке. Он даже не вздрагивает; у меня ощущение, что я дал пощечину мертвецу.

— Наверно, ему очень плохо, — шепчет за спиной стражник. — У него все болит, и ему очень плохо.

Мальчик смотрит на меня и закрывает глаза.

Вызываю единственного здешнего лекаря, старика, который зарабатывает на жизнь тем, что рвет горожанам зубы и готовит любовные эликсиры из косяной муки и крови ящериц. На нарыв он ставит мальчику припарку из глины, а десятки порезов и ранок смазывает жирной мазью. Через неделю встанет на ноги, обещает он. Потом советует кормить больного посытнее и торопливо уходит. Откуда у мальчика эти увечья, он не спрашивает.

Полковник же горит нетерпением. Он задумал совершить набег на кочевников и захватить побольше пленных. Мальчика он хочет взять с собой проводником. Меня полковник просит дать ему тридцать из сорока солдат нашего гарнизона и обеспечить отряд лошадьми.

Пытаюсь его отговорить.

— Не в обиду будь сказано, полковник, но вы все же не настоящий военный, — начинаю я. — И вам не приходилось воевать в этом диком краю. Опытных проводников у вас нет, а этот ребенок до того вас боится, что готов наплести что угодно, только бы вы были довольны, да и, кроме того, он еще слишком слаб для такого путешествия. Солдаты вам тоже вряд ли чем-то помогут, они всего лишь простые деревенские рекруты, и многие из них не

отъезжали от гарнизона дальше чем на пять миль. Варвары же почуют ваше приближение еще за день и скроются в пустыне. Они живут здесь всю жизнь, они эти места знают. А вы и я — мы с вами здесь чужие, и к вам это относится даже в большей степени, чем ко мне. Я искренне не советую вам ехать.

Он внимательно меня выслушивает и, более того (как мне кажется), поощряет мою болтливость. Не сомневаюсь, что позже этот разговор записывается и против моего имени ставится пометка «неблагонадежен». Услышав все, что его интересовало, он отмахивается от моих доводов.

— Поймите, судья, мне дано четкое задание. Только я сам могу определить, когда оно будет выполнено. — И продолжает приготовления к походу.

Ехать он собирается в своей черной двухколесной карете, к которой сверху привязаны походная кровать и складной письменный стол. Я выделяю для отряда лошадей, повозки, фураж и провизию на три недели. Вместе с полковником едет и наш гарнизонный лейтенант. Я приглашаю его к себе, разговор идет с глаза на глаз.

— Не полагайтесь на проводника. Он слаб и запуган. Следите за погодой. Запоминайте ориентиры. Ваша главная забота привезти нашего гостя целым и невредимым.

Лейтенант кланяется.

Снова иду к Джоллу, пробую выведать его намерения.

— Да, — говорит он. — Конечно же, я не берусь предугадать весь ход событий. Ну а если в общих чертах, то сначала мы отыщем стоянку этих ваших кочевников, а дальше будем действовать по обстоятельствам.

— Я вас об этом спрашиваю только потому, — продолжаю я, — что, если вы заблудитесь, именно нам выпадет задача найти вас и вернуть в лоно цивилизации.

Мы оба умолкаем и каждый по-своему смакуем иронический смысл последнего слова.

— Да, конечно, — говорит он. — Но такое вряд ли случится. К счастью, вы же сами снабдили нас превосходными картами.

— Эти карты, полковник, составлены в основном с чужих слов. Я только свел воедино все, что за последние десять — двадцать лет узнал из рассказов путешественников. В местах, куда вы направляетесь, сам я никогда не был. Я лишь хочу вас предостеречь.

Его присутствие в нашем городе уже на второй день настолько вывело меня из равновесия, что я с ним холодно вежлив, не более. Вероятно, за годы работы разъездным палачом он привык, что его чуются. (Но, может быть, в наши дни палачей и экзекуторов продолжают считать нечистью только в провинции?) Я гляжу на него и гадаю, что он почувствовал в первый раз, в тот, самый первый раз, когда его, еще не мастера, а ученика, попросили рвануть клещи, или закрутить тиски, или не знаю, что там у них еще принято; дрогнуло ли хоть что-то в его душе, когда он понял, что в этот миг преступает запретную черту? А еще я ловлю себя на том, что хотел бы узнать, есть ли у него какой-то свой, личный ритуал очищения, совершаемый за закрытыми дверями и позволяющий ему потом выйти к людям и преломить с ними хлеб. Может быть, он, к примеру, очень тщательно моет руки или переодевается во все чистое, или, может быть, Третий отдел вывел новый вид человека, который способен без малей-

шего волнения погружаться в скверну и так же невозмутимо из нее выходить?

Поздно вечером с другого конца площади, из-под старых ореховых деревьев, несется пиликанье и громыканье оркестра. В воздухе розовое марево от кучи раскаленных углей, на которых солдаты жарят целого барана, подарок от «их милости». Солдаты будут пьянствовать полночи, а на рассвете двинутся в путь.

Переулками дохожу до амбара. Стражника на месте нет, дверь в пристройку открыта. Заношу ногу через порог, но вдруг слышу, как в глубине сарая кто-то перешептывается и хихикает. Вглядываюсь в сплошную темноту и спрашиваю:

— Кто здесь?

Что-то трещит, и уже знакомый мне молодой стражник чуть не сбивает меня с ног.

— Извините, ваша милость, — говорит он. От него разит ромом. — Меня арестант позвал, и я, стало быть, хотел ему помочь.

Из темноты раздается громкий смех.

Я сплю, просыпаюсь от грохота оркестра, играющего на площади очередной танец, снова засыпаю, и мне снится раскинувшееся на спине тело: густые, черные, отливающие золотом волосы узкой полоской тянутся через живот, в паху полоска расширяется и треугольником, похожим на наконечник стрелы, уходит в темную бороздку между ног. Я протягиваю руку, хочу эти волосы погладить, но они вдруг начинают шевелиться. Потому что это не волосы, а пчелы, целый рой карабкающихся друг по другу пчел: измазанные медом, липкие, они выползают из темной бороздки и часто-часто машут крыльями.

Чтобы напоследок не показаться невежливым, верхом провожаю полковника до того места, где дорога сворачивает у озера на северо-запад. Солнце уже поднялось, и озеро так нестерпимо блестит, что я заслоняю глаза рукой. За каретой, устало трясясь в седлах, следуют солдаты, еще не протрезвевшие после ночного кутежа. В середине колонны едет арестант, его поддерживает скачущий рядом стражник. Лицо у мальчика бледное, на лошади он сидит неуклюже, видно, что раны все еще причиняют ему боль. Замыкает колонну вьючный обоз — телеги везут бочки с водой, провиант и тяжелую поклажу: пики, мушкеты, амуницию, палатки. В целом безрадостное зрелище: всадники не держат строя, одни едут с непокрытой головой, другие в тяжелых кавалерийских касках с перьями, третьи в обычных кожаных шапках. Блеск воды слепит, и солдаты стараются смотреть в сторону, все, кроме одного: этот едет, отважно глядя вперед сквозь осколок закопченного стекла, который он прилепил к палочке и, подражая предводителю отряда, держит перед глазами. Как далеко пойдет эта нелепая мода?

Мы едем молча. Жнецы, вышедшие на поля еще до зари, отрываются от работы и машут нам вслед. У поворота натягиваю поводья и прощаюсь.

— Благополучного возвращения, полковник, — говорю я.

С непроницаемым лицом он чуть заметно кивает мне из окна кареты.

И я скачу назад, на сердце у меня легко, я рад снова остаться один на один с миром, который знаю и понимаю. Поднявшись на крепостную стену, смотрю, как отряд короткой змейкой ползет по северо-западной дороге, взяв курс на далекое зеленое пятно, туда, где в озеро впадает река и где узкая полоса

растительности исчезает в дымке пустыни. Медное солнце по-прежнему тяжело висит над водой. К югу от озера простираются болота и солончаки, а за ними тянется сине-зеленая гряда голых холмов. В поле крестьяне нагружают сеном два больших старых фургона. Стая диких уток, описав в небе круг, плавно снижается над озером. Закат лета, время покоя и изобилия. Покой — вот что главное, считаю я, и, может быть, даже любой ценой.

В двух милях южнее города однообразие песчаной равнины нарушено небольшим островком дюн. Ловить в болоте лягушек и кататься со склонов дюн на гладких деревянных санках — излюбленные летние развлечения местной детворы: лягушек дети ловят утром, а с дюн катаются вечером, когда солнце садится и песок начинает остывать. Хотя ветер дует здесь круглый год, дюны не рассыпаются, их удерживают покров чахлой травы и, как я случайно узнал несколько лет назад, деревянные каркасы. Дело в том, что дюны скрывают под собой развалины домов, возведенных в древние времена, еще до присоединения западных провинций, задолго до того, как была построена крепость.

Раскопки этих руин давно стали одним из моих увлечений. В тех случаях, когда городу не требуется рабочая сила для починки оросительных каналов и плотины, я за незначительные нарушения закона приговариваю виновных к нескольким дням работы на дюнах; сюда же я отправляю солдат, получивших дисциплинарные взыскания; было время, когда раскопки настолько меня захватили, что я даже нанимал поденщиков и платил им из своего кармана. Но работать здесь никому не по душе, ведь копать приходится под палящим солнцем или колючим ветром, укрыться негде, отовсюду летит

песок. И потому люди работают в дюнах, не разделяя моего интереса (им он кажется чудачеством); их удручает, что песок тут же ползет обратно. Тем не менее за эти годы мне все же удалось откопать до уровня пола несколько наиболее крупных строений. Одно из них, откопанное последним, выступает из песка, как потерпевший крушение корабль, и его видно даже с городской стены. Среди обломков этого здания, возможно бывшего когда-то общественным учреждением или храмом, я и подобрал тот тяжелый, вытесанный из тополя карниз, который сейчас висит у меня над камином: на карнизе резной узор в виде переплетенных, выпрыгнувших из воды рыб. И там же, в нише под полом, в мешке, который рассыпался от первого прикосновения, я нашел набор деревянных табличек, покрытых значками письменности, не похожей ни на один известный мне алфавит. Такие таблички, разбросанные среди руин, словно бельевые прищепки, мы находили и раньше, но в большинстве они были настолько отполированы песком, что письмена на них стали почти неразличимы. На этих же, новых, каждый значок виден так ясно, будто его вывели вчера. В надежде расшифровать загадочную письменность я принялся собирать все таблички подряд, не отбрасывая ни одной, а играющим в дюнах детям обещал за каждую такую находку небольшое вознаграждение.

Бревна, которые мы откапываем, насквозь высохли и крошатся. Многие из них сохранили свою первоначальную форму только благодаря плотно сковавшему их слою песка и на воздухе мгновенно превращаются в труху. Другие ломаются, едва к ним прикоснешься. Возраст древесины мне неизвестен. В легендах варваров — а все они скотоводы, кочев-

ники, живут в шатрах — не встречается упомина- ний о каком-либо постоянном поселении близ озе- ра. Человеческих останков среди руин нет. Если здесь и было кладбище, то мы его пока не нашли. В раскопанных домах нет никакой мебели. Однаж- ды в куче золы мне попались черепки из необож- женной глины и что-то коричневое, рассыпавшееся на моих глазах в пыль — возможно, когда-то это был кожаный бапмак или шапка. Я не знаю, где брали дерево для строительства этих домов. Может быть, в те далекие времена отсюда гнали к реке преступ- ников, рабов, солдат, и, пройдя двенадцать миль, они вырубали тополя, пилили их, привозили на те- легах отесанные бревна в это голое, бесплодное ме- сто и строили дома, а может быть, и крепость, кто знает, а потом со временем умирали, и все ради то- го, чтобы их хозяева — префекты, судьи, военачаль- ники — могли утром и вечером подниматься на крыши и башни и обозревать мир от края и до края, дабы вовремя заметить приближение варваров. Возможно, в моих раскопках я зацепил лишь самый верхний слой. Возможно, на десять футов ниже ле- жат руины другой крепости, в свое время разрушен- ной варварами и ныне населенной лишь скелетами тех, кто рассчитывал обрести безопасность за вы- сокими стенами. Возможно, стоя на полу раскопан- ного суда — если это строение действительно было судом, — я стою над костями другого судьи, такого же, как я, убеленного сединами слуги Империи, ко- торый пал при исполнении служебных обязаннос- тей, наконец-то столкнувшись с варварами лицом к лицу. Но как это узнать? Подобно кролику, зар- ываться в землю все глубже и глубже? Подскажут ли когда-нибудь разгадку письма на табличках? В мешке табличек было двести пятьдесят шесть

штук. А вдруг это число не случайно? Когда я их впервые пересчитал и заподозрил в числе скрытый смысл, я расчистил свой кабинет и начал раскладывать их на полу: вначале я выложил из них один большой квадрат, потом шестнадцать маленьких, потом перепробовал множество других комбинаций, полагая, что значки, которые я сперва принял за элементы слоговой азбуки, на деле могут оказаться кусочками мозаичной картины, и она, если я набреду на правильный вариант, внезапно откроется передо мной во всей полноте: древняя карта страны варваров или изображение исчезнувшего пантеона. Я даже дошел до того, что изучал отражение табличек в зеркале, складывал их в столбик, объединял поочередно в пары и совмещал половинку одной таблички с половинкой другой.

Однажды вечером — дети уже разбежались по домам ужинать — я в одиночестве бродил среди руин, пока не опустились фиолетовые сумерки и не зажглись первые звезды, пока не наступил тот час, когда, по преданию, пробуждаются ото сна призраки. Как научили меня дети, я приложил ухо к земле, чтобы услышать в ее глубинах то же, что слышат они: глухой шум, стоны, далекую прерывистую дробь барабанов. Щеку ополоснуло шорохом песчинок, катящихся через пустошь из ниоткуда в никуда. Последний свет угас, очертания крепости поблекли, а потом и вовсе растворились в темноте. Я прождал целый час: закутанный в плащ, я сидел, прислонясь к углу древнего дома, в котором когда-то, должно быть, и разговаривали, и ели, и играли на музыкальных инструментах. Я сидел, глядя, как восходит луна, сидел, раскрыв все свое существо навстречу ночи, и ждал знамения, способного подтвердить, что я прав в моих догадках, и то, что окружает меня, то,

что лежит у меня под ногами, есть нечто большее, чем просто песок, глени, ржавчина, черепки и зола. Но знамения не было. Я не испытывал ни трепета, ни леденящего страха. Сидеть в песке было тепло. И вскоре я заметил, что клюю носом.

Я встал, подтянулся и усталю побрел домой сквозь напоенную ароматом темноту; дорогу мне подсказывали тускло мерцавшие в небе отблески домашних очагов. Как это глупо, думал я: вместо того чтобы вовремя вернуться домой, съесть свой солдатский ужин и лечь спать, пожилой человек решает вдруг посидеть в темноте и дожидаться, когда с ним заговорят голоса прошлого. Небо над нами — всего лишь небо, и оно ничуть не презреннее и ничуть не благороднее неба над хибарками, домами, храмами и учреждениями столицы. Небо есть небо, жизнь есть жизнь — все всюду одинаково. Но я, человек, живущий за счет труда других, человек, лишенный изысканных пороков, которыми он мог бы заполнять досуг, — я заботливо лелею свою тоску и пытаюсь усмотреть в пустоте некий пикантный каприз истории. Тщеславие, праздность, самообман! Какое счастье, что никто меня сейчас не видит!

Сегодня, спустя всего четыре дня после выезда полковника в экспедицию, прибывает первая партия пленных. Из своего окна я вижу, как они плетутся через площадь под конвоем едущих верхом солдат; все в пыли, изнуренные, они шарахаются от уже набежавшей толпы, от ревящих детей, от лающих собак. В тени гарнизонной стены солдаты спешиваются; пленные немедленно садятся на корточки отдохнуть, все, кроме маленького мальчика, который остается стоять на одной ноге и, оперевшись

о плечо матери, с любопытством глядит на зевак. Пленные жадно пьют, а толпа тем временем растет и смыкается вокруг них таким плотным кольцом, что мне ничего не видно. В нетерпении жду солдата, который, проталкиваясь сквозь толпу, шагает через двор гарнизона.

— Что все это значит? — кричу я на него. Он кланяется и шарит в карманах. — Они же рыбаки! Зачем вы их сюда пригнали?

Он протягивает мне письмо. Взламываю печать и читаю: «Прошу до моего возвращения держать этих и последующих пленных в полной изоляции». Под его подписью стоит еще одна печать, печать Третьего отдела, которую он взял с собой в пустыню и на поиски которой, если полковник погибнет, мне, без сомнения, придется отправлять вторую экспедицию.

— Он болван! — кричу я. В бешенстве бегаю по комнате. Никогда не следует порицать офицеров в присутствии солдат, равно как и порицать отцов в присутствии детей, но этот человек не вызывает у меня и намека на уважение. — Неужели никто не сказал ему, что они из племени рыбаков? Тащить их сюда напрасная трата времени! Вы должны были помочь ему выследить воров, бандитов, врагов Империи! Разве не видно, что эти люди не представляют для Империи никакой опасности? — Выбрасываю письмо в окно.

Толпа при моем приближении расступается, и вот я уже стою перед кучкой жалких, оборванных пленных. Видя мой гнев, они дрожат, мальчик прижимается к матери. Приказываю солдатам:

— Разгоните толпу и отведите этих людей на гарнизонный двор!

Солдаты подталкивают пленных, все мы входим во двор, ворота за нами закрываются.

— А теперь объясняйте, — говорю я. — Неужели никто не сказал ему, что от этих пленных никакого толка? Неужели вы не сказали ему, что рыбаки с сетями — это одно, а дикие кочевники на лошадях и с луками — совсем другое? Неужели никто не сказал, что у них даже язык разный?

— Когда они нас увидели, они побежали в камыши, — объясняет какой-то солдат. — Они увидели, что мы верхом, и хотели спрятаться. Тогда его милость приказали нам взять их в плен. Потому что они прятались.

От досады я готов выругаться. Жандарм! Логика жандарма!

— А его милость не сказал, зачем нужно гнать их сюда? Он не объяснил, почему не может допросить их на месте?

— Так мы ж никто их языка не знаем, ваша милость.

Ничего удивительного! Эти рыбаки — аборигены, племена «речных людей» появились здесь даже раньше кочевников. Живут они вдоль реки маленькими колониями по две-три семьи, большую часть года ловят рыбу и охотятся, осенью плывут на лодках к далеким южным берегам озера, где ловят и сушат красных червей; ютятся они в хлипких соломенных хижинах, зимой страдают от холода, одеждой им служат шкуры животных. Боятся кого угодно, чуть что прячутся в камышах — что могут они знать о великой кампании варваров против Империи?

Посылаю солдата на кухню за едой. Он приносит вчерашнюю лепешку и протягивает ее самому старому из пленных. Тот почтительно принимает хлеб двумя руками, обнюхивает, ломает лепешку на куски и раздает остальным. Они набивают рот этой райской манной и быстро жуют, не поднимая

глаз. Одна из женщин выплевывает пережеванный хлеб на ладонь и кормит этой кашицей младенца. Делаю знак, чтобы принесли еще хлеба. Мы стоим и смотрим, как они едят, будто перед нами не люди, а экзотические звери.

— Пусть пока поживут во дворе, — говорю я солдатам. — Нас это будет затруднять, но больше держать их негде. Если вечером похолодает, я скажу, как быть дальше. Следите, чтобы их кормили. Придумайте им какое-нибудь занятие, чтобы не сидели без дела. Ворота держите на запоре. Сбежать они не сбегут, но я не хочу, чтобы сюда ходили всякие бездельники и глазели.

Так и получается, что я усмиряю свой гнев и выполняю приказ полковника: держу его бесполезных пленных «в изоляции». А через день-два эти дикари словно и забыли, что когда-то у них был другой дом. Дармовая обильная еда и прежде всего хлеб развратили их, они перестали бояться, улыбаются кому угодно, разгуливают по двору, выбирая, где больше тени, подремывают, потягиваются, а когда приближается время кормежки, приходят в радостное возбуждение. Они лишены стыда и нечистоплотны. Один угол двора превратился в отхожее место, где мужчины и женщины открыто справляют нужду и где весь день жужжат тучи мух. («Дайте им лопату!» — приказываю я; но, получив лопату, пленные ею не пользуются.) Маленький мальчик, напрочь потеряв страх, то и дело бегаёт на кухню и кланчит сахар. Сахар и чай для этих людей такое же ошеломляющее открытие, как хлеб. Каждое утро им выдают брикетик пресованного чая, и они варят его в большой бадье, установленной на треноге над костром. Они здесь всем довольны; если мы их не прогоним, они, чего доброго, останутся

жить у нас навсегда — как мало, оказывается, надо, чтобы соблазнить их и вывести из привычного состояния. Часами наблюдаю за ними из верхнего окна (другие бездельники вынуждены глазеть сквозь решетку ворот). Я наблюдаю, как их женщины дают вшей, расчесывая и заплетая друг другу в косы длинные черные волосы. Некоторых мучают приступы сухого хриплого кашля. Меня удивляет, что, кроме грудного младенца и маленького мальчика, среди них нет больше детей. Быть может, кое-кому, самым проворным и бдительным, все же удалось сбежать от солдат? Хорошо, если так. Мне хочется верить, что, когда мы вернем их домой, на реку, им будет что рассказать соседям о своих удивительных приключениях. Мне хочется верить, что история их житья в плену станет легендой, одной из тех, что переходят от деда к внуку. Но еще мне хочется верить, что воспоминания о нашем городе, о здешней легкой жизни и диковинной пище окажутся не слишком живучи и не помянут их обратно. Мне ни к чему тут целое племя попрошаек.

Несколько дней «речные люди» остаются главным развлечением города: всех забавят их странное бормотанье, их неумный аппетит, животное бесстыдство и внезапные вспышки ярости. Толпясь в дверях казармы, солдаты разглядывают их, отпускают непристойные замечания, которые тем непонятны, и гогочут; к решетке ворот весь день липнут дети; я же наблюдаю сверху, из окна, невидимый за стеклом.

Потом внезапно все мы разом понимаем, что они нам надоели. Грязь, вонь, шумные ссоры, кашель — терпеть это нет сил. Происходит неприятный случай: солдат пытается затащить одну из их женщин в казарму, может быть в шутку, кто знает, и его закиды-

вают камнями. Ползет слух, что они больны и городу угрожает эпидемия. Несмотря на то что я приказываю вырыть в углу двора яму и вывозить нечистоты, на кухне отказываются выдавать пленным миски и бросают им еду прямо на землю, словно они и в самом деле звери. Солдаты запирают двери казармы, дети больше не приходят к воротам. Ночью кто-то перекидывает через стену дохлую кошку, и во дворе поднимается переполох. Долгими жаркими днями они бесцельно слоняются по пустому двору. Младенец плачет, кашляет, снова плачет и снова кашляет — не выдержав, я забиваюсь в самый дальний угол своей квартиры. Пишу резкое письмо в Третий отдел, неусыпно оберегающий Империю, и сердито жалуясь на некомпетентность одного из их эмиссаров. «Почему для расследования пограничных беспорядков вы посылаете людей, не имеющих опыта работы на границе?» — пишу я. У меня достаёт мудрости порвать это письмо. Если глубокой ночью открыть ворота, размышляю я, догадаются ли они сбежать? Но ничего не предпринимаю. Потом в один из дней замечаю, что младенец больше не плачет. Выглядываю в окно, ребенка нигде не видно. Посылаю солдата, он обыскивает мать младенца и находит крошечное мертвое тельце у нее под одеждой. Она не желает с ним расставаться, мы вынуждены силой вырвать его у нее из рук. После этого она весь день в одиночестве сидит на корточках, закрыв лицо, и отказывается есть. Соплеменники, как мне кажется, брезгливо обходят ее стороной. Может быть, отобрав и похоронив ребенка, мы нарушили какой-то их обычай? Я проклиная полковника Джолла за все те неприятности, которые он на меня навлек, и за этот стыд.

Потом, среди ночи, он неожиданно возвращается. На крепостных стенах трубят фанфары, их звуки

вторгаются в мой сон, в казарме суета, солдаты бес-толково хватают оружие. Мысли у меня путаются, одеваюсь я медленно, и, когда наконец появляюсь на площади, отряд уже входит в ворота: одни едут верхом, другие ведут лошадей под уздцы. Я стою в стороне, а собравшаяся толпа окружает солдат, их хлопают по плечу, обнимают, слышится радостный смех («Все живы!» — кричит кто-то), отряд продвигается вперед, и вот в середине колонны я вижу то, чего так страшился: за черной каретой тащатся пленные, они идут гуськом, связанные друг с другом за шею общей веревкой, бесформенные фигуры в одеждах из шкур, озаренные серебряным светом луны; шествие замыкают несколько солдат, которые ведут за собой телеги и вьючных лошадей. Тем временем зрителей набегаёт все больше, кое у кого в руках горящие факелы, шум нарастает, и, не желая присутствовать при триумфе полковника, я пробираюсь сквозь толпу назад, к себе домой. Только теперь я понимаю, как прогадал, выбрав неудобную квартиру над складом и кухней — она предназначалась для военного коменданта, которого в гарнизоне нет уже долгие годы, — вместо того чтобы поселиться в отведенном судье красивом особнячке с геранью на окнах. Как бы я был рад погасить в ушах шум и крики со двора, вероятно теперь уже навсегда превратившегося в тюрьму. Я чувствую себя старым и больным, я хочу спать. В последнее время, едва выпадает свободная минута, я сразу засыпаю, а когда просыпаюсь, мне хочется заснуть снова. Сон перестал быть для меня целебной ванной, восстановлением жизненных сил; он теперь — лишь забвение, лишь еженощная встреча с небытием. Жить на этой квартире и дальше мне вредно, думаю я; но дело не только в этом. Если бы я

жил в положенном мне по чину особнячке на нашей самой тихой улице, если бы по понедельникам и четвергам проводил судебные заседания, каждое утро ездил на охоту, а вечера посвящал чтению классики и не обращал внимания на деятельность этого жандарма-высочки; если бы я благоразумно уехал и, помалкивая, переждал эти черные дни, тогда, возможно, я не чувствовал бы себя сейчас в положении человека, который, попав во власть подводного течения, сдается без борьбы, перестает плыть и поворачивается лицом к морю и смерти. Но я ведь и сам понимаю, как непрочно мое недовольство, как зависит оно от того, например, что какой-то младенец вчера вопил под моим окном, а сегодня не вопит, — именно сознание собственной неустойчивости вызывает у меня величайший стыд и величайшее безразличие к небытию. Пожалуй, я понимаю слишком много, а это недуг, заразившись которым вряд ли излечишься. Я ни в коем случае не должен был брать фонарь и идти выяснять, что происходит в пристройке у амбара. Но, с другой стороны, взяв фонарь, я уже никак не мог поставить его на место. Нить запутывается в клубок сама собой; конца ее мне не найти.

Весь следующий день полковник отсыпается в своих покоях, и прислуга в трактире ходит на цыпочках. Я стараюсь не обращать внимания на новую партию пленных во дворе. Очень досадно, что двери казармы, как и лестница, ведущая в мою квартиру, выходят во двор. С первыми лучами солнца торопливо ухожу из дома, весь день занимаюсь подсчетом городских доходов, а вечером ужинаю у друзей. На обратной дороге встречаю молодого лейтенанта, того, что сопровождал полковника Джолла в пустыне, и поздравляю его с благополучным возвращением.

— Но почему вы не объяснили полковнику, что рыбаки никак не смогут помочь его расследованию?

У лейтенанта смущенный вид.

— Я пытался, — говорит он, — но полковник не слушал. «Пленные есть пленные» — вот все, что он сказал. Ну я и решил с ним не спорить, я не в том звании.

На другой день полковник начинает допросы. Раньше мне казалось, что он ленив, что он попросту бюрократ с порочными наклонностями. Теперь вижу, как я ошибался. В своих поисках истины он не знает усталости. Допросы начинаются рано утром, а когда я после захода солнца возвращаюсь домой, они все еще продолжаются. Полковник взял себе в помощники старика, который всю жизнь проохотился на кабанов в верховьях и низовьях реки и знает сотню слов на речном языке. Одного за другим рыбаков ведут в комнату, где обосновался полковник, и спрашивают, не замечали ли они передвижения каких-нибудь всадников. Вопрос задается даже ребенку: «К твоему отцу не приходили по ночам чужие?» (Я, конечно, могу только догадываться о том, что там происходит, могу лишь представлять себе и этот страх, и растерянность, и унижение.) Затем пленных ведут не назад во двор, а в главный коридор казармы: солдат временно выселили и расквартировали в городе. Закрыв все окна, сижу в тяжелой духоте безветренного вечера, пытаюсь читать и напрягаю слух, чтобы расслышать или, наоборот, не слышать звуки насилия. Наконец в полночь допросы прекращаются, хлопанье дверей и топот сапог смолкают, залитый лунным светом двор погружается в тишину, и я позволяю себе лечь спать.

Радость ушла из моей жизни. Весь день я вожусь с какими-то списками и цифрами, растягиваю

минутную работу на часы. Вечером ужинаю в трактире, потом, не желая возвращаться домой, поднимаюсь наверх, в лабиринт разгороженных клетушек, где ночуют конюхи и где «девушки» принимают у себя мужчин.

Сплю как убитый. Проснувшись, в тусклом свете раннего утра вижу, что моя подруга, свернувшись калачиком, лежит на полу. Я трогаю ее за плечо:

— Почему ты спишь на полу?

Она улыбается:

— Ничего страшного. Мне тут вполне удобно. (Ей действительно там удобно: лежа на мягком ковре из овчины, она потягивается и зевает, ее маленькое тело не закрывает собой и половины ковра.) Ты во сне очень ворочался, потом велел мне уйти, я и решила, что лучше лягу здесь.

— Я велел тебе уйти?

— Да. Во сне. Ты не огорчайся. — Она залезает в постель ко мне под бок. Я обнимаю ее с благодарностью, но без страсти.

— Сегодня вечером, пожалуй, снова к тебе приду, — говорю я. Она по-щенячьи тыкается носом мне в грудь. Я вдруг понимаю, что любое мое слово отзовется в ней сочувствием и лаской. Но что, что я могу ей сказать? «Пока мы с тобой спим, ночью творятся страшные дела»? Шакал выгрызает у зайца нутро, а жизнь как шла, так и идет.

Еще один день и еще одну ночь провожу вдали от царства боли. Засыпаю в объятиях моей девушки. Но утром она снова спит на полу. Видя мое смущение, она смеется:

— Ты брыкался и выпихнул меня. Только не огорчайся. Во сне мы себе не хозяева.

Кряхчу и отворачиваюсь. Я знаю ее уже год, и бывает, что хожу к ней по два раза в неделю. От-

ношусь я к ней со спокойной ровной теплотой, что, наверно, и лучше всего, если мужчина далеко не молод, а девушке двадцать лет; и уж конечно, это лучше, чем страстная требовательная любовь. Иногда я даже подумываю, не позвать ли ее жить у меня. Пытаюсь вспомнить, что же за кошмар снится мне каждый раз, когда я спихиваю ее с постели, но ничего вспомнить не могу.

— Если со мной опять это повторится, обещай, что ты меня разбудишь, — прошу я.

Позже, в суде, когда я сижу у себя в кабинете, докладывают, что ко мне пришли. Входит полковник Джолл и, не снимая своих черных наглазников, садится напротив меня. Предлагаю ему чаю, и мне даже самому странно, что чашка у меня в руке не дрожит. Он говорит, что уезжает. Наверно, надо постараться скрыть радость? Сохраняя безупречно прямую осанку, он потягивает чай и внимательно разглядывает комнату, ярусы полки, хранящих перевязанные ленточкой стопки документов — итог десятилетий скучнейшей административной деятельности, шкафчик с книгами по юриспруденции, заваленный бумагами письменный стол. Он говорит, что временно прекратил расследование и должен спешно отбыть в столицу с отчетом. В его тоне сквозит тщательно скрываемое торжество. Понимающе киваю.

— Если могу чем-либо способствовать вашему путешествию... — говорю я. На мгновение в комнате повисает тишина. Затем небрежно, будто камешек в пруд, роняю в эту тишину мой вопрос: — Ну и как же ваши изыскания, полковник?.. Я имею в виду опросы кочевников и аборигенов... Дали они те результаты, на которые вы рассчитывали?

Готовясь ответить, он складывает руки лодочкой, пальчик к пальчику. Мне кажется, он знает, как раздражает меня его манерничание.

— Да, судья. Могу сказать, что некоторых успехов мы добились. Если к тому же помнить, что подобные расследования согласованно проводятся сейчас и на других участках границы.

— Очень рад. Тогда, может быть, скажете, следует ли нам чего-либо опасаться? Или мы можем спать спокойно?

Уголок его рта кривится в еле заметной улыбке. Затем он встает, кланяется, поворачивается и уходит. Назавтра, ранним утром, в сопровождении своего немногочисленного эскорта он отбывает, выбрав для возвращения в столицу долгий путь по восточной дороге. Все эти трудные дни и он и я умудрились вести себя как воспитанные люди. Я всю жизнь считал, что вести себя иначе недопустимо; в данном же случае, не стану отрицать, я вспоминаю о собственном поведении с гадливостью.

Первым делом посещаю пленных. Отпираю казарму, коридор которой стал их тюрьмой, тошнотворный запах пота и экскрементов мгновенно переполняет меня отвращением, и я распахиваю двери настежь.

— Выведите их отсюда! — кричу я полураздетым солдатам, которые стоят во дворе и, наблюдая за мной, доедают свою овсянку. Из мрака коридора на меня тупо глядят пленные. — Идите туда и все там вымойте! — кричу я. — Чтобы все немедленно вымыто! С мылом! Чтобы все было как раньше!

Солдаты спешат выполнить мой приказ; но почему свой гнев я срываю на них, вероятно, спрашивают они себя. Моргая, прикрывая глаза руками, на залитый светом двор выходят пленные.

Одна из женщин самостоятельно идти не может. Она трясется, как старуха, хотя еще молода. Некоторые настолько ослабели, что не в силах встать на ноги.

Последний раз я видел их пять дней назад (если вообще могу утверждать, что их видел, что позволил себе нечто большее, чем неохотно скользнуть по ним отсутствующим взглядом). Что они вынесли за эти пять дней, мне неизвестно. Согнанные своими стражами в угол двора, они стоят сейчас, сбившись в жалкую кучку, рыбаки и кочевники вместе, больные, голодные, изувеченные, напуганные. Лучше всего было бы немедленно завершить эту мрачную главу всемирной истории, лучше всего было бы стереть этих уродов с лица земли и поклясться, что мы начнем все сначала, что мы встанем у кормила Империи, в которой больше не будет несправедливости, не будет страданий. С очень небольшими денежными затратами можно было бы вывести их строем в пустыню (предварительно накормив, чтобы они смогли идти), заставить их вырыть — из последних сил — большую яму, такую, чтобы хватило места на всех (или даже самим вырыть ее для них!), и, похоронив их там на веки вечные, вернуться в стены города полными новых надежд и дерзаний. Но этот путь не для меня. В «начать сначала», в новые главы и в чистые страницы верят новые люди Империи; я же упорно дочитываю старую, уже написанную книгу, в надежде, что, прежде чем я ее захлопну, она ответит мне, почему я когда-то вообразил, что стоит за нее браться. Итак, раз уж бразды правления в этих краях сегодня снова перешли в мои руки, приказываю, чтобы пленных накормили, чтобы вызвали лекаря и он сделал все, что может; чтобы казарма снова стала казармой и чтобы

были приняты меры, которые позволят пленным вернуться к своей прежней жизни как можно скорее и как можно дальше от нас.

II

Она стоит на коленях в тени стены, неподалеку от гарнизонных ворот, закутанная в слишком просторный для нее балахон; на земле перед ней лежит меховая шапка. Как у всех варваров, у нее прямые брови и блестящие черные волосы. Почему женщина из племени варваров оказалась в городе и просит милостыню? В шапке лишь несколько мелких монет.

В тот день прохожу мимо нее еще дважды. И оба раза она ведет себя как-то странно: пока я далеко, она смотрит прямо перед собой, а когда я приближаюсь, медленно отворачивается. Проходя второй раз, бросаю в шапку монету.

— Уже поздно, и на улице холодно, — говорю я.

Она кивает. Солнце садится в полосу черных туч; северный ветер несет с собой первые снежинки; площадь пуста; иду дальше. На следующий день ее там нет. Подхожу к привратнику:

— Тут вчера какая-то девушка весь день просила милостыню. Кто она и откуда? — спрашиваю я.

Он отвечает, что она слепая. Из тех варваров, которых пригнал полковник. Они все ушли, а ее бросили.

Несколько дней спустя вижу ее на площади: опираясь на две палки, она шагает медленно и неуклюже, полы овчинного балахона волочатся за ней в пыли. Распоряжаюсь, чтобы ее привели ко мне; и вот она уже стоит передо мной на своих подпорках.

— Сними шапку, — говорю я.

Солдат, которому я велел ее привести, снимает с девушки шапку. Да, это она: те же черные волосы, подстриженные на лбу неровной челкой, тот же широкий рот и те же черные глаза, глядящие как бы сквозь меня, как бы мимо.

— Мне сказали, ты слепая.

— Нет, я вижу, — говорит она. И, переведя глаза с моего лица вправо, смотрит на что-то у меня за спиной.

— Ты откуда? — Невольно кошусь через плечо: за спиной у меня ничего нет, она смотрит на голую стену. Взгляд ее тревожно застывает. Наперед зная ответ, повторяю вопрос. Она встречает его молчанием.

Отпускаю солдата. Мы остаемся одни.

— Я знаю, кто ты, — говорю я. — Будь добра, сядь. — Беру у нее палки и помогаю усесться на табурет. Под балахоном на ней широкие льняные панталоны, заправленные в грубые, тяжелые сапоги. От нее пахнет дымом, несвежим бельем, рыбой. Руки у нее в мозолях.

— Ты живешь подаянием? — спрашиваю я. — В городе тебе не место, ты же знаешь. Мы в любое время можем тебя выгнать и отправить назад, к твоему племени.

Она молча сидит и все так же странно глядит перед собой в стену.

— Посмотри на меня, — говорю я.

— А я смотрю. Я так вижу.

Несколько раз провожу рукой у нее перед лицом. Она моргает. Придвигаюсь вплотную и заглядываю ей в глаза. Она переводит взгляд со стены на меня. Молочные, чистые, как у ребенка, белки подчеркивают черноту зрачков. Прикасаюсь к ее щеке; девушка вздрагивает.

— Я спросил, чем ты зарабатываешь на жизнь?

Она пожимает плечами:

— Стираю.

— Где ты живешь?

— Когда где.

— Бродяг мы в город не пускаем. Зима уже на подходе. Тебе нужно найти жилье. Иначе ты должна будешь вернуться к своим.

Она упрямо молчит. Чувствую, что хватит ходить вокруг да около.

— Могу предложить тебе работу. Я как раз ищу кого-нибудь, кто возьмется здесь убирать и стирать. Моя нынешняя служанка меня не устраивает.

Она понимает, о чем я. Сидит очень прямо, руки держит на коленях.

— У тебя кто-нибудь есть? Пожалуйста, не молчи.

— Нет. — Голос у нее срывается на шепот. Она откашливается. — Я одна.

— Я предлагаю тебе работать у меня. Ходить по улицам и просить милостыню ты больше не сможешь. Я этого не разрешу. И тебе нужен кров над головой. Если пойдешь ко мне работать, поселю тебя с моей кухаркой.

— Вы не понимаете. Вам такая не годится. — Она ощупью находит свои палки. Убеждаюсь, что она слепая. — Я ведь... — Она выставляет вверх указательный палец, зажимает его другой рукой в кулак и крутит. Что означает этот жест, мне совершенно непонятно. — Можно я пойду?

До лестницы она добирается сама, но на площадке вынуждена остановиться и ждать, пока я помогу ей спуститься по ступенькам.

Проходит еще один день. Смотрю в окно: ветер гонит по площади вихри пыли. Двое мальчишек играют с обручем. Они запускают его в самую пыль.

Обруч катится вперед, замирает на месте, качается, катится назад, падает. Мальчишки, задрав голову, бегут за обручем, ветер резко откидывает им волосы со лба, и я вижу чистые детские лица.

Нахожу девушку и останавливаюсь перед ней. Она сидит привалившись к стволу большого орехового дерева; может быть, даже спит — понять трудно.

— Пойдем. — Я трогаю ее за плечо. Она мотает головой. — Пойдем, — повторяю я. — Все разошлись по домам. — Поднимаю с земли шапку и, выбив из нее пыль, протягиваю девушке, потом помогаю ей встать и медленно шагаю рядом с ней через площадь, где уже не осталось ни души и только привратник пляшется на нас, загораживая глаза от света.

В камине горит огонь. Задергиваю занавески, зажигаю лампу. Сесть на табуретку девушка отказывается, но палки мне отдает и, опустившись на ковер, стоит посреди комнаты на коленях.

— Все совсем не так, как ты думаешь, — говорю я. Каждое слово дается мне с трудом. Неужели я собираюсь перед ней оправдываться?

Губы ее крепко сжаты, слышать она, без сомнения, тоже ничего не желает — очень ей нужен какой-то старик, да еще терзаемый угрызениями совести! Я суетливо рассказываю вокруг, что-то объясняю про наши законы о бродягах, и сам себе противен. В тепле наглухо закрытой комнаты лицо у нее розовеет. Она тербит свой балахон и, открыв шею, поворачивается к огню. Я мало чем отличаюсь от тех, кто ее пытал, неожиданно сознаю я, и меня передергивает.

— Покажи мне твои ноги, — прошу я каким-то новым для себя, сильным голосом. — Покажи, что они сделали с твоими ногами.

Она мне не помогает, но и не противится. Неловко развязываю тесемки ее балахона, распаиваю его, стягиваю с нее сапоги. Сапоги — мужские и непомерно ей велики. Без сапог ее обмотанные тряпками ноги кажутся бесформенными.

— Дай я посмотрю, — говорю я.

Она начинает разматывать грязные тряпки. Выхожу из комнаты, спускаюсь в кухню и приношу оттуда таз и кувшин с теплой водой. Она сидит на ковре и ждет, ноги она уже размотала. Ступни у нее широкие, пальцы — как обрубки, на ногтях — корка грязи.

Она проводит рукой наискось по лодыжке.

— Вот здесь сломали. И другую тоже. — Она откидывается на спину и, уперевшись локтями в пол, вытягивает ноги вперед.

— Болит? — Я провожу пальцем по линии перелома и ничего не чувствую.

— Уже нет. Зажило. Может быть, зимой заболит. От холода.

— Ты лучше-ка сядь. — Помогаю снять балахон, усаживаю ее на табуретку и начинаю мыть ей ноги. В первые минуты мышцы ее напряжены, потом она их расслабляет.

Действую неторопливо: взбиваю мыльную пену, крепко сжимаю тугие икры, разминаю косточки и связки, скольжу руками вниз, мою между пальцами. Не поднимаясь с колен, меняю положение и сажусь не лицом к ней, а боком, чтобы можно было локтем прижать ее ногу к себе.

Растворяюсь в ритме собственных движений. О девушке я забываю. Время останавливается на неизвестный срок; может быть, меня здесь нет вообще. Потом прихожу в себя: руки у меня обмякли, голова упала на грудь, в тазу передо мной по-прежнему стоят ее ноги.

Я вытираю правую, на коленях ползу вокруг таза, усаживаюсь с другой стороны, закатываю штанину широких панталон выше колена и, борясь с дремотой, принимаюсь мыть левую ногу.

— В этой комнате иногда бывает очень жарко, — говорю я. Но ее нога прижимается ко мне все так же плотно. И я продолжаю мыть. — Я найду тебе чистые бинты, — обещаю я, — но только не сейчас.

Отодвигаю таз и вытираю вымытую ногу. Чувствую, как девушка пытается встать; теперь уж пусть сама, думаю я. Глаза у меня закрываются. Какое, оказывается, великое наслаждение держать их закрытыми, как упоительна эта блаженная зыбкость! Растягиваюсь на ковре. В следующее мгновение я уже сплю. Среди ночи просыпаюсь, окоченевший от холода. Огонь в камине погас, девушки в комнате нет.

Она ест, а я смотрю. Ест она, как едят слепые: уставилась в пустоту и все на столе находит на ощупь. У нее прекрасный аппетит, аппетит молодой здоровой крестьянки.

— Я не верю, что ты видишь, — говорю я.

— Нет, я вижу. Просто, когда я смотрю прямо, там ничего нет, там... — Она делает рукой несколько кругообразных движений, будто моет окно.

— Пятно, — подсказываю я.

— Да, там пятно. Но то, что по краям, я вижу. Левый глаз у меня видит лучше, чем правый. Если бы я не видела, как бы я ходила?

— Это после них у тебя так?

— Да.

— А что они с тобой делали?

Она пожимает плечами и молчит. Тарелка перед ней пуста. Снова накладываю ей тушеных бобов,

которые вроде бы так ей нравятся. Она очень быстро все подчищает, потом, прикрыв рот ладонью, рыгает и улыбается.

— От бобов пучит, — говорит она.

В комнате тепло, балахон висит в углу, сапоги стоят там же, и девушка сейчас только в белой рубашке и панталонах. Когда она не смотрит на меня, я для нее лишь серый силуэт, чьи непредсказуемые передвижения она видит краями глаз где-то сбоку от себя. А когда она смотрит на меня прямо, я — пятно, я — голос, я — запах, я — то живое и сильное, что вчера мыло ей ноги и заснуло и что сегодня кормит ее бобами, а завтра — что будет завтра, она не знает.

Наливаю в таз воды, усаживаю девушку на табурет и закатываю ей панталоны выше колен. Сейчас в воде у нее обе ноги, и видно, что левая завернута внутрь больше, чем правая; я понимаю, что, когда девушка встает, она вынуждена стоять на внешних ребрах стоп. Щиколотки у нее толстые, опухшие, бесформенные, в багровых рубцах.

Начинаю ее мыть. Она приподнимает сначала одну ногу, потом другую. Разминаю и массирую в мягкой молочной пене ее вялые пальцы. Вскоре глаза у меня закрываются, голова падает на грудь. Я испытываю странное блаженство.

Вымыв ей ступни, мою лодыжки, икры, колени. Девушке приходится встать в тазу и опереться о мое плечо. Руки у меня скользят вверх и вниз, от лодыжек к коленям и обратно, вверх и вниз; пальцы щупают, гладят, мнут. Ноги у нее короткие и крепкие, икры мускулистые. Иногда мои пальцы забегают в сгиб под коленом, прослеживают линии сухожилий и вдавливаются в ямку между ними. Легко, как пушинки, пальцы взлетают выше и касаются ее бедер.

Довожу ее до кровати и вытираю теплым полотенцем. Начинаю стричь и чистить ей ногти, но сон уже накатывает на меня волнами. То и дело клюю носом и в оцепенении тяжело клонюсь вперед. Осторожно откладываю ножницы. Затем в чем был, одетый, ложусь рядом с девушкой, головой к ее ногам. Обнимаю ее за икры, опускаю голову ей на колени и в тот же миг засыпаю.

Просыпаюсь в темноте. Лампа погасла, в комнате пахнет горелым фитилем. Встаю и раздергиваю занавески. Девушка спит, сжавшись в комочек, подтянув колени к груди. Когда я прикасаюсь к ней, она стонет и еще больше сжимается.

— Замерзнешь, — говорю я, но она не слышит. Накрываю ее одеялом, потом еще одним.

Сначала идет ритуал мытья, для которого она теперь раздевается догола. Я, как и раньше, мою ей ступни, щиколотки, колени, затем мои руки взбираются выше. Намыленная рука блуждает по ее бедрам совершенно равнодушно, замечаю я. Девушка приподнимает локти, и я мою ей подмышки. Потом живот, груди. Отодвигаю длинные волосы в сторону и мою затылок, шею. Она терпеливо ждет. Окатываю ее чистой водой и заворачиваю в полотенце.

Потом она лежит на кровати, а я натираю ее миндальным маслом. Закрываю глаза, и ритм поглаживающих движений полностью подчиняет меня себе, вытесняя все мысли и чувства; за решеткой камина над высокой кучей поленьев шумит огонь.

У меня нет желания проникнуть в это крепко сбитое маленькое тело, поблескивающее сейчас в отсветах огня. Уже неделю мы не говорим друг другу ни слова. Я дал ей кров, я ее кормлю, я пользуюсь ее

телом — не знаю, уместно ли здесь это выражение, — избрав такой вот странный способ. Первое время, если я позволял себе какие-то особо интимные ласки, она на мгновенье застывала, словно окаменев, но сейчас тело ее остается мягким и податливым. Иногда она засыпает прежде, чем я заканчиваю ее растирать. Спит она крепко, как ребенок.

Под ее незрячим взглядом, в уютном тепле комнаты, я раздеваюсь без всякого стеснения, мне не стыдно своих костлявых ног, обвисшего живота, дряблой стариковской груди, морщинистой, как у индюка, шеи. Не думая о своей наготе, расхаживаю по комнате и иногда, после того, как девушка засыпает, нежусь у огня камина или сижу в кресле и читаю.

Но чаще всего, еще когда я продолжаю ее гладить, на меня накатывает сон, и, погружаясь в забытие, я тяжело, как под ударом меча, валюсь на нее и просыпаюсь только через час или два, с мутной головой, ничего не понимая и изнемогая от жажды. Эти уходы в лишенный сновидений сон похожи на смерть или на колдовской транс; они как провалы в пустоту вне времени.

Однажды вечером, втирая миндальное масло в корни ее волос, массируя ей виски и лоб, замечаю, что в уголке правого глаза у нее притаилась маленькая серая складка, словно туда заползла гусеница и, спрятав головку под веко, так там и осталась.

— Что это? — Я провожу ногтем по серой гусенице.

— Это после них. — Она отталкивает мою руку.

— Тебе больно?

Она отрицательно качает головой.

— Дай я посмотрю.

С каждым днем я все яснее сознаю, что никуда не отпущу эту девушку, пока не расшифрую и не

пойму до конца каждую метку, оставленную на ее теле. Большим и указательным пальцами раздвигаю ей веки пошире. В розовом кармашке верхнего века складка обрывается, головка у гусеницы отрублена. Никаких других отметин на глазу нет. Он совершенно целый.

Всматриваюсь в глубину глаза. Как мне поверить, что обращенный на меня взгляд ничего не видит или видит только то, что по краям: например, мои руки, или углы комнаты, или кружок дрожащего света, но в центре, там, где я, — лишь пятно, размытая пустота? Медленно провожу рукой у нее перед лицом и слежу за зрачками. Они неподвижны. Она не моргает. Потом улыбается.

— Зачем ты это? Думаешь, я не вижу?

Глаза у нее темно-темно-коричневые, почти черные.

Касаюсь губами ее лба.

— Что они с тобой делали? — шепчу я. Язык у меня еле ворочается, я качаюсь от усталости. — Почему ты не хочешь мне сказать?

Она мотает головой. Уже на пороге забывтья вдруг вспоминаю, как мои пальцы, скользя по ее ягодицам, вроде бы нащупали под кожей что-то похожее на два идущих крест-накрест рубца.

— Самое страшное — это наше собственное изображение, — бормочу я. Но она будто и не слышит. Валюсь на кровать, тяну ее за собой, зеваю. Ну расскажи, хочется мне попросить ее, не делай из этого тайну, ведь боль — это всего лишь боль, но слова убегают от меня. Мои руки смыкаются на ее плече, губы утыкаются ей в ухо, я мучительно пытаюсь что-то выговорить — и проваливаюсь в черную пустоту.

Я избавил ее от позорной участи нищенки и определил посудомойкой на гарнизонную кухню. «Всего шестнадцать ступенек — и ты в постели у судьи», — любят говорить о кухарках наши солдаты. Другая их любимая шутка: «Что делает судья каждое утро перед уходом на работу? Сажает свою очередную бабу в духовку, чтобы не остыла». Чем меньше город, тем больше в нем сплетен. У нас тут знают всё и обо всех. Сплетнями пропитан сам воздух, которым мы дышим.

Теперь часть дня она моет посуду, чистит овощи, помогает печь хлеб и готовить извечную солдатскую еду: овсянку, похлебку и жаркое. Кроме нее, на кухне работают еще трое: старая повариха, командующая там чуть ли не с того времени, когда я стал судьей, и две женщины помоложе, одна из которых, самая молодая, в прошлом году пару раз поднималась на шестнадцать ступенек. Поначалу я опасуюсь, что эти две объединятся против нее; но ничего подобного — судя по всему, они быстро находят общий язык. Проходя мимо дверей кухни во двор, я всякий раз слышу пробивающиеся сквозь теплый пар женские голоса, негромкую болтовню, смешки. И хотя сам понимаю, как это глупо, чувствую уколы ревности.

— Работа тебе не в тягость? — спрашиваю я.

— Девушки там мне нравятся. Они хорошие.

— Как-никак лучше, чем просить милостыню.

Верно?

— Да.

Молодые кухарки, если ни одна не заночует на стороне, спят вместе в маленькой комнате в нескольких шагах от кухни. Именно в эту комнату пробирается она в темноте, когда среди ночи или под утро я отсылаю ее прочь. Не сомневаюсь, что ее подружки

всё уже разболтали, и наши свидания в подробностях обсуждаются на базарной площади. Чем старше мужчина, тем нелепее представляется другим каждое его совокушение с женщиной, когда он стонет и хрипит, как подышающее в конвульсиях животное. Притворяться, что я железный, или изображать добродетельного вдовца я не могу. Ежидные усмешки, шуточки, понимающие взгляды — лишь часть цены, которую я смиренно согласился платить.

— Ну и как тебе тут? — спрашиваю я. — Нравится жить в городе?

— В общем-то нравится. Здесь интереснее.

— Ни по чему не скучаешь?

— По сестре скучаю.

— Если надумаешь вернуться, я прикажу, и тебя отвезут, — говорю я.

— Отвезут куда?

Она лежит на спине, вяло сложив руки на груди. Я лежу рядом, разговариваю с ней шепотом. Как раз в такие минуты все и кончается. Моя рука, только что легко поглаживавшая ее живот, становится неуклюжей, как рачья клешня. Вспыхнувшее было влечение, или не знаю, как это назвать, мгновенно угасает; я вдруг вижу себя со стороны и, с удивлением сознавая, что прижимаюсь к этой апатичной девушке, тщетно пытаюсь вспомнить, что в ней могло вызвать у меня желание; я злюсь на себя за то, что и хочу ее, и не хочу.

Она же не замечает в моем настроении никаких перепадов. Жизнь ее постепенно наладилась и идет заведенным порядком, который ей вроде бы по душе. Утром, когда я ухожу, она приходит убирать квартиру. Потом помогает на кухне готовить обед. Всю вторую половину дня она, как правило, свободна. После ужина, когда кастрюли и сковородки

вычищены, пол вымыт и огонь в плите затушен, она расстается со своими подругами и поднимается по лестнице ко мне. Раздевается и, улегшись в постель, ожидает моих непонятных ей знаков внимания. Иногда я к ней подсаживаюсь, ласкаю ее и без особой надежды на успех жду, что во мне разыграет кровь. А иногда сразу же задуваю лампу и тоже ложусь в постель. В темноте она скоро забывает обо мне и засыпает. А я просто лежу рядом с этим молодым здоровым телом, которое от сна наливается еще большим здоровьем и в тишине само себя лечит, упорно врачуя даже навсегда погубленные глаза и ноги, чтобы снова стать единым целым.

Мысленно возвращаюсь в недавнее прошлое и пытаюсь вспомнить ее такой, какой она была раньше. Я почти уверен, что видел ее в тот день, когда солдаты пригнали ее сюда вместе с другими варварами, связанными за шею общей веревкой. Я знаю, что наверняка скользнул по ней взглядом, когда вместе с остальными она сидела во дворе гарнизона, растерянно ожидая, что будет дальше. Мои глаза должны были задержаться на ней; но это мгновение не запало в память. В тот день она еще не несла на себе мету палачей; но мне не под силу убедить себя, что она не всегда была меченой, так же как и не под силу поверить, что когда-то она была ребенком, маленькой девочкой с косичками, которая бегала за своим любимым ягненком в том далеком-далеком мире, где я уверенно шагал по земле в лучшие годы моей жизни. Как я ни напрягаю память, мое первое воспоминание о ней остается неизменным; стоящая на коленях девушка просит милостыню.

Я еще ни разу не овладел ею. С самого начала моя страсть избрала не прямой, не столь прямолинейный путь. Стоит мне только подумать, что моя вы-

сохшая старческая плоть может вторгнуться в эту юную полнокровную теплоту, и я тут же представляю себе, как в молоко капают кислотой, как в мед сыплот золу, как в хлеб подмешивают мел. Когда я гляжу на ее нагое тело, а потом перевожу взгляд на свое, мне не верится, что некогда силуэт человеческой фигуры представал в моем воображении цветком, распускающимся из бутона чресел. И ее, и мое тело, оба они — нечто растекающееся, газообразное, зыбкое, в одних местах вдруг закручивающееся вихрями, в других — застывающее, густеющее; но в то же время всегда плоское, ровное. Как облако в небе не знает, что ему делать с другим облаком, так и я не знаю, что мне делать с ней.

Слежу, как она раздевается, в надежде уловить в ее движениях намеки на былую раскованность. Но даже в том, как она снимает через голову рубашку и отшвыривает ее, чувствуется досада, настороженность, напряженность, словно она боится наткнуться на невидимое препятствие. На лице у нее недоверчивость зверька, который знает, что за ним наблюдают.

Недавно я купил у одного охотника черно-бурого лисенка. Ему всего два-три месяца, мать, наверно, только что отняла его от груди, зубы у него как мелкая пила. В первый день девушка взяла его с собой на кухню, но он испугался огня и шума, так что теперь я держу его наверху, где он весь день прячется под мебелью. Ночью иногда слышу, как он тихонько царапает когтями пол, разгуливая в темноте. Пьет он налитое в блюдечко молоко, ест обрезки вареного мяса. Постоянно держать лисенка в доме невозможно — в комнатах уже пахнет, но он еще слишком мал, чтобы выпускать его во двор. Раз в три-четыре дня я зову внука поварихи,

и мальчик, ползая за комодом и под стульями, выгребает помет.

— Очень красивый зверек, — говорю я.

Она пожимает плечами.

— Зверям место на воле.

— Хочешь, я отнесу его к озеру и отпущу?

— Пока нельзя. Он еще слишком маленький и умрет с голода, или собаки загрызут.

И лисенок остается в доме. Изредка его остроносая мордочка высовывается из какого-нибудь темного угла. Но чаще он дает о себе знать только шумом по ночам и всепроникающим острым запахом мочи; а я тем временем жду, когда он достаточно подрастет и я смогу от него избавиться.

— Будут говорить, что я держу у себя сразу двух диких зверей — лисенка и девушку.

Шутка ей непонятна, а может быть, не нравится. Она поджимает губы, взгляд ее неподвижно застывает на стене. Я понимаю, что она изо всех сил старается смотреть на меня с презрением. Душа моя переполняется жалостью, но что я могу сделать? Появлюсь ли я перед ней облаченный в судейскую мантию, или встану рядом голый, или вырву ради нее из груди сердце — все равно я останусь таким же, как сейчас.

— Прости меня, — говорю я, и слова равнодушно падают в пустоту. Протягиваю руку и, растопырив толстые, оплывшие пальцы, провожу пятерней по ее волосам. — Конечно, это разные вещи.

Одного за другим вызываю солдат, которые были приставлены к пленным в дни допросов. И все они повторяют одно и то же: с пленными они почти не разговаривали, входить в комнату, где проводился

допрос, им не разрешалось, и что там происходило, они сказать не могут. Но от женщины, подметающей гарнизонный двор, я хотя бы узнаю, как та комната выглядела: «Там был только небольшой стол и табуретки... три табуретки, в углу циновка, а больше вообще ничего... Нет, не очаг, а только жаровня. Я из нее золу вытряхивала».

Теперь, когда жизнь вернулась в обычное русло, эта комната снова занята. По моему приказу четверо размещенных там солдат вытаскивают на галерею свои сундучки, сваливают в кучу матрасы, ставят на них сверху тарелки и кружки, снимают веревки с выстиранным бельем. Захлопываю дверь и остаюсь в пустой комнате один. Погода безветренная и холодная. Озеро уже начало замерзать. Выпал первый снег. Вдали слышу колокольчики саней. Закрываю глаза и стараюсь представить себе эту комнату такой, какой она могла быть два месяца назад, во время визита полковника; но трудно предаваться фантазиям, когда за дверью толкуются четверо молодых парней, которые потирают от холода руки, притопывают и, нетерпеливо дожидаясь, пока я уйду, что-то бормочут, а их теплое дыхание клубится в воздухе.

Опускаюсь на колени и осматриваю пол. Он чистый, его каждый день подметают, он такой же, как пол любой другой комнаты. Над очагом, на стене и потолке копоть. И еще пятно размером с мою ладонь, в том месте, где размазали сажу. А больше на стенах ничего нет. Какие следы вздумалось мне здесь искать? Открываю дверь и машу рукой, чтобы солдаты заносили свои пожитки назад.

Во второй раз задаю вопросы двум солдатам, которые охраняли двор:

— Расскажите поточнее, что происходило, когда пленных допрашивали. Расскажите о том, что вы видели сами.

Отвечает который повыше, шустрый парень с длинным подбородком; я его давно заметил, и он мне нравится.

— Офицер... — начинает он.

— Какой? Из полиции?

— Да... Офицер выходил в коридор, где держали пленных, и на кого-нибудь показывал. Мы того отводили на допрос. А потом приводили обратно.

— Допрашивали по одному?

— Нет, не всегда. Иногда по двое.

— Как вам известно, один из пленных после допроса умер. Вы помните этого пленного? Вы знаете, что они с ним делали?

— Мы слышали, он взбесился и напал на них.

— Это правда?

— Так нам сказали. Я помогал нести его назад в коридор. Где они все спали. Он как-то странно дышал. Очень глубоко и часто. На другой день он умер.

— Продолжай. Я слушаю. Расскажи мне все, что ты помнишь.

Лицо у парня застывает. Его предупредили, чтобы не болтал, я в этом уверен.

— Того мужчину допрашивали дольше всех. Я видел, как после первого допроса он сидел один в углу и держался за голову. — Парень украдкой косится на своего напарника. — И он ничего не ел. С ним была его дочка: она его заставляла, но он все равно не ел.

— А что случилось с дочкой?

— Ее тоже допрашивали, но не так долго.

— Продолжай.

Но парню нечего мне больше сказать.

— Послушай, — говорю я. — И ты, и я знаем, кто его дочка. Она та девушка, которая живет у меня. Это не секрет. Так что рассказывай. Что с ней делали?

— Ваша милость, не знаю я! Я туда и не заходил. — Он просительно поворачивается к своему другу, но тот словно онемел. — Иногда она кричала, ее, наверно, били... Но я не знаю, меня там не было. Когда меня сменяли, я сразу уходил.

— Ты ведь знаешь, что теперь она не может ходить. Они ей переломали ноги. Скажи, они делали с ней все это в присутствии того другого, ее отца?

— Да. Кажется.

— И ты знаешь, что с тех пор она почти ничего не видит. Когда с ней это случилось?

— Ваша милость, у нас же работы было невпроорот: столько пленных, и многие больные! Что у нее ноги сломаны, я знал, а что она слепая, узнал только потом. Я бы все равно не смог ничего сделать! Зачем мне вмешиваться в то, чего я не понимаю?!

Его другу добавить нечего. Отпускаю обоих.

— И не бойтесь, что вы со мной поговорили, — успокаиваю их я.

Ночью мне снова снится тот же сон. Я устало бреду по снегу бесконечной равнины к темным фигуркам, играющим вокруг снежного замка. Завидев меня, дети куда-то ускользают или тают в воздухе. И лишь одна фигурка остается, девочка в капюшоне сидит ко мне спиной. Ее руки продолжают прилепывать снег к стенам замка, а я хожу вокруг, пока наконец не удастся заглянуть под капюшон. Лицо ее лишено каких-либо определенных черт; это лицо зародыша или мордочка крохотного китенка; это вообще не лицо, а просто некая

часть человеческого тела, обтянутый кожей бугор; оно белое; оно — снег. Онемевшими от холода пальцами я протягиваю монетку.

Зима установилась прочно. Ветер дует с севера и будет дуть без передышки еще четыре месяца. Когда я стою у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу, мне слышно, как он посвистывает в щелях карнизов и ворошит отставшую от кровли черепицу. По площади гоняются друг за другом вихри песка, песчинки барабанят в окно. Небо заполнено мелкой пылью, солнце всплывает в оранжевую высь и остается висеть там, медное, тяжелое. Короткие метели то и дело присыпают землю снегом. Нас осадила зима. Поля опустели, у людей пропала нужда покидать стены города, и за ворота выходят разве те немногие, кто зарабатывает на жизнь охотой. Проходящий два раза в неделю смотр гарнизонного войска временно отменен, солдатам разрешили, если кто захочет, переселиться из казармы в город, потому что дел у них теперь мало — только пить да спать. Когда я ранним утром обхожу крепостные стены, половина дозорных будок пуста, немногочисленные часовые закутаны в тяжелые тулупы и с трудом поднимают руку, чтобы отдать честь. Они вполне могли бы остаться дома и спать. До конца зимы Империи ничто не угрожает: в невидимой глазу дали варвары сейчас струдились вокруг своих очагов и тоже стучат зубами от холода.

К нам в этом году варвары не заглядывали. Раньше, бывало, кочевники зимой разбивали вокруг городских стен шатры и занимались торговлей, предлагая шерсть, шкуры, войлок и вещи из кожи в обмен на ткани, чай, сахар, бобы, муку. Кожаные

изделия варваров ценятся у нас высоко, особенно их добротнo спшитые сапоги. Я с давних пор поощряю эту торговлю, хотя и запретил вести ее на деньги. Кроме того, по мере сил слежу, чтобы варваров не пускали в таверны. Я ни в коем случае не хочу, чтобы рядом с городом вырос поселок-паразит, где жили бы поработанные пьянством попрошайки и бродяги. В прежние дни мне всегда было больно видеть, как эти люди, поддавшись вероломным уговорам лавочников, обменивают свои товары на дешевые побрякушки и валяются пьяными в канавах, тем самым подтверждая канонизированный горожанами набор предрассудков: мол, все варвары ленивые, развратные, грязные и тупые. Если приобщение к цивилизации влечет за собой подрыв их устоев и превращает варваров в зависимый народ, то я против такого приобщения, решил я; это убеждение легло в основу моей административной деятельности (и это говорю я, человек, взявший девушку из этого народа себе в наложницы!).

Но в этом году вдоль всей границы опустился занавес. Со стен нашей крепости мы вглядываемся в даль пустыни. Вполне вероятно, что с той стороны на нас точно так же глядят глаза позорче наших. Торговля прекратилась. С тех пор как из столицы сообщили, что ради спасения Империи будет сделано все возможное и любой ценой, мы снова вернулись в эпоху набегов и вооруженных дозоров. И теперь нам остается только держать порох сухим, наблюдать и ждать.

Досут я заполняю прежними увлечениями. Читаю классику; продолжаю составлять описи моих разнообразных коллекций; сверяю имеющиеся у нас разрозненные карты южной части пустыни; в дни, когда колючий ветер ослабеваеt, отправляюсь

с отрядом землекопов расчищать наносы песка вокруг руин; раз, а то и два раза в неделю ранним утром езжу в одиночестве к озеру охотиться на зайцев и антилоп.

Лет тридцать назад антилопы и зайцы водились здесь в таком множестве, что по ночам поля молодой пшеницы сторожили с собаками. Но под натиском города, и прежде всего спасаясь от собак, которые дичали и охотились стаями, антилопы передвинулись на восток и север, в низовья реки, к дальним берегам озера. И теперь, прежде чем приступить к поискам добычи, охотник должен запастись терпением и отскакать на лошади по меньшей мере час.

Иногда, в погожее утро, ко мне будто возвращается молодость, я вновь полон сил и проворен, как мужчина в расцвете лет. Словно невесомый призрак, скольжу я от дерева к дереву. Обутый в сапоги, за тридцать лет насквозь пропитавшиеся смазкой, вброд перехожу студеные ручьи. Поверх камзола на мне просторная медвежья доха. Бороду опутывает иней, но пальцы в рукавицах не зябнут. Глаза мои все видят, уши все слышат, ноздри подрагивают, как у гончей, душу полнит восторг.

Сегодня, стреножив лошадь, оставляю ее на унылом юго-западном берегу, там, где кончается узкий клин осоки, а сам углубляюсь в камыши. Ветер, морозный и сухой, дует прямо в лицо, солнце оранжевым апельсином повисло на горизонте в разливном красными и черными полосами небе. По нелепой случайности мне везет, я почти сразу же набредаю на «водяного козла», барана с тяжелыми изогнутыми рогами и уже по-зимнему косматой шерстью: он стоит ко мне боком и, слегка покачиваясь, обгрызает верхушки камышей. До него меньше тридцати шагов, я вижу мерные круговые дви-

жения его челюсти, слышу, как под ногами у него чавкает грязь. Мне видны даже бусинки льда в ломах шерсти над копытами.

Я еще не успел полностью слиться с окружением; и все же, когда баран, поджав передние ноги, выпрыгивает из камышей, я вскидываю ружье и целюсь ему под лопатку. Делаю это плавным и уверенным движением, но, возможно, ружье блеснуло на солнце, потому что баран еще в воздухе поворачивает голову и видит меня. Цокнув, его копыта касаются льда, он перестает жевать, и мы смотрим друг на друга.

Сердце у меня бьется ничуть не быстрее, чем прежде: судя по всему, мне безразлично, что баран умрет.

Он снова жует — один короткий, косой жевок — и застывает. В тиши ясного утра странное, неясное чувство подкрадывается ко мне откуда-то из глубин подсознания. Пляжу на неподвижно замершего барана, и мне кажется, что сейчас я властен над временем и даже успею заглянуть себе в душу и понять, что вдруг лишило охоту прелести; у меня такое ощущение, будто обычная утренняя охота неожиданно превратилась в значительное событие, от исхода которого зависит — суждено ли барану умереть, истекая кровью на льду, или старый охотник промахнется; будто, пока длится этот окаменевший миг, звезды на небе расположились в особом порядке, при котором все происходящее обретает иной смысл. Пытаясь отделаться от этого неприятного, жуткого чувства, я стою за своим невзрачным укрытием, пока баран наконец не отворачивается и, дернув хвостом, исчезает в высоких зарослях камыша, взбивая копытами землю.

Еще час бесцельно брожу там, потом поворачиваю обратно.

— Никогда прежде мне не казалось, что моя жизнь мне не подчиняется, — говорю я девушке, пробуя объяснить, что случилось.

Ей не по себе от этого разговора, ее тревожит, что я вроде бы требую от нее какого-то ответа.

— Не понимаю. — Она трясет головой. — Разве ты не хотел его подстрелить?

Мы оба долго молчим.

— Когда хочешь что-то сделать, то это и делаешь, — говорит она очень твердо. Она старается выразить свою мысль ясно; но, может быть, она подразумевает другое: «Если бы ты захотел это сделать, то сделал бы». В языке-суррогате, на котором мы с ней объясняемся, нет нюансов. Она, как я заметил, любит констатировать факты и предпочитает категоричные заявления; ей не нравятся предположения, умозрительные вопросы, рассуждения; мы с ней не подходим друг другу. Возможно, варвары именно так воспитывают своих детей: жить надо, не вникая в смысл, полагаясь на мудрость законов, заветных отцами.

— А ты? — говорю я. — Ты всегда делаешь то, что хочешь? — У меня ощущение, что я отпустил поводья и что эти слова занесут меня опасно далеко. — Ты сейчас в постели со мной, потому что ты этого хочешь?

Она лежит голая, умащенное миндальным маслом тело отливает в свете огня зеленоватым золотом трав. Бывают минуты — и сейчас одна из таких минут, — когда влекущее меня к ней желание, обычно смутное и подспудное, вдруг облекается в форму, которая мне привычна. Моя рука гладит, ласкает, свод моей ладони повторяет очертания ее груди.

Она не отвечает на мой вопрос, но я упорствую и, крепко обняв ее, хрипло шепчу ей в ухо:

- Ну не молчи, почему ты здесь?
- Потому что мне больше некуда деться.
- А почему я взял тебя к себе?

Она извивается в тисках моего объятия, рука ее, сжавшись в кулак, встает преградой между ее грудью и моей.

- Ты любишь много говорить, — жалуется она.

Бесхитростное волшебство рассеивается; мы отодвигаемся друг от друга и молча лежим, каждый сам по себе. Какой птице достанет отваги запеть в плену шипов?

- Если охота тебе не в радость, не езд.

Я качаю головой. Смысл рассказанного мною вовсе не в том, но что толку спорить? Как неопытный школьный учитель, я вытягиваю из нее ответы щипцами наводящих вопросов, хотя был бы должен сам открыть ей истину.

— Ты меня все время спрашиваешь, и уж лучше я скажу. Это была вилка, что-то вроде вилки, только всего с двумя зубцами, и на них такие маленькие шарики, чтобы зубцы не кололись. Эту вилку они клали на угли, а когда она раскалялась, тыкали в тебя и жгли. Я потом у многих видела следы.

Я ведь спросил ее совсем о другом! Хочу возразить, но почему-то молчу и слушаю, оцепенев от ужаса.

— Меня они, правда, не жгли. Сначала сказали, что выжгут глаза, но не выжгли. Тот человек поднес мне вилку к самому лицу и заставил на нее смотреть. Чтобы я не закрывала глаза, они держали мне веки. Но мне нечего было им сказать. Вот и все. Тогда-то оно и случилось. Я перестала видеть, как раньше. Теперь на что ни погляжу, посередине — пятно; вижу только то, что по краям. Это трудно объяснить... Но сейчас становится лучше. Левый глаз видит уже лучше. Вот и все.

Сжимаю ее лицо в ладонях и всматриваюсь в мертвые зрачки, из глубины которых на меня бесстрастно глядит мое собственное, дважды повторенное отражение.

— А это? — Я притрагиваюсь к похожей на червяка складке в углу глаза.

— Это так, ничего. Они сюда вилку приложили. Немного обожгло. Здесь не болит. — Она отталкивает мои руки.

— Что ты чувствуешь к тем, кто это сделал?

Она долго молчит, думает. Потом отвечает:

— Я устала от разговоров.

По временам я бунтую против поработившего меня ритуала, против накатывающейся сонливости и этих провалов в никуда. Я перестаю понимать, чем приманило меня к себе это упрямое, неотзывающееся тело, и даже чувствую, как во мне закипает гнев. Я делаюсь замкнутым, раздражительным; девушка поворачивается спиной и засыпает.

В таком вот скверном настроении однажды вечером наведываюсь на второй этаж трактира. Когда я поднимаюсь по шаткой наружной лестнице, мимо меня, опустив голову, сбегает вниз какой-то мужчина, которого я не узнаю. В коридоре стучусь во вторую от лестницы дверь и вхожу. В комнате все так, как мне и запомнилось: постель тщательно застелена, на полочке над кроватью множество разных игрушек-безделушек, горят две свечи, от протянутой через всю стену большой трубы пышет жаром, в воздухе висит аромат флердоранжа. Сама же девушка сидит перед зеркалом. Когда я вхожу, она вздрагивает, но тут же встает, встречает меня улыбкой и закрывает дверь на задвижку.

И я не вижу ничего странного в том, что немедленно сажаю ее на постель и начинаю раздевать. Подергивая плечами, она помогает мне обнажить ее аккуратное тело. «Как я по тебе скучала!» — вздыхает она. «Как приятно снова быть здесь!» — шепчу я в ответ. И как приятно, когда тебе так сладко лгут! Обнимаю ее, зарываюсь в ее теплоту, растворяюсь в ее мягкой птичьей копошине. Тело той, другой, сомкнутое, тяжелое, спящее в моей постели где-то далеко отсюда, кажется мне сейчас неразрешимой загадкой. В эти блаженные мгновенья трудно и вообразить, что могло повлечь меня к тому, чуждому телу. Девушка в моих объятьях трепещет, постанывает и, когда наслаждение достигает пика, вскрикивает. Со счастливой улыбкой погружаюсь в ленивую полудрему, когда вдруг понимаю, что даже не могу вспомнить лицо той, другой. «Она ущербна!» — говорю я себе. И хотя эта мысль сразу же начинает куда-то уплывать, я за нее цепляюсь. Я будто наяву вижу, как сомкнутые глаза и все ее лицо затягиваются пленкой кожи. Гладкое и сплошное, как кулак под черным париком, лицо это растет из туловища, гладкого и сплошного, без выпуклостей и впадин. Содрогаюсь от отвращения и крепче прижимаю к себе мою маленькую женщину-птичку.

Когда позже, среди ночи, я высвобождаюсь из ее объятий, она обиженно скулит, но не просыпается. В темноте одеваюсь, закрываю за собой дверь. Ощупью спускаюсь по лестнице и спешу домой: под ногами хрустит снег, в спину ввинчивается ледяной ветер.

Зажигаю свечу и склоняюсь над тем, что холмиком лежит на кровати, над тем, что, кажется, почти сумело превратить меня в своего раба. Легко, кончиками пальцев вожу по ее лицу: четкий подбородок,

высокие скулы, широкий рот. Касаюсь ее век. Хотя она ничем не выдает себя, я уверен, что она не спит.

Закрываю глаза, глубоко вздыхаю, чтобы унять волнение, и, ни о чем больше не думая, сосредоточенно пытаюсь разглядеть ее с помощью моих слепых пальцев. Красива ли она? Та, от которой я только что ушел, та, чей запах (внезапно понимаю я) она может сейчас на мне учуять, та — очень красива, в этом нет сомнения: ее хрупкая изящность, ее повадки и движения придают особую пронзительность острому наслаждению, которое я с ней познаю. Но об этой я ничего не могу сказать с определенностью. Я не могу усмотреть никакой зависимости между ее женской сущью и моим желанием. Я даже не до конца уверен, что хочу ее. Все мои эротические ухищрения лишены целенаправленности: я кручусь вокруг нее, глажу ее лицо, ласкаю ее тело, но не пытаюсь проникнуть в него и не стремлюсь к этому. Я только что вернулся из постели женщины, с которой за целый год, что я ее знаю, мне ни разу не приходилось учинять допрос моему желанию: хотеть ее означало обнять и войти в ее тело, вторгнуться в покой его глубин и вызвать там самозабвенно бушующую бурю; потом отступить, утихомириться и ждать, пока желание вновь наберет силу. Эта же словно целиком состоит из сплошной гладкой поверхности, по которой я рыщу взад-вперед, отыскивая брешь в неуязвимой броне. Не то же ли чувствовали ее палачи, добиваясь доступа к интересовавшему их секрету, в чем бы он, по их мнению, ни заключался? И я впервые испытываю к ним холодную жалость: какое типичное заблуждение полагать, что ты можешь прожечь, или просверлить, или прорубить себе путь к тайне чужого тела! Девушка лежит на кровати, но вовсе необязательно, чтобы это была кровать. Кое

в чем я веду себя по отношению к ней, как любовник: я раздеваю ее, я ее мою, я ее ласкаю, я рядом с ней сплю, — но с тем же успехом я мог бы привязывать ее к стулу и избивать, интимности в этом было бы ничуть не меньше.

И дело не в том, что со мной, возможно, творится то самое, что бывает с некоторыми мужчинами в определенном возрасте — скатывание по нисходящей, от распутства к мстительному садизму бесильной похоти. Если бы мое нравственное «я» в чем-то менялось, я бы это почувствовал; да тогда бы я и не стал проводить сегодня ночью вернувшийся мне уверенность эксперимент. Я такой же, каким был всегда; но время расколосось, что-то свалилось на меня с неба по чистой случайности: и вот в моей постели лежит это тело, за судьбу которого я отвечаю, или, по крайней мере, вообразил, что отвечаю, а не то зачем бы я его здесь оставил? Пока что, а может, так будет всегда, я попросту пребываю в недоумении. Как мне кажется, все едино: лягу ли я с ней и засну или заверну ее в простыню и закопаю в снег. Тем не менее, склонившись над ней и касаясь кончиками пальцев ее лба, держу свечу осторожно, чтобы воск не пролился.

Мне непонятно, догадывается ли она, куда я ходил; но на другой вечер, когда мерный ритм нашего неизменного ритуала уже почти убаюкал меня, вдруг чувствую, как она останавливает мою руку, задерживает ее у себя на животе и направляет ниже. Несколько мгновений моя рука лежит там неподвижно; потом я капаю на пальцы еще несколько капель теплого миндального масла и начинаю ее ласкать. Она напряженно застывает, потом выги-

бается, дергается и отталкивает мою руку прочь. Продолжаю растирать ее, пока сам тоже не обмякаю, и проваливаюсь в сон.

Я не ощущаю никакого возбуждения в минуту этой впервые взаимной и за все время наибольшей интимности. Девушка не становится мне ближе, да и в ее чувствах ко мне тоже, кажется, ничего не изменилось. Наутро я пытливо вглядываюсь в ее лицо — оно пусто. Она одевается и ковыляет вниз, на кухню, к своим обычным, ежедневным делам.

Я в смятении. «Что я должен сделать, чтобы всколыхнуть тебя?» — слышится мне в глухом шепоте, что с недавних пор постепенно вытесняет из моей головы звучавший там диалог. «Неужели тебя не может всколыхнуть никто?»; и охваченный ужасом, я вижу перед собой ответ, напрашивавшийся с самого начала: лицо, прикрытое маской двух черных стеклянных стрекозиных глаз, из которых на меня смотрит не встречный взгляд, а лишь мой собственный, дважды повторенный образ.

Не веря, в ярости трясую головой. *Нет! Нет! Нет!* — кричу я себе. Это просто я сам из тщеславия искушаю себя всякими домыслами и аналогиями. Откуда оно, это извращенное пристрастие, пускающее корни в моей душе? Почему я, подобно гадающей на чайниках старухе, выискиваю какие-то хитроумные тайны и разгадки? У меня не было и нет ничего общего с палачами, с теми, кто, как тараканы, затаились в темных подвалах. Как я смею допускать мысль, что кровать может быть чем-то кроме кровати, а женское тело — чем-то, кроме обители наслаждения? Я должен доказать, что между мною и полковником Джоллом лежит пропасть! Я не желаю страдать за содеянные им преступления!

Начинаю посещать девушку из трактира регулярно. Днем, пока я сижу в своем кабинете за залом суда, бывают минуты, когда мысли мои разбредаются и я погружаюсь в эротические грезы, возбуждение вздымается во мне жаркой тяжелой волной, и я мысленным взором неторопливо скольжу по ее телу, как сторающий от возжеления мечтатель-юнец; потом неохотно заставляю себя вернуться к скуке писанины или подхожу к окну и смотрю на улицу. Помню, как в первые годы моей службы в этом городе я бродил в сумерках по захолустным кварталам, прикрывая лицо плащом; как иногда чья-нибудь неутомная жена перегибалась через крыльцо, высвеченная отблесками очага, пылавшего в глубине дома, и смело отвечала на мой взгляд; как я вступал в разговоры с молоденькими девушками, гулявшими по двое, по трое, угощал их шербетом, а потом, возможно, уводил одну из них в темноту, в старый амбар, на ложе из мешков. Назначению в приграничную полосу, конечно, не позавидуешь, говорили мне друзья, но все же там есть и свои преимущества: свобода нравов в оазисах, долгие благоуханные летние вечера, сговорчивые женщины с глазами, как вишни. Много лет подряд я рассказывал с сытым видом племенного хряка. Позже моя неразборчивая всеядность постепенно сменилась более осмотрительными связями с экономками и горничными — иногда я поселял их в своих комнатах наверху, но чаще в каморке внизу вместе с кухарками. Я обнаружил, что женщины стали нужны мне реже; я начал больше времени тратить на работу, на свои увлечения, на собирание редкостей, на составление карт.

Более того: бывали тревожные случаи, когда в разгар любовной игры я вдруг чувствовал, что теряю взятый курс, — так рассказчик теряет порой

нить повествования. Я с содроганием вспоминал комические истории о тучных стариках, чье перегруженное сердце внезапно перестает биться, и они с виноватой улыбкой умирают в объятьях своих дам, а потом их трупы приходится выволакивать из постели и бросать в темном переулке, чтобы спасти репутацию заведения. Даже сама кульминация любовного поединка постепенно становилась отстраненной, вялой, превращалась в нелепость. Иногда, на полпути к цели, я вдруг неподвижно замирал, иногда механически доводил дело до конца. Неделями, а то и месяцами я хранил воздержание. Прежнее восхищение теплотой и округлостями женского тела не покинуло меня, но к восторгу теперь примешивалось недоумение. Неужели мне действительно хочется вторгнуться в этот прекрасный храм и завладеть им? — спрашивал я себя. Желание, казалось, несло с собой скорбную боль расставания, которую тщетно было бы отрицать. Кроме того, я теперь не всегда понимал, почему лишь одна из частей моего тела, с ее неразумными прихотями и лживыми посулами, заслуживает в роли проводника страсти наибольшего предпочтения. Порой этот орган представлялся мне совершенно самостоятельным существом, паразитирующей на мне безмозглой тварью, чьи когти так прочно вросли в мою плоть, что отодрать их мне не под силу. С какой стати я должен таскать тебя на себе от женщины к женщине, спрашивал я; неужели только потому, что ты родился без ног? Разве тебе было бы не все равно, если бы ты прилепился не ко мне, а, скажем, к собаке или кошке?

Но в то же время бывало — и особенно в прошлом году, с девушкой, которую в трактире окрестили Звездочкой, хотя у меня она неизменно вызывала сравнение с птицей, — я вновь попадал под власть

прежнего волшебства и вновь начинал мерять наслаждение прежними мерками. И я думал: «Все дело в возрасте, просто желание и апатия циклами чередуются в теле, которое медленно охладевает, готовясь умереть. В молодости я возбуждался от одного запаха женщины; теперь же, судя по всему, волновать меня способны только самые красивые, самые юные, самые новые девушки. Так доживу и до дня, когда меня потянет к мальчикам». И не без отвращения я рисовал себе, какими будут мои последние годы в этом благодатном оазисе.

Вот уже три вечера подряд я прихожу к ней в ее маленькую комнату, приношу в подарок кананговое масло, сладости и горшочек с копчеными молоками, которые, как я знаю, она любит жадно поедать в одиночестве. Когда я обнимаю ее, она закрывает глаза; по телу ее волнами пробегает дрожь, которую легко можно принять за блаженство. Приятель, что рекомендовал мне ее первым, высоко отзывался о ее талантах: «Все это, конечно, обычное актерство, — говорил он, — но она тем и отличается от других, что верит в роль, которую играет». Мне же, как я замечаю, это глубоко безразлично. Захваченный ее спектаклем, я на миг открываю глаза под аккомпанемент ее вскриков, вздохов и стонов, потом снова погружаюсь в темную реку собственного наслаждения.

Три дня подряд мной владеет сладкая истома. Я хожу как во сне, чуть возбужденный, грезящий наяву. Домой возвращаюсь после полуночи и ныряю в постель, не обращая внимания на равнодушное тело рядом с собой. Если утром меня будит ее возня, притворяюсь спящим и жду, когда она уйдет.

Как-то раз, случайно проходя мимо кухни, заглядываю в открытую дверь. Сквозь призрачную завесу пара вижу коренастую девушку, которая сидит

у стола и готовит еду. «А я знаю, кто это», — с удивлением думаю я про себя; но когда иду через двор, в памяти остается только зеленая горка кабачков, высившаяся перед ней на столе. Я сознательно стараюсь перевести мысленный взгляд с кабачков обратно, на руки, которые их режут, а с рук — на лицо. Чувствую, как что-то во мне не хочет, противится. Кабачки, блики света на их мокрой кожице — вот все, что видит мой оцепенелый взор. Будто он наделен волей и не желает сдвигаться. И тогда я смотрю правде в глаза: да, я действительно хочу забыть эту девушку напрочь. Я понимаю, что если бы взял сейчас карандаш и попробовал нарисовать ее лицо, то не знал бы, с чего начать. Неужели она действительно такая безлика? С усилием напрягаю память. Вижу фигуру в шапке и тяжелом бесформенном балахоне: она неуверенно стоит, наклонившись вперед, криво расставив ноги и опираясь на палки. Какое уродство, говорю я себе. Губы у меня сами складываются, чтобы произнести это мерзкое слово. Я удивлен, но не сопротивляюсь: она уродка, уродка, уродка.

В четвертую ночь возвращаюсь домой в дурном настроении, громко топая ногами, мечусь по комнате, и мне наплевать, что я кого-то разбужу. Вечер кончился неудачей, возродившаяся страсть внезапно иссякла. Швыряю сапоги на пол и залезаю в постель с желанием затеять ссору, досадуя, что не на ком сорвать злость, и в то же время стыдясь, что веду себя, как ребенок. Зачем я впустил в свою жизнь эту лежащую рядом женщину, мне совершенно непонятно. Одна мысль об экстатическом трансе, в который я погружался с помощью ее ущербного тела,

наполняет меня холодным омерзением. Что я умудрился в ней увидеть? Пытаюсь вспомнить, какой она была до того, как жрецы боли приступили к исполнению своих обрядов. Не может быть, чтобы мой взгляд обошел ее стороной, когда она вместе с другими пленными варварами сидела во дворе в тот первый день. В сотах моей памяти, в одной из ячеек наверняка что-то отложилось, но извлечь это на поверхность я не способен. Я без труда вспоминаю женщину с ребенком и даже самого ребенка. Я помню мельчайшие подробности: обтрепанный край шерстяного платка, патину пота под светлым пушком детских волос. Я помню костлявые руки мужчины, который потом умер; мне кажется, с некоторым усилием я даже смогу воссоздать в памяти его лицо. Но рядом с мужчиной, там, где должна быть эта девушка, нет ничего, пустое место.

Среди ночи просыпаюсь: она трясет меня за плечи, а в воздухе еще висит эхо протяжного стога.

— Ты во сне кричал, — говорит она. — Ты меня разбудил.

— А что я кричал?

Она что-то бормочет и поворачивается ко мне спиной.

Немного позже она снова меня будит:

— Ты кричал.

Отупевший, встревоженный и злой, я пробую заглянуть в свои мысли, но там лишь круговерть с зияющей на дне черной пустотой.

— Что-нибудь приснилось? — спрашивает она.

— Я ничего не помню.

Может быть, мне опять снилось, как девочка в капюшоне строит снежный замок. Но этот сон непременно оставил бы после себя какой-нибудь привкус, отзвук, отблик.

— Я хочу тебя кое о чем спросить, — говорю я. — Ты помнишь, как вас привели сюда, на гарнизонный двор, в самый первый день? Солдаты заставили вас сесть. Где ты тогда сидела? Лицом куда?

В окно видно, как по лунному диску проносятся ключья облаков. Из темноты слышу возле себя голос:

— Нам приказали сесть всем вместе в тень. Я сидела рядом с моим отцом.

Вызываю в памяти образ ее отца. Стараюсь мысленно воссоздать жару, пыль, запах всех этих изнуренных тел. В тени под стеной казармы одного за другим рассаживаю пленных, всех, кого могу вспомнить. Вот женщина с ребенком, вот ее шерстяной платок, ее голая грудь. Ребенок кричит, я слышу этот крик; ребенок так устал, что взять материнскую грудь у него нет сил. Его мать, растрепанная, страдающая от жажды, потерянно глядит на меня, не зная, можно ли воззвать ко мне о помощи. Дальше я вижу два туманных силуэта. Пусть туманные, зато они есть: я знаю, что память и воображение совместными усилиями сгустят этот туман в четкие формы. Дальше сидит отец девушки, его костлявые руки сложены перед грудью. Шапка надвинута на лоб, глаз он не поднимает. Перевожу взгляд на пространство рядом с ним.

— Ты сидела справа от отца или слева?

— Справа.

Справа от мужчины по-прежнему пусто. Мучительно напрягаясь, различаю даже отдельные камешки на земле перед ним и неровности стены у него за спиной.

— Что ты в это время делала?

— Ничего. Мы все тогда очень устали. Мы шли весь день и ночь до рассвета. Отдохнуть остановились только один раз. Мы все устали и хотели пить.

— Меня ты видела?

— Да, мы все тебя видели.

Обхватываю руками колени и сосредоточиваюсь. Пространство рядом с мужчиной до сих пор не заполнено, но уже возникает смутное ощущение ее присутствия, проступает ее аура. *Еще!* — подстегиваю я себя: сейчас я открою глаза, и она будет там! Открываю глаза. В тусклом свете вижу возле себя контуры ее тела. В неожиданном порыве тянусь к ней, провожу рукой по ее волосам, лицу. Но на мои прикосновения ничто не отзывается. Это все равно что гладить валун, или шар, или любой другой предмет, состоящий сплошь из поверхности.

— Я хочу вспомнить, какой ты была до того, как все это случилось, — говорю я. — И мне трудно. А ты, к сожалению, ничего рассказать не можешь.

Я не жду, что в ответ она возразит, и возражения не следует.

На смену тем, кто уже отслужил на границе свои три года и ждет возвращения домой, в гарнизон прибывает отряд рекрутов-новобранцев. Отрядом командует молодой офицер, который тоже остается в нашем гарнизоне.

Приглашаю его и двух его новых сослуживцев отужинать со мной в трактире. Вечер удается на славу: еда вкусная, выпивки вдоволь, мой гость развлекает нас рассказами о своем путешествии, проходившем в суровую пору года по совершенно незнакомой ему местности. Он потерял троих солдат, рассказывает он: один выпел ночью из палатки справить нужду и так и не вернулся; двое других дезертировали, улизнув в камыши, уже почти на подходе к оазису. От этих смутьянов, как он их называет,

он был даже рад избавиться. Но все же, не кажется ли мне, что с их стороны это было глупо! Очень глупо, отвечаю я; а он хотя бы догадывается, почему они дезертировали? Нет, говорит он, обращались с ними хорошо, со всеми обращались хорошо; но, сами понимаете, рекруты... Он пожимает плечами. Напрасно они дезертировали в конце путешествия, а не в начале, замечаю я. Край у нас дикий. Если они не нашли, где укрыться, их ждет верная смерть.

Разговор переходит на варваров. Он убежден, говорит он, что часть пути варвары издали следили за ним. Вы уверены, что это были варвары? — спрашиваю я. — А кто же еще? — отвечает он. Сослуживцы его поддерживают.

Мне нравится его молодая напористость, его интерес к неизвестной ему жизни в приграничной полосе. То, что он сумел провести сюда свой отряд в такое губительное время года, заслуживает похвалы. Когда наши собеседники, сославшись на поздний час, откланиваются, уговариваю его остаться. Уже за полночь, а мы все говорим и пьем. Узнаю от него, какие новости в столице, где я так давно не был. Перечисляю ему места, воспоминания о которых вызывают у меня ностальгию: украшенные беседками сады, где для публики играет оркестр и где осенью под ногами шуршат опавшие листья каштанов; мой любимый мост, с которого видишь, как отражение луны плавает в ряби волн, расходящихся от круглых каменных опор, словно лепестки райского цветка...

— В штабе бригады, — говорит он, — ходят слухи, что весной против варваров начнут развернутое наступление, чтобы оттеснить их от границы в горы.

Мне жаль прерывать поток воспоминаний. Не хочется заканчивать вечер спором. И все же я в него ввязываюсь.

— Уверен, что это только слухи, — говорю я. — Не может быть, чтобы всерьез так решили. Эти, как мы их называем, варвары, они ведь кочевники, они из года в год кочуют в предгорьях, это их образ жизни. Они ни за что не позволят запереть себя в горах.

Выражение его глаз меняется. Впервые за этот вечер я чувствую, как между нами возникает барьер, извечный барьер между военными и гражданскими.

— Если уж говорить откровенно, — замечает он, — смысл любой войны в том и заключается, чтобы навязать другой стороне решение, которого она никогда не приняла бы по своей воле. — Он разглядывает меня с дерзкой бесцеремонностью свежеиспеченного выпускника Военной школы. И я уверен, что в памяти у него всплывает, конечно же, успевшая широко разойтись история о том, как я отказался сотрудничать с офицером Третьего отдела. Легко могу себе представить, что он сейчас обо мне думает: в его глазах я — мелкий гражданский чиновник, который, просидев в этой дыре столько лет, увяз в местной тягомотине и превратился в провинциала со старомодными взглядами, готового ради сохранения иллюзорного, непрочного мира поставить на карту безопасность Империи.

Он придвигается ко мне ближе, на его вежливом лице мальчишеское любопытство: я все более убеждаюсь, что он надо мной потешается.

— Судья, а если между нами, чем, по-вашему, эти варвары недовольны? — спрашивает он. — Что они от нас хотят?

Самое время вспомнить об осторожности, но я о ней забываю. Самое время зевнуть, уклониться от ответа и пожелать ему спокойной ночи; но я

чувствую, что не могу устоять перед искушением. (Когда только я научусь держать язык на привязи?)

— Они хотят, чтобы мы прекратили заселять их земли. Хотят, чтобы в конечном счете их земли вернулись к ним. Хотят свободно передвигаться со своими стадами с пастбища на пастбище, как было раньше. — Еще не поздно прервать эту лекцию. Но я сам слышу, как голос у меня звучит все громче, и, увы, отдаюсь во власть пьянящего гнева. — Я не стану сейчас говорить о наших недавних набегах на них, кстати совершенно неоправданных, и о последовавших затем проявлениях бессмысленной жестокости, поскольку, как меня уверяли, безопасность Империи была под угрозой. Понадобится много лет, чтобы восполнить ущерб, нанесенный за эти несколько дней. Но не будем об этом; позвольте, я лучше расскажу вам, что удручает меня как должностное лицо даже в мирное время, даже когда на границе все благополучно. Как вам известно, каждый год кочевники заезжают к нам торговать. Ну так вот: походите в такие дни по базару и посмотрите, кого обвешивают и обманывают за любым прилавком, кого осыпают руганью и гонят в шею. Посмотрите, кто вынужден оставлять жен и дочерей сидеть в шатрах из боязни, что в городе над ними надругаются солдаты. Посмотрите, кто валяется пьяным в канаве и кто пинает его там ногами. Презрение к варварам, презрение, с которым к ним относятся все, вплоть до любого паршивого конюха, любого жалкого крестьянина, — вот то, с чем я, человек, облеченный властью судьи, вынужден мириться уже двадцать лет. Как, скажите, искоренить презрение, особенно если в основе его лежат такие ничтожные причины, как разная манера вести себя за столом и некоторое несходство в строении глазного века?

Рассказать вам, о чем я иногда мечтаю? Я мечтаю, чтобы варвары восстали и преподали нам хороший урок, который научит нас уважать их. Мы считаем эти места своими, частью нашей Империи — наша застава, говорим мы, наш город, наш торговый центр. Но они, эти варвары, считают иначе. Мы живем здесь уже более ста лет, мы потеснили пустыню и построили оросительные сооружения, мы разбили здесь поля, возвели крепкие дома, окружили город стенами, но они все равно считают, что мы здесь в гостях, временно. Среди них есть старики, которые помнят рассказы отцов о том, каким был этот оазис раньше: надежно затененное место у озера, с пастбищами, изобильными даже зимой. Именно так они говорят об этом крае и до сих пор; возможно, именно таким они до сих пор его и видят, как будто земли этой ни разу не коснулась лопата, как будто город здесь еще даже не заложен. И они не сомневаются, что недалек тот день, когда мы сложим свой скарб на телеги и отбудем восвояси, туда, откуда прибыли; что в домах наших поселятся мыши и ящерицы; что на возделанных нами колосистых полях будет пастись их скот. Вы улыбаетесь? Хотите, я вам еще кое-что скажу? С каждым годом вода в озере становится все солонее. Это явление легко объяснить — не суть важно. Варварам об этом известно. И они говорят себе: «Подождем, скоро от этой соли их поля захиреют, им нечем будет себя кормить, они должны будут отсюда уйти». Вот что они думают. Что переживут нас.

— Но мы отсюда не уйдем никогда, — спокойно говорит этот молодой человек.

— Вы уверены?

— Да, мы не уйдем, так что они заблуждаются. Даже если возникнет необходимость доставлять

в город провизию из других мест, мы все равно не уйдем. Потому что эти приграничные поселения — передний край обороны Империи. И чем скорее варвары это поймут, тем лучше.

Несмотря на все его обаяние, ему свойственна некоторая твердолобость, привитая, должно быть, в Военной школе. Я вздыхаю. Все мое красноречие было напрасно, ничего я не добился. Его худшие опасения несомненно подтвердились: мало того что я мыслю по старинке, я еще и несколько тронулся умом. Ну а сам я, действительно ли я так уж верю в то, что говорил? Действительно ли я жду не дождусь, когда восторжествует уклад жизни, присущий варварам: интеллектуальный застой, грязь, безразличие к болезням и смерти? Если нам суждено будет исчезнуть, станут ли варвары тратить свой досуг на раскопки наших руин? Станут ли они хранить под стеклом опросные листы наших переписей и амбарные книги наших торговцев зерном, займутся ли расшифровкой наших любовных писем? Быть может, мое возмущение политикой Империи всего лишь недовольное брюзжание старика, не желающего, чтобы потревожили покой тех нескольких лет, которые ему осталось дожить на границе? Я пытаюсь перевести разговор на более приемлемые темы, рассуждаю о лошадях, об охоте, о погоде; но уже поздно, моему юному другу пора идти, а мне пора расплатиться с трактирщиком за сегодняшний вечер.

И снова дети играют в снегу. Среди них и сидящая ко мне спиной девочка в капюшоне. Пока я бреду к ней, завеса падающего снега то и дело скрывает ее из вида. Ноги у меня увязают так глубоко, что я их еле поднимаю. Каждый шаг длится вечность.

Столько снега я в своих снах не видел еще ни разу.

Когда я, пыхтя, приближаюсь к ним, дети отрываються от игры и глядят на меня. Я вижу обращенные ко мне ясные серьезные лица, вьющиеся в воздухе белые клубы дыхания. Продолжаю двигаться к девочке и хочу по дороге улыбнуться детям, погладить их, но лицо мое сковано морозом, улыбка не получается, такое ощущение, будто на губах ледяная корка. Поднимаю руку, чтобы отодрать эту корку: оказывается, руки у меня в толстых перчатках, но пальцы все равно занемели от холода, и когда я притрагиваюсь к лицу, то ничего не чувствую. Тяжело переваливаясь, прохожу мимо детей.

Вот я уже вижу, что эта девочка делает. Она строит из снега крепость, обнесенный валом город, знакомый мне до мельчайших подробностей: зубчатая крепостная стена с четырьмя сторожевыми башнями, ворота с прилепившейся к ним каморкой привратника, улицы и дома, большая площадь, в одном углу которой расположились казармы гарнизона. А вот и то место, где я сейчас стою! Но на площади пусто, и весь город бел, нем и пуст. Тыкаю пальцем в середину площади. «Тебе нужно расставить здесь людей!» — хочу сказать я. Но язык примерз к гортани, как обледеневшая рыбина, изо рта у меня не вырывается ни звука. И все же девочка слышит. Она выпрямляется на коленях и поворачивает ко мне обрамленное капюшоном лицо. В последний миг мне становится страшно, я боюсь разочароваться, боюсь увидеть нечто сплошное, скользкое и гладкое, похожее на внутренний орган, не предназначенный для жизни на свету. Но нет, это — ее лицо, это она, такая, какой я никогда ее не видел: улыбающийся ребенок, поблескивающие белые зубы, лучистые ярко-черные глаза. «Так вот, значит, что нужно видеть!» — думаю я. Мне хочется

преодолеть мое замороженное косноязычие и поговорить с ней. «Ты же в рукавичках; как тебе удастся такая тонкая работа?» — хочу спросить я. Она отвечает на мое мычание вежливой улыбкой. Потом снова отворачивается и продолжает лепить свою снежную крепость.

Просыпаюсь от холода. Еще целый час до рассвета, огонь в камине погас, голова у меня замерзла и онемела. Девушка спит рядом со мной. Вылезаю из постели, закутываюсь в судейскую мантию и заново развожу огонь.

Этот сон врос в меня. Ночь за ночью я возвращаюсь на пустошь занесенной снегом площади, добираюсь до одинокой фигурки в центре и каждый раз убеждаюсь, что город, который она строит, мертв.

Расспрашиваю девушку о ее сестрах. У нее их две; младшая, как она говорит, очень хорошенькая, но легкомысленная.

— А тебе не хочется снова увидеть своих сестер? — спрашиваю я. *Увидеть*. Бестактная оговорка нелепо повисает в воздухе. Мы оба улыбаемся.

— Конечно, хочется, — говорит она.

Еще расспрашиваю ее, как она жила после освобождения из плена, оставшись без моего ведома в этом подвластном мне городе.

— Когда люди понимали, что мои меня бросили, они меня жалели. Вначале, пока не стало лучше с ногами, ночевала в трактире. Обо мне там заботился один мужчина. Его тут больше нет. Он держал лошадей. — Она также упоминает о мужчине, подарившем ей сапоги, в которых я увидел ее в нашу первую встречу. Спрашиваю, были ли и другие мужчины. — Да, были. А что мне оставалось? Иначе и быть не могло.

После этого разговора мне трудно относиться к нашим солдатам по-прежнему. В тот день, выйдя утром из дома и направляясь в суд, прохожу мимо шеренги рядовых, построенных для редкого в зимнюю пору инспекционного смотра. Я уверен, что среди мужчин, замерших по стойке «смирно» перед сложенными у ног скатками с обмундированием, есть и те, кто спал с этой девушкой. Нет, мне даже не кажется, будто они посмеиваются в кулак. Напротив, я еще не видел, чтобы они так стоически держали равнение на морозном ветру, стегаящем гарнизонный двор. Никогда прежде они не были со мной так почтительны. Будь им позволено, они, я знаю, сказали бы мне, что, мол, все мы — живые люди и что потерять голову из-за женщины способен любой мужчина. Но тем не менее я теперь предпочитаю возвращаться домой поздно вечером, чтобы не видеть очередь солдат перед дверью кухни.

Стала известна судьба двух сбежавших от лейтенанта дезертиров. Один охотник нашел их окоченевшие тела в шалаше неподалеку от дороги, в тридцати милях к востоку от города. И хотя лейтенант склонен оставить их лежать там («Тридцать миль туда и тридцать обратно, да еще в такую непогоду — не кажется ли вам, что это слишком большая честь для людей, которые уже не могут называться людьми?»), убеждаю его послать за ними небольшой отряд.

— Их необходимо похоронить, как принято, — говорю я. — Помимо всего прочего, это поднимет у солдат моральный дух. Нехорошо, если они будут думать, что их тоже могут бросить мертвыми в пустыне и никто о них не вспомнит. Мы обязаны делать все, чтобы мысль о неизбежном уходе из этого прекрасного мира не была для них столь страшной.

В конце концов, ведь это мы подводим их к опасной черте.

Итак, поисковый отряд отправляется, и на третий день в гарнизон привозят на телеге два скрюченных обледеневших трупа. Мне по-прежнему непонятно, что побудило этих людей дезертировать за сотни миль от родного дома и всего в дне пути от теплого крова и пищи, но вопросов я больше не задаю. Пока идет похоронный обряд и солдаты, обнажив головы, наблюдают, как их менее удачливых товарищей предадут земле, я стою у могилы на промерзшем кладбище и твержу себе, что, настаивая на подобающем отношении к праху, я стремлюсь доказать этим молодым парням, что смерть отнюдь не уход в никуда, что мы продолжаем жить в памяти тех, кого мы знали. Но если говорить честно, неужели я провожу эту церемонию только ради солдат? Не хочу ли я заодно утешить и себя самого? В разговоре с лейтенантом вызываюсь взять на себя тягостную обязанность написать родителям покойных о постигшем их горе.

— Пожилому человеку о таком писать легче, — говорю я.

— А не хочешь по-другому? — спрашивает она.

Ее нога лежит у меня на коленях. Растираю и разминаю опухшую щиколотку, мысли мои где-то далеко, я загнипотизирован ритмом своих движений. Ее вопрос застает меня врасплох. Она впервые сказала об этом так недвусмысленно. Равнодушно пожимаю плечами, улыбаюсь, пытаюсь снова погрузиться в транс; сон уже манит меня, и я не желаю отвлекаться.

Нога вздрагивает, оживает и мягко тыкается мне между колен. Открываю глаза и вижу на постели ее

нагое золотистое тело. Откинув голову на сплетенные руки, она следит за мной направленным в угол взглядом, к которому я уже привык, и откровенно предлагает мне свои источающие первобытное здоровье тугие груди и плоский живот. Нога продолжает поиски; но ей не найти отклика у старого, ослабленного мужчины в бордовом халате, застывшего на коленях перед кроватью.

— В другой раз, — говорю я, и язык у меня заплетается, глупо спотыкаясь о каждое слово. И хотя сама я прекрасно понимаю, что это ложь, все же произношу ее: — Может быть, в другой раз. — Снимаю ее ногу с колен и кладу на постель, потом ложусь рядом. — Старикам беречь целомудрие поздно, так что какой другой ответ я могу тебе дать? — Шутка неудачная, неуклюжая, и ей непонятно, о чем я.

— Сам-то к девушкам ходишь, — шепчет она. — Думаешь, я не знаю?

Жестом приказываю ей замолчать.

— С другими ты тоже такой, да? — шепчет она и всхлипывает.

Мне жалко ее до безумия, но я ничего не могу сделать. Как все это для нее унижительно! Она ведь даже не может быстро встать, одеться и уйти — будет долго и шумно возиться, а потом тяжело ковылять по лестнице. Жизнь ее сейчас тот же плен, что и раньше. Похлопываю ее по руке и еще глубже погружаюсь в уныние.

В эту ночь мы спим в общей постели последний раз. Я приношу в гостиную солдатскую койку и теперь сплю отдельно.

— Это временно, — говорю я. — Только до весны. Так будет лучше.

Она принимает эту отговорку молча. Когда я по вечерам возвращаюсь домой, она приносит чай

и прислуживает мне, стоя на коленях. Потом возвращается на кухню. Час спустя, стуча палками, вновь поднимается по лестнице следом за девушкой, которая несет на подносе ужин. Мы вместе едим. После ужина удаляюсь в свой кабинет или ухожу из дома на весь вечер, постепенно возобновляя прежние светские развлечения: провожу время с друзьями за шахматной доской, заглядываю в трактир сыграть с офицерами в карты. Раз или два наведываюсь и на второй этаж трактира, но гложущее меня чувство вины портит все удовольствие. Когда бы я ни вернулся домой, девушка уже спит, и я, как провинившийся муж, должен ходить на цыпочках.

К новому порядку она привыкает с безропотной покорностью. Я убеждаю себя, что эта покорность рождена воспитанием. Но откуда мне знать, как варвары воспитывают своих дочерей? То, что я называю покорностью, на деле, возможно, просто безразличие. Какая разница нищенке, сироте, один я сплю или не один, если при этом у нее по-прежнему есть крыша над головой и кусок хлеба? До сих пор мне нравилось думать, что, несмотря ни на что, она видит во мне человека, охваченного страстью, пусть даже извращенной и непонятной, и что сквозь угрюмое молчание, из которого по большей части состоят наши отношения, она чувствует, как мой пристальный взгляд давит на нее всей тяжестью мужского тела. Я предпочитаю не допускать мысли о том, что, воспитывая своих дочерей, варвары, может быть, вовсе не приучают их потакать любому капризу мужчины и в том числе безропотно сносить его холодность, а, наоборот, учат воспринимать плотскую страсть как простой факт жизни, как естественно рождающееся и так же естественно находящее выход стремление всякой живой твари, будь

то лошадь, или коза, или мужчина, или женщина; и потому непоследовательные поступки стареющего чужеземца, который подобрал ее на улице и приютил в своем доме, чтобы то целовать ей ноги, то унижать ее, то умащать диковинными маслами, то пренебрегать ею, то спать всю ночь в ее объятиях, то в дурном настроении спать отдельно, могут казаться ей лишь свидетельством его бессилия, нерешительности, отречения от собственных желаний. И хотя для меня она по-прежнему лишь тело — искалеченное, изуродованное, поруганное, сама она, вероятно, уже выросла в свою искореженную оболочку, стала с ней одним целым и не чувствует своей ущербности, как не чувствует ее кошка, наделенная вместо пальцев когтями. Мне не стоит с такой легкостью отмахиваться от этих мыслей. Существо куда более обычное, чем я хотел бы думать, она, возможно, не видит ничего необычного и во мне.

III

Каждое утро воздух наполнен хлопаньем крыльев: летящие с юга птицы, прежде чем обосноваться в соленых болотистых заливах, долго кружат над озером. Порывы ветра доносят громкую разноглаголицу их трубных криков, кряканья, свиста, клекота, и кажется, что рядом с нами, на воде, шумит город-соперник: серые и красные гуси, шилохвосты, утки, чирки, лутки...

Прибытие первых стай перелетных птиц — знак, подтверждающий смысл других, более ранних примет: теплой свежести ветра, стеклянной прозрачности озерного льда. Весна в пути, скоро придет время сеять.

А пока что наступила пора охоты. Рано утром, до зари, охотники идут к озеру ставить силки. И еще задолго до полудня возвращаются с богатой добычей: подвешенные за ноги к длинным шестам, птицы рядами плывут над землей, покачивая свернутыми шеями, или теснятся живые в деревянных клетках, с гневными криками кляня друг друга, и иногда, в самой гуще этой возни, тихо сидит, сжавшись в комок, большой лебедь-кликун. Природа одаривает нас как из рога изобилия: несколько недель еды у всех будет вдоволь.

До отъезда я должен составить два документа. Первый — письмо, адресованное губернатору провинции. «С целью сколько-нибудь восполнить ущерб, нанесенный набегами Третьего отдела, — пишу я, — а также в надежде до некоторой степени восстановить существовавшую прежде обстановку добрососедства, я решил предпринять короткую поездку к варварам». Ставлю свою подпись и запечатываю письмо.

Что должно стать вторым документом, пока не знаю. Завещание? Мемуары? Исповедь? История тридцати лет жизни на границе? Весь тот день я отрешенно сижу за письменным столом, гляжу на чистый, белый лист и жду, когда придут слова. Второй день проходит точно так же. На третий день сдаюсь, убираю бумагу обратно в ящик и начинаю готовиться к отъезду. В этом есть своя логика: тот, кто не знает, что ему делать с женщиной, лежащей в его постели, вряд ли знает, что написать на лежащей перед ним бумаге.

В спутники я выбрал трех человек. Двое из них — молодые солдаты: мой чин дает мне право пользоваться услугами двух адъютантов. Третий — мужчина постарше, родившийся в здешних краях, охот-

ник и лошади; ему я буду платить из собственного кармана. Накануне отъезда собираю их у себя.

— Я знаю, что для путешествия сейчас не лучшее время года, — говорю я. — Конец зимы, приближение весны — пора коварная. Но если мы будем откладывать, кочевники уйдут с зимовья, и мы их не найдем.

Ни один из них вопросов не задает.

Девушке говорю просто:

— Я везу тебя назад, к твоим. Не знаю, найдем ли мы их — племена разбрелись; но, по крайней мере, постараюсь доставить тебя как можно ближе к дому.

На лице ее нет и намека на радость. Кладу рядом с ней тяжелую доху, которую я купил ей в дорогу, кроличью шапку, вышитую туземным орнаментом, новые сапоги, перчатки.

Теперь, когда я твердо решил, я сплю лучше и даже ощущаю что-то вроде душевной успокоенности.

Мы пускаемся в путь третьего марта: выезжаем за ворота и в сопровождении замурзанного эскорта детей и собак двигаемся по дороге к озеру. Когда, миновав дамбу, мы сворачиваем с прибрежной дороги направо, на тропу, которой пользуются разве что охотники и птицеловы, наш эскорт начинает таять, и вскоре от него остаются только два упрямо плетущихся паренька, каждый из которых намерен во что бы то ни стало продержаться дольше другого.

Солнце взошло, но не греет. С озера на нас то и дело накидывается ветер, от него слезятся глаза. Четверо мужчин и одна женщина, четыре вьючных лошади — животные норовят повернуться к ветру спиной, и их приходится все время разворачивать, — мы двигаемся гуськом по извилистой

тропе, и обнесенный стенами город, голые поля, а затем и два запыхавшихся мальчишки постепенно исчезают из вида.

Мой план заключается в том, чтобы по тропе обогнуть озеро с юга, потом, круто свернув на северо-восток, пересечь пустыню и добраться до предгорных долин, где зимуют северные племена. Редко кто выбирает такой путь, потому что кочевники, перебираясь со своими стадами на новые пастбища, двигаются вдоль старого мертвого русла реки широкой дугой, загибающейся с востока на юг. Но намеченный мною маршрут сократит экспедицию с шести недель до одной или двух. Сам я этой дорогой не путешествовал еще ни разу.

Итак, первые три дня мы держим курс на юг, потом забираем к востоку. Справа от нас тянутся ровные террасы изъеденной ветром глины, сливающиеся вдаль с грядой рыжих облаков пыли и незаметно переходящие в желтое туманное небо. Слева — гладь болот, опоясанных зарослями камышей, и озеро, где лед растаял пока только у самого берега. Дующий с ледяного простора ветер замораживает, кажется, даже наше дыхание, и вместо того чтобы ехать верхом, мы часто совершаем длинные пешие переходы, укрываясь от ветра за боками лошадей. Девушка плотно, в несколько слоев обматывает лицо шарфом и, скрючившись в седле, вслепую едет за идущим впереди.

Две вьючные лошади нагружены дровами, но эти дрова трогать нельзя, они понадобятся нам в пустыне. Однажды, по пояс увязая в наносах песка, набредаем на разросшийся, похожий на холм тамариск и, изрубив его в куски, пускаем дерево на растопку; в других же случаях мы вынуждены довольствоваться охапками сухих камышей. Девуш-

ка и я спим рядом, в одной палатке, кутаясь от холода в медвежьей шкуры.

В эти первые дни мы едим сытно. Мы захватили с собой солонину, муку, бобы, сушеные фрукты, да и дичи вокруг много. Но воду нам нужно беречь. Здесь, в мелких южных заливах, болотная вода слишком соленая. Чтобы наполнить бурдюки или, что предпочтительнее, наколоть льда, кому-нибудь из мужчин каждый раз приходится заходить в озеро по колено, на двадцать, а то и тридцать шагов от берега. Но и лед, растаяв, превращается в воду, которая настолько горька и солоня, что пить ее можно только с крепкой заваркой красного чая. Река, размывая берег, несет в озеро соль и щелочь, и вода в озере год от года становится солонее. Из-за того, что у озера нет сброса, содержание минеральных солей в воде постоянно растет, особенно у южного побережья, где весной и осенью наносные песчаные отмели изолируют большие участки акватории. После летнего паводка рыбаки находят в мелких заводях дохлых карпов, плавающих брюхом кверху. Окунь, говорят, уже и вовсе перевелись. Что будет с городом, если озеро в конце концов превратится в мертвое море?

Стоило нам один день попить соленый чай, и все мы, кроме девушки, начинаем страдать поносами. Меня этот недуг скрутил сильнее всех. Мне очень неприятны частые остановки, когда, прячась за лошадью, я расстегиваюсь и застегиваюсь негнувшись от холода пальцами, а другие должны ждать. Стараюсь пить как можно меньше и довожу себя до того, что мне мерещатся мучительные видения: полная до краев бочка возле колодца и брызжущая, льющаяся из черпака вода; чистый, белый снег. Мои случайные выезды на охоту, нечастые любовные приключения

и прочие, предпринимаемые лишь время от времени испытания мужественности скрывали от меня правду: тело мое стало дряблым и слабым. После долгих переходов у меня ломит кости, к вечеру так устаю, что теряю аппетит. Пока есть силы переставлять ноги, плетусь пешком, затем вскарабкиваюсь в седло и машу рукой кому-нибудь из мужчин, чтобы шел вперед и вместо меня отыскивал тропу. Ветер не утихает ни на миг. Его вой несется к нам по льду озера, он дует из ниоткуда в никуда, заволакивает небо тучей рыжей пыли. От пыли здесь не спрячешься: она пропитывает одежду, коркой оседает на коже, просачивается в кладь. Языки у нас обложены, мы часто сплевываем, на зубах хрустит. Сама среда нашего обитания состоит теперь не столько из воздуха, сколько из пыли. Мы плывем сквозь пыль, как рыба плывет сквозь воду.

Девушка ни на что не жалуется. Ест она хорошо, совершенно здорова, по ночам сворачивается в клубочек и крепко спит, отодвинувшись от меня, хотя холод такой, что я готов спать в обнимку даже с собакой. Весь день она едет в полном молчании. Однажды, подняв глаза, вижу, что она спит в седле, и лицо у нее умиротворенное, как у ребенка.

На третий день кромка болота начинает загибаться в обратную сторону, на север, и мы понимаем, что обогнули озеро. Разбиваем лагерь рано и, пока не стемнело, собираем на растопку все, что можем найти, а лошади тем временем в последний раз пасутся на скудной болотной траве. Затем, на рассвете четвертого дня, пускаемся в путь по древнему дну озера, простирающемуся за болотами еще на сорок миль.

Более унылого ландшафта мы не видели. Ничто не растет на этом белом от соли, высохшем дне, по-

верхность которого кое-где вспучена зазубренными кочками шестиугольных кристаллов шириной примерно в фут. Есть тут и свои опасности: пересекая необычно гладкий участок дна, лошадь, шедшая первой, внезапно проваливается сквозь корку соли и по грудь увязает в зловонной зеленой жиже; человек, который вел лошадь, на миг ошеломленно замирает, словно повиснув в воздухе, потом тоже с шумом падает в грязь. Мы прилагаем все силы, чтобы вытащить их; из-под копыт судорожно бьющейся лошади брызжут осколки соли, дыра расширяется, мерзкая вонь ползет во все стороны. Озеро не осталось позади, догадываемся мы: оно лежит у нас под ногами, в одних местах спрятанное под покровом толщиной в десятки футов, а в других — отделенное от нас лишь тонкими, ломкими пластинами соли. Сколько же лет прошло с тех пор, как солнце в последний раз озарило эти мертвые воды? Мы выбираем место понадежнее и разводим костер, чтобы обогреть дрожащего от холода беднягу и высушить его одежду. Он качает головой:

— Вот, все твердят: «Бойся зеленых прогалин», но чтоб такое — даже никогда и не видел, — говорит он.

Он — наш проводник, единственный среди нас, кто бывал к востоку от озера. После этого происшествия мы подгоняем лошадей упорнее прежнего, стремясь поскорее уйти с мертвого озера, боясь согнать в таящейся под землей, холодной как лед, насыщенной минеральными солями, лишенной кислорода жидкости. Пригнув головы, мы скачем против ветра, за спиной у нас полощутся вздувшиеся плащи; мы направляем лошадей туда, где торчат игольчатые соляные кочки, и намеренно сторонимся ровных мест. Сквозь реку пыли, торжественно

катыщую по небу свои воды, просвечивает оранжевый апельсин солнца, но тепла от него никакого. Когда опускается темнота, вбиваем колья палаток в расщелины твердой, как камень, соли; разводим костер, сжигая дрова с безрассудной расточительностью, и, подобно морякам, молим Бога дать нам скорее увидеть землю.

На пятый день дно озера остается позади, и мы едем по гладким напластованиям кристаллической соли, которые вскоре уступают место песку и камню. Воскресают духом даже лошади, хотя во время последнего перехода им досталось лишь несколько горстей льняного семени да ведро горькой воды. Силы у них заметно убыли.

Что до моих спутников, то они не ропщут. Свежее мясо у нас кончается, зато еще остаются солонина, сушеные бобы, большой запас муки и чая, то есть все то, что в основном и кормит любого путешественника. На каждом привале мы варим чай и жарим оладьи, вкуснейшее лакомство для голодных. Готовят еду мужчины: присутствие девушки их смущает, им непонятно, на каком она положении, и тем более непонятно, зачем мы везем ее к варварам, поэтому они с ней почти не разговаривают, избегают глядеть в ее сторону, а уж о том, чтобы попросить ее помочь, не может быть и речи. Я девушку ни к чему не понуждаю, надеясь, что со временем все уладится само собой. Мужчин этих я выбрал потому, что они сильные, честные и добросовестные. В суровых условиях нашего похода они следуют за мной, стараясь не унывать, хотя вселявшие своим видом отвагу полированные доспехи, в которых два молодых солдата выехали за ворота города, уже сложены в тюки и погружены на вьючных лошадей, а в ножны набился песок.

Плоская, равнинная пустыня сменяется барханами. Мы карабкаемся по их склонам вверх и вниз, продвижение вперед замедляется. Для лошадей идти здесь сущее мучение: они поминутно останавливаются, копыта у них глубоко увязают в песке. Поворачиваюсь к нашему проводнику, но он лишь пожимает плечами:

— Барханы тянутся еще много миль, мы должны через них пройти, другой дороги здесь нет.

Поднявшись на гребень бархана, загораживаю глаза от солнца и смотрю вперед, но там лишь вихрящийся песок.

В тот вечер одна из вьючных лошадей оставляет корм нетронутым. Наутро ее не может поднять на ноги даже кнут. Мы перегружаем поклажу на других лошадей и выбрасываем часть дров. Я остаюсь возле лошади, остальные трогаются в путь. Я готов поклясться, что лошадь все уже поняла. При виде ножа глаза ее закатываются. Когда струя крови фонтаном ударяет из надреза на шее, лошадь, шатаясь, поднимается из песка и, прежде чем упасть замертво, делает шаг навстречу ветру. Чтобы не погибнуть от жажды, варвары, как я слышал, отворяют своим лошадям вены. Настанет ли минута, когда мы пожалеем, что так беспечно вылили эту кровь в песок?

На седьмой день барханы наконец пройдены, и на тоскливом серо-коричневом фоне голой пустыни мы различаем вдали полосу более темного оттенка. Подойдя ближе, видим, что полоса эта тянется с запада на восток на многие мили. Видны даже черные контуры приземистых деревьев. Нам повезло, говорит наш проводник: здесь обязательно должна быть вода.

Как выясняется, перед нами дно древней озерной лагуны. Мертвые призрачно-белые ломкие камыши

очерчивают изгибы исчезнувших берегов. Деревья — это тополя — тоже давно мертвы. Умерли они много лет назад, когда подземные воды отступили так далеко, что корни больше не могли до них дотянуться.

Мы разгружаем лошадей и принимаемся копать. На глубине двух футов натькаемся на слой твердой синей глины. Под ним снова песок, потом опять пласт глины, но она заметно мягче. Яма уходит вниз уже на семь футов, но сердце у меня бешено колотится, в ушах звенит, я вынужден отдать лопату и отойти в сторону. Трое мужчин продолжают терпеливо рыть, выгаскивая из ямы кучи земли на связанном по углам полотнище палатки.

На глубине десяти футов под ногами у них начинает проступать вода. Она пресная, в ней ни намека на соль, мы обмениваемся радостными улыбками; но вода собирается очень медленно, а кроме того, чтобы копать дальше, приходится все время расширять стенки ямы. Лишь к концу дня мы выливаем на землю остатки горькой озерной воды и заново наполняем бурдюки. Уже темнеет, когда мы опускаем в наш колодец деревянную бочку и даем напиться лошадям.

Деревя для растопки здесь в изобилии, и мужчины успевают еще засветло вырыть в глине две разделенные перегородкой неглубокие печки и разводят над ними гудящий костер, чтобы подсушить глину. Когда пламя унимается, они выгребают раскаленные угли, ссыпают их в отверстия печей и замешивают тесто для лепешек. Девушка наблюдает за ними, опираясь на палки, к которым я снизу привязал круглые дощечки, чтобы ей было легче шагать по песку. Сплотивший нас в этот счастливый день вольный дух товарищества и предвкушение обе-

щанного завтра отдыха развязывает мужчинам языки. Весело пошучивая с девушкой, они впервые предлагают ей свою дружбу:

— Давай посиди с нами, попробуй, как мужики готовят!

Она в ответ улыбается и вздергивает подбородок, как делает всегда — но об этом здесь знаю, наверно, я один, — когда хочет что-то рассмотреть. Потом осторожно усаживается рядом с ними погреться в волнах идущего от печек тепла.

Я же сижу в стороне, в проеме палатки и, спрятанный от ветра, делаю очередную запись в путевом журнале, поставив рядом с собой мигающую масляную лампу; но при этом я слышу все, о чем они говорят. Пересыпанный шутками разговор идет на ломаном приграничном диалекте, и девушка без труда подыскивает нужные слова. Я поражен, как свободно, как непринужденно и спокойно она держится. На мгновенье меня даже охватывает гордость: передо мной не потаскушка на содержании у старика, а остроумная, привлекательная молодая женщина! Возможно, если бы я с самого начала научился говорить с ней на этой дурашливой, веселой тарабарщине, наши отношения были бы теплее. Но вместо того чтобы радовать ее, я, как глупец, давил на нее своей угрюмостью. Воистину миром должны править певцы и плясуны! Досада, грусть, сожаления — все это теперь напрасно, ничемно и бессмысленно! Задуваю лампу, подпираю голову рукой, смотрю на огонь и слушаю, как у меня бурчит в животе.

Сплю тяжелым сном вконец изнуренного человека. Когда она приподнимает край огромной медвежьей шкуры и прижимается ко мне, я лишь на

миг всплываю из глубин сна. «Дети по ночам мерзнут» — вот все, что мелькает в моем затуманенном сознании; притягиваю ее к себе, обнимаю одной рукой, и дремота опять убаюкивает меня. Вероятно, несколько минут я снова крепко сплю. Затем резко выныриваю из сна и чувствую, как ее рука шарит под моей одеждой, а ее язык щекочет мне ухо. По телу пробегает сладкая дрожь, я зеваю, потягиваюсь и улыбаюсь в темноту. «Ну и что? — думаю я. — А вдруг мы погибнем в этом забытом богом краю? Уж лучше так, чем умирать жалкой, голодной смертью!» Под грубой курткой на ней ничего нет. Теплая, мягкая, она готовно раскрывается мне навстречу; еще мгновение, и пяти месяцев глупой нерешительности будто никогда не было, а потом я вновь погружаюсь в забытье.

Когда я просыпаюсь, то настолько ничего не осознаю, что меня охватывает ужас. Лишь усилием воли мне удастся заново отыскать свое место во времени и пространстве, вернуть себя в постель, в палатку, в ночь, в жизнь, в тело, вытянувшееся ногами на запад, головой на восток. Хотя я придавил ее всей своей тяжестью, как мертвый бык, девушка спит, руки ее вяло сомкнуты у меня на спине. Высвобождаюсь, поправляю прикрывающую нас шкуру и стараюсь сосредоточиться. Нет, я даже на миг не представляю себе, что на заре мог бы свернуть лагерь, двинуться назад в оазис и, обосновавшись в залитом солнцем особнячке, доживать остаток дней с молодой женой, мирно спать у нее под боком, воспитывать ее детей и созерцать, как зимы сменяются веснами. И меня не коробит от мысли, что не будь вчерашнего вечера, не проводи она его у костра с молодыми мужчинами, ее скорее всего не потянуло бы ко мне. Возможно — да, наверно, так оно

и есть, — лежа в моих объятьях, она отдавала себя одному из них. Придиричиво вслушиваюсь в отголоски эха, раскатившегося во мне от этой мысли, но что-то не замечаю, чтобы сердце рывком ускорило ход, давая мне понять, что самолюбие мое уязвлено. Она спит; моя рука поглаживает ее живот, скользит по ее бедрам. Свершилось. Я рад. Но в то же время допускаю, что не жди нас скорая разлука, ничего бы и не произошло. И если говорить откровенно, наслаждение, которым она меня одарила, наслаждение, слабый отсвет которого еще согревает мою ладонь, не столь уж безгранично. Когда я прикасаюсь к ней, сердце мое, как и прежде, не замирает, кровь, как и прежде, не стучит в виски. Меня удерживают рядом с ней не грезы о блаженстве, не предвкушение восторгов, а причины совсем другого свойства, так до сих пор мною и не разгаданные. Хотя, конечно, я уже понял, что в темноте постели легко забыть о метах, оставленных на ее теле палачами: об ее изуродованных ногах, о полуслепых глазах. Так, может быть, виной всему телесное несовершенство этой женщины, и, пока ее изъяны не исчезнут, пока она не обретет вновь свой прежний облик, мое наслаждение не станет полным; или, может быть (я все же не настолько глуп, и позвольте уж, скажу до конца), меня влекут к ней именно эти метины, но я разочарован тем, что следы пережитого, оказывается, уходят не слишком глубоко? Велика моя цель или ничтожна: что будит во мне страсть — эта женщина или следы истории, которые несет на себе ее тело? Я неподвижно лежу, уставившись в черный мрак, — он кажется непроглядным, но я знаю, что стоит вытянуть руку, и упрусь в крышу палатки. Как ни парадоксальны формулы, которые подсказывает мне ум в попытке определить природу моей страсти,

ни одна из них, похоже, не способна вывести меня из оцепенения. «Должно быть, я устал, — думаю я. — Или, может быть, определению поддается лишь то, что представляется в ложном свете?» Шевеля губами, я молча составляю фразы, меняю слова местами. «Или, может быть, это тот самый случай, когда необходимо принять как данность лишь то, что не поддается определению?» Мысленно рассматриваю последнюю гипотезу, но она не вызывает во мне отклика, я не стремлюсь ни согласиться с ней, ни отвергнуть ее. Выстроившиеся перед глазами слова постепенно сливаются одно с другим; и вот они уже потеряли всякий смысл. Вздыхаю: кончился долгий день, прошла половина долгой ночи. Потом поворачиваюсь к девушке, обнимаю ее, крепко прижимаю к себе. Она во сне посапывает, и я тоже вскоре засыпаю.

Весь восьмой день мы отдыхаем, потому что лошади совсем обессилели, вид их поистине жалок. Они с жадностью грызут иссохшие волокнистые стебли мертвых камышей. От воды животы у них раздулись, и они то и дело громко пускают газы. Мы скармливаем им остатки льняного семени и даже выделяем из наших запасов немного хлеба. Если через день-два мы не набредем на пастбище, они погибнут.

Оставив за спиной наш колодец и кучу выкопанной земли, мы снова движемся на север. Все, кроме девушки, идут пешком. Чтобы лошадям было не так тяжело, мы сняли с них и побросали в песок всё, без чего можем обойтись; но без огня

нам не выжить, и лошади вынуждены по-прежнему тащить на себе увесистые вязанки дров.

— Когда покажутся горы? — спрашиваю я у проводника.

— Через день. А может, через два. Трудно сказать. Я в этих местах не бывал. — Он охотится вдоль восточного побережья озера и по краю пустыни, а ходить через всю пустыню в другой ее конец ему незачем. Выжидательно молчу, чтобы он мог сказать то, что думает, но лицо его остается невозмутимым, наше положение не внушает ему тревоги. — Горы мы увидим скорее всего через два дня, и еще один день уйдет, чтобы до них добраться. — Щурясь, он вглядывается в коричневую дымку, заволакивающую горизонт. Что мы будем делать, когда доберемся до гор, он не спрашивает.

Плоская, покрытая галькой пустошь кончается, и по скалистым уступам мы спускаемся на лежащее внизу плато. Навстречу все чаще попадаются кустики жухлой зимней травы, и лошади яростно на них набрасываются. Мы глядим, как они едят, и облегченно вздыхаем.

Среди ночи просыпаюсь, как от толчка, со зловещим предчувствием беды. Девушка приподнимается и садится в постели.

— Что случилось? — спрашивает она.

— Ты слышишь? Ветер затих.

Босиком, закутавшись в мех, она следом за мной выползает из палатки. Под туманной полной лунной земля простирается во все стороны белым ковром. Помогаю девушке встать на ноги, поддерживаю ее и, замерев, гляжу в пустоту, откуда медленно сеется снег, — оглохшие за неделю от непрерывного шума ветра, мы осязаем тишину всем своим существом. Из второй палатки выходят мужчины

и встают рядом с нами. Мы по-детски улыбаемся друг другу.

— Весенний снег, — говорю я. — Последний снегопад в году.

Они кивают. Неподдалеку, отряхиваясь, громко всхрапывает лошадь, и мы вздрагиваем. В тепле занесенной снегом палатки снова притягиваю к себе девушку. Она равнодушно подчиняется. Я уверен, что верно угадываю миг, когда она готова принять меня; обнимаю ее с молодой полнокровной страстью, испытываю всю остроту наслаждения; но потом вдруг чувствую, что ощущение гармонии потеряно, и моя страсть мало-помалу угасает. Интуиция явно стала меня подводить. И все равно в душе моей по-прежнему теплится нежность к этой девушке, которая уже крепко спит, положив голову мне на плечо. Ничего, наверстаю в другой раз, а если другого раза не будет, то, думаю, тоже не очень огорчусь.

Голос зовет меня сквозь проем палатки:

— Ваша милость, проснитесь.

Смутно сознаю, что проспал. Все из-за тишины, думаю я; от этой тишины нас словно разморило.

Выйдя из палатки, окунаюсь в дневной свет.

— Посмотрите, — говорит разбудивший меня солдат и показывает на северо-восток. — Погода портится.

По снежной равнине в нашу сторону катится гигантский черный вал. Нас пока отделяют от него многие мили, но уже сейчас видно, как сужается полоса еще не сожранной им земли. Гребень вала скрыт темными тучами.

— Буря! — кричу я. Ничего страшнее я еще не видел. Мужчины бегут снимать свою палатку. —

Соберите лошадей вместе и привяжите! — До нас уже долетают первые порывы ветра, снег начинает змейками виться по земле, и снежная пыль взлетает в воздух.

Опираясь на палки, девушка стоит рядом со мной.

— А ты-то видишь хоть что-нибудь? — спрашиваю я.

Привычно скосив голову, она вглядывается в даль и утвердительно кивает. Мужчины принимаются разбирать вторую палатку.

— Значит, все-таки снег был плохой приметой!

Она не отвечает. Хотя я понимаю, что должен помогать остальным, мне не оторвать взгляда от огромной рокочущей черной стены, которая надвигается на нас со скоростью мчащейся во весь опор лошади. Ветер усиливается, нас качает; знакомый вой снова вторгается в уши.

— Быстрее, быстрее! — команду я и хлопаю в ладоши. Один из мужчин, стоя на коленях, складывает полотнище палатки, сворачивает войлочные подстилки, увязывает в узлы постель; двое других сгоняют лошадей в центр лагеря.

— Сядь! — кричу я девушке и, спотыкаясь, бегу укладывать вещи. Ураган из сплошной черной стены превратился в крутящееся месиво песка, снега и пыли. Вой ветра переходит в пронзительный вопль, у меня срывает с головы шапку, и буря разом накрывает нас. Опрокидываюсь навзничь, но ветер тут не виноват, меня сшибла сорвавшаяся с привязи лошадь: она спалело носится вокруг, уши прижаты, глаза выкачены. — Поймайте ее! — кричу я. Но мой крик — лишь слабый шепот, я и сам себя не слышу. Лошадь исчезает, как растаявший мираж. В тот же миг наша палатка вихрем взмывает в небо.

Бросаюсь на свернутые войлочные подстилки, прижимаю их к земле и рычу от злости. Потом на четвереньках, таща за собой подстилки, пробираюсь назад, к девушке. Это все равно, что плыть против течения. Глаза, нос, рот сразу же забивает песком; чтобы набрать в легкие воздуха, задираю голову.

Разведя руки, как крылья, девушка удерживает двух лошадей за шеи. Она, кажется, что-то говорит им: хотя глаза у них бешено блестят, лошади стоят смиренно.

— Наша палатка улетела! — кричу я ей в ухо и машу рукой, показывая на небо. Она поворачивается: под шапкой на ней намотан черный шарф, закрывающий все лицо; не видно даже глаз. — Палатка улетела! — снова кричу я. Она молча кивает.

Сбившись в кучу, мы пять часов укрываемся за грудой дров и за лошадьми, а ветер хлещет нас снегом, градом, дождем, песком, пылью. От холода ноют кости. С подветренной стороны на боках лошадей запеклась корка льда. Мы теснее жмемся друг к другу — люди и животные, все вместе, — делимся своим теплом и стараюсь продержаться.

Затем, в середине дня, ветер стихает так внезапно, будто где-то захлопнули дверь. В ушах звенит от непривычной тишины. Нужно скорее размять затекшие руки и ноги, почиститься, навьючить лошадей, нужно заняться чем угодно, лишь бы разогнать застывшую кровь, но у нас только одно желание: еще хоть немного полежать в нашем логове. Эта сонливость коварна!

Голос у меня надсадно скрипит:

— Вставайте, надо грузиться!

Бугры в песке подсказывают, где захоронены наши разбросанные вещи. Сколько мы ни ищем, от улетевшей палатки не осталось и следа. С нашей

помощью лошади, хрустя суставами, поднимаются на ноги, и мы их навьючиваем. Холод недавней бури ничто в сравнении с холодом, который приходит ему на смену и словно окатывает нас ледяной водой. Дыханье инеем оседает на лице, нас колотит дрожь. Лошадь, идущая первой, шатаясь, делает три неуверенных шага и тяжело оседает на задние ноги. Мы скидываем с нее вязанки дров, подпихиваем ей под живот шест, поднимаем ее и гоним вперед ударами кнута. Уже в который раз клянусь себя за то, что затеял трудный поход с малоопытным проводником, да еще в такое предательское время года.

Десятый день: потеплело, небо расчищается, ветер стал мягче. Мы тащимся по равнине, как вдруг наш проводник что-то кричит и показывает рукой вперед. «Горы!» — думаю я, и сердце у меня екает. Но проводник увидел вовсе не горы. Появившиеся вдали пятнышки — это люди, люди верхом на лошадях: кто, как не варвары! Поворачиваюсь к девушке — она сидит на устало плетущейся лошади, которую я веду за собой.

— Почти пришли, — говорю я. — Там впереди какие-то люди, и мы скоро узнаем, кто они.

Тяжесть, скопившаяся на душе за эти дни, отпускает меня. Оставив девушку, быстрым шагом перехожу в голову отряда, и мы берем курс на три чернеющие вдали крохотные фигурки.

Лишь через полчаса мы понимаем, что, несмотря на все усилия, не приблизились к ним ни на шаг. Они двигаются с той же скоростью, что и мы. «Нарочно не обращают на нас внимания», — думаю я и решаю развести костер. Но едва команду остановиться, три пятнышка вроде бы тоже останавливаются; когда же мы снова трогаемся, они тоже пускаются в путь. «Может быть, это лишь игра света, и они

просто наше отражение», — размышляю я. Сократить расстояние между нами мы не можем. Давно ли они нас преследуют? Или, может быть, они считают, что это мы преследуем их?

— Хватит, — говорю я своим спутникам. — Пнаться за ними бессмысленно. Проверим, как они себя поведут, если к ним поедет только один из нас.

И, взяв у девушки лошадь, я в одиночестве выезжаю навстречу незнакомцам. Некоторое время они, кажется, не трогаются с места, наблюдают и ждут. Но потом силуэты их начинают отдаляться, превращаясь в точки, поблескивающие в мутной кромке горизонта. Как ни подгоняю лошадь, она слишком ослабела и из нее не выжать ничего, кроме мелкой трусцы. Я отказываюсь от погони, спешиваюсь и жду, когда подъедут остальные.

Чтобы сберечь силы лошадей, мы делаем переходы все короче и короче. Сегодня мы разбиваем лагерь, пройдя по плоской каменистой местности не более шести миль, и все это время впереди нас, ни разу не исчезая из вида, скачут три всадника. Даем лошадям часок пощипать редкие клочки низкой худосочной травы, потом привязываем их возле палатки и выставляем дозорного. Опускается ночь, в туманном небе появляются звезды. Мы долго сидим у костра, нежмся в тепле, с удовольствием вытянув ноющие от усталости ноги, и нам не хочется забиваться тесной кучей в единственную палатку. Повернувшись на север, всматриваюсь в темноту и готов поклясться, что различаю вдали отблеск другого костра; но пока я пытаюсь показать его остальным, ночная тьма сгущается в непроницаемую черноту.

Мужчины, все трое, вызываются спать под открытым небом и нести дозор по очереди. Я растроган.

— Не стоит, — говорю я. — Подождем несколько дней, пусть потеплеет.

Спим мы урывками: в палатку, рассчитанную на двоих, нас втиснулось четверо, девушка скромно лежит с самого края.

Поднимаюсь до зари и опять смотрю на север. Розовато-лиловое предрассветное небо начинает золотиться, и на голом лице равнины вновь проступают темные пятнышки, но их уже не три, а восемь... девять... десять... может быть, даже двенадцать.

Привязываю к шесту белую льняную рубаху и, подняв над головой этот самодельный флаг, скачу навстречу незнакомцам. Ветер стих, день ясный, по дороге снова считаю: двенадцать фигурок застыли на склоне небольшого холма, а далеко за ними угадывается призрачная синева гор. Потом, на моих глазах, фигурки оживают. Они выстраиваются в шеренгу и, как муравьи, ползут вверх по склону. На вершине холма они останавливаются. Облачко пыли ненадолго скрывает их от меня, потом они появляются снова: двенадцать всадников, замерших на линии горизонта. Продолжаю ехать вперед, белый флаг хлопает у меня за спиной. Я не свожу глаз с холма, но мне все равно не удастся уловить тот миг, когда они исчезают.

— Не будем обращать на них внимания, — говорю я своему отряду.

Мы вновь навьючиваем лошадей и продолжаем двигаться в сторону гор. Хотя поклажа с каждым днем становится легче, всякий раз, как приходится подгонять изнуренных лошадей кнутом, сердце разрывается от боли.

У девушки подошел срок месячных. Скрыть свое недомогание она не может, все мы постоянно вместе, и спрятаться ей некуда, вокруг ни кустика. Ей не

по себе, мужчинам — тоже. Старая история: женская кровь — плохая примета, предвещающая скудный урожай, неудачную охоту, порчу скота. Мужчины мрачней: им бы хотелось, чтобы девушка держалась от лошадей подальше, но это невозможно; кроме того, они не желают, чтобы она прикасалась к пище. От стыда она замыкается в себе и вечером не садится с нами за ужин. Поев, я накладываю в миску бобов и клецек и отношу их девушке в палатку.

— Зря ты это делаешь, — говорит она. — Мне ведь даже в палатке быть не положено. Но уйти-то больше некуда. — То, что ее подвергли остракизму, она принимает как должное.

— Ничего страшного. — Плажу ее по щеке, присаживаюсь рядом и смотрю, как она ест.

Было бы напрасно уговаривать мужчин ночевать вместе с ней в палатке. Они остаются у костра, поддерживают огонь и по очереди несут дозор. Утром, ради их спокойствия, совершаю вместе с девушкой короткий ритуал очищения (я ведь осквернил себя тем, что спал в ее постели): палкой провожу на песке черту, заставляю девушку переступить через нее, потом мы с ней моем руки, и я веду ее через черту обратно, в лагерь.

— Завтра утром ты должен повторить это еще раз, — шепчет она.

За двенадцать дней пути мы с ней сблизились больше, чем за несколько месяцев, прожитых под одной крышей.

Мы уже достигли подножья гор. Таинственные всадники скачут далеко впереди по извилистому руслу высохшего ручья. Мы отказались от попыток догнать их. Мы теперь понимаем, что, следя за нами, они в то же время ведут нас за собой.

Углубляясь в скалистые холмы, двигаемся все медленнее и медленнее. Когда мы не видим всадников во время привалов или когда их скрывают от нас излучины сухого русла, мы уже не боимся, что они исчезнут навсегда.

Уговаривая, понукая и подталкивая лошадей, тяжело взбираемся на очередную кручу и вдруг оказываемся прямо перед ними. Они возникают из-за скал, выехав из невидимой лоцины: мужчины верхом на косматых пони, те двенадцать и еще несколько, одетые в овчинные кафтаны и меховые шапки, смуглые, с обветренными лицами, узкоглазые — варвары во плоти, на своей родной земле. Я стою так близко, что чувствую их запах; от них пахнет конским потом, дымом, сырмятной кожей. Один из них направляет на меня старинный мушкет, длиной почти в человеческий рост, с приделанной к ложу раздвоенной подставкой для упора. Сердце у меня замирает. «Нет», — шепчу я; тщательно избегая резких движений, отпускаю поводья плетущейся за мной лошади и показываю, что в руках у меня ничего нет. Потом так же осторожно поворачиваюсь, поднимаю с земли поводья и, отступаясь и скользя по каменистой осыпи, спускаюсь с лошадью на тридцать шагов вниз, туда, где застыли в ожидании мои спутники.

Варвары стоят над нами на скале, четко очерченные на фоне неба. Слышны только стук моего сердца, сопенье лошадей и стоны ветра. Мы вышли за пределы владений Империи. Серьезность этой минуты не следует недооценивать.

Помогаю девушке спешиться.

— Слушай внимательно. Сейчас я отведу тебя наверх, и ты сможешь с ними поговорить. Захвати свои палки, земля здесь осыпается, а в обход не подняться. Когда поговоришь с ними, то сама решишь,

как быть дальше. Если они возьмутся доставить тебя к родным и если ты захочешь идти с ними — иди. А решишь вернуться в город — пойдешь с нами. Ты поняла? Я тебя ни к чему не принуждаю.

Девушка молча кивает. Она очень волнуется.

Обхватив ее одной рукой за пояс, помогаю ей вскарабкаться по усыпанному галькой склону. Варвары неподвижно стоят на месте.

Длинноствольными мушкетами вооружены только трое, у остальных знакомые мне короткие луки. Когда мы поднимаемся на вершину скалы, они чуть отступают назад.

— Ты их видишь? — спрашиваю я, тяжело дыша.

Привычным, словно неосознанным движением она поворачивает голову куда-то вбок:

— Вижу, но плохо.

— «Слепая»... Как будет «слепая»?

Она говорит.

— Слепая, — обращаясь к варварам, произношу я и притрагиваюсь пальцами к векам. Варвары никак не отзываются. Дуло, замершее между ушами пони, по-прежнему нацелено мне в грудь. Глаза у хозяина мушкета весело поблескивают. Пауза затягивается.

— Поговори с ними, — прошу я девушку. — Объясни, почему мы здесь. Скажи им правду.

Она искоса глядит на меня и едва заметно улыбается.

— Ты в самом деле хочешь, чтобы я сказала им правду?

— Да, конечно. А что другое ты можешь сказать?

Улыбка продолжает играть на ее губах. Она качает головой и молчит.

— Хорошо, говори что угодно. Ты видишь, я сделал все, чтобы привезти тебя поближе к твоим,

но сейчас я вполне искренне прошу: вернись со мной в город. По своей воле. — Сжимаю ее руку. — Ты понимаешь? Мне этого очень хочется.

— Почему? — роняет она тихим, безжизненным голосом. Она знает, что вопрос этот ставит меня в тупик, что я с самого начала бьюсь над ним, не находя ответа. Всадник с мушкетом медленно выезжает вперед и приближается к нам почти вплотную. Она мотает головой: — Нет. Возвращаться в город я не хочу.

Спускаюсь вниз.

— Разведите костер, поставьте чай, — приказываю я мужчинам. — Мы здесь остановимся. — Сверху до меня долетает голос девушки, журчащий поток, прерываемый лишь порывами ветра. Она стоит, опираясь на палки; всадники спешиваются и окружают ее. Я не понимаю ни слова. «Какая досада! — думаю я. — Столько вечеров пропало впустую, а она могла бы научить меня своему языку. Но теперь уже поздно».

Из седельного вьюка достаю два серебряных блюда, которые провез с собой через всю пустыню. Снимаю обертку с рулона шелка.

— Возьми от меня в подарок. — Направляю руку девушки, чтобы ее пальцы ощутили мягкость шелка и прочли на серебре резной узор из переплетенных листьев и рыб. Ее узелок я тоже довез в сохранности. Что в нем, я не знаю. Кладу все на землю. — Они доставят тебя к твоим?

Она кивает.

— Он говорит, к середине лета доберемся. И еще говорит, чтобы ты отдал им одну лошадь. Для меня.

— Скажи ему, что у нас впереди долгий и тяжелый путь. Наши лошади совсем плохи, он же видит.

Спроси, может, он сам согласится продать нам одну лошадь. Скажи, что мы заплатим серебром.

Молча жду, пока она переводит мои слова старику. Его спутники спешили, но старик продолжает сидеть на лошади, большущий старинный мушкет висит на ремне у него за спиной. Стремена, седла, уздечки, поводья — все без единой металлической заклепки или бляхи, только костяные пластинки и обожженные деревяшки, прошитые жилами и привязанные кожаньими тесемками. Тела под одеждами из шерсти и шкур с младенчества вскормлены молоком и мясом, им не ведомы обволакивающая легкость тканей из хлопка, достоинства мягких злаков и фруктов — вот какой он, этот народ, который Империя, расширяясь, оттесняет с равнин в горы. Я впервые вижу северян на их собственной земле, впервые говорю с ними на равных; до сих пор мне были знакомы лишь те варвары, что приезжают в наш оазис торговать, и одиночки, разбивающие шатры вдоль реки, да еще разве что жалкие пленники Джолла. И вот сегодня я здесь — какое великое событие и какой великий позор! Когда-нибудь мои преемники будут собирать остатки материальной культуры, созданной этим народом: наконечники стрел, резные рукоятки ножей, деревянную посуду — и выставят все это под стеклом рядом с моими коллекциями птичьих яиц и каллиграфических головоломок. Я же сейчас пытаюсь хоть как-то подправить порушенные отношения между людьми будущего и людьми прошлого, с извинениями возвращая тело, из которого мы выпили всю кровь, — посредник, преданный Империи, волк в овечьей шкуре!

— Он говорит: «нет».

Вынимаю из сумки маленький серебряный слиток и протягиваю старику.

— Скажи, это ему за одну лошадь.

Он нагибается, берет поблескивающий брусок и недоверчиво пробует его на зуб; затем слиток исчезает у него за пазухой.

— Он говорит: «нет». Это — за то, что он не возьмет лошадь. Он не будет брать мою лошадь, вместо нее он берет серебро.

С трудом подавляю ярость; но что толку торговаться? Она вот-вот уедет, еще немного, и ее здесь не будет. У меня последняя возможность увидеть ее перед собой воочию, внимательно вслушаться в голос моего сердца, попытаться уразуметь, какая же она на самом деле, потому что отныне — я это понимаю — мне предстоит воссоздавать ее образ по воспоминаниям, выбирая из них то, что отвечает моим сомнительным прихотям. Плажу ее по щеке, беру за руку. В этот предполуденный час, стоя рядом с ней на унылом каменистом склоне, я напрасно ищу в себе хотя бы отзвук дурманящего вожделения, что влекло меня к ней ночь за ночью, в душе моей не осталось следа даже от дружеской привязанности, возникшей между нами за время пути. Только пустота и отчаяние оттого, что эта пустота так безмерна. Сжимаю ее руку сильнее, но в ответ — ничего. Еще отчетливее, чем прежде, я вижу перед собой лишь то, что видят мои глаза: коренастая большеротая девушка с неровной челкой на лбу глядит поверх моего плеча в небо; чужая; гостья из чужих краев, возвращающаяся домой после более чем безрадостного визита.

— Прощай, — говорю я.

— Прощай. — Голос у нее такой же мертвый, как у меня.

Начинаю спускаться со скалы; дойдя до подножья, оборачиваюсь и смотрю наверх: они уже взяли у нее палки и помогают ей взобраться на пони.

Не берусь ручаться, но, кажется, весна началась по-настоящему. В воздухе разлито благоухание, здесь и там целятся в небо зеленые стрелы молодой травы, стайки перепелов шумно вспархивают у нас из-под ног. Выйди мы из оазиса не две недели назад, а сейчас, путешествие не тянулось бы так долго и не было бы столь опасным. Но с другой стороны, неизвестно, посчастливилось ли бы нам найти варваров. Они в эти минуты, я уверен, уже сворачивают шатры, грузят повозки и сгоняют свой скот в стада, готовясь к весеннему кочевью. Нет, решившись на риск, я был прав, хотя понимаю, что спутники клянут меня. (Я будто слышу их сердитую воркотню: «Очень было нужно тащить нас сюда зимой! Дураки мы, что согласились!» И что же они должны думать теперь, когда догадались, что мои намеки насчет посольской миссии нашего похода — обман, а на деле они всего лишь охраняли в дороге самую обыкновенную женщину, нищенку, которую варвары бросили в городе, бродягу без роду и племени, потаскуху, ублажавшую судью?)

На обратной дороге мы стараемся ни на шаг не отклоняться от прежнего маршрута и идем, ориентируясь по звездам, расположение которых я предусмотрительно нанес на карту. Ветер больше не дует нам в лицо, погода стала теплее, лошади навьючены гораздо легче, мы знаем, где находимся, ничто, казалось бы, не мешает нам двигаться быстро. Но в первый же вечер, едва мы делаем привал, возникает осложнение. Мои спутники подзывают меня к костру, и я вижу, что один из двух молодых солдат удрученно сидит у огня, закрыв лицо руками. Его сапоги стоят рядом, портянки размотаны.

— Посмотрите, что у него с ногой, — говорит проводник.

Правая ступня у парня распухла и покраснела.
— Что случилось? — спрашиваю я.

Солдат приподнимает ногу и показывает мне пятку, вымазанную запекшейся кровью и гноем. Даже сквозь смрад грязных портянок я чувствую запах гнили.

— И давно у тебя так? — кричу я. Он прячет глаза. — Почему ты сразу не сказал? Разве я не предупредил, что ноги нужно держать в чистоте, что вы обязательно должны менять портянки через день и стирать их, а мозоли смазывать мазью и бинтовать? Думаете, я это зря говорил? Как ты с такой ногой собираешься идти дальше?

Парень молчит.

— Он не хотел, чтобы мы из-за него задерживались, — шепчет его товарищ.

— Не хотел нас задерживать, а теперь придется до самого города везти его на лошади! — кричу я. — Вскипятите воду, пусть промоет ногу и как следует забинтует!

Я оказываюсь прав. Когда на следующее утро ему помогают встать, он не в силах скрыть мучительной боли. Поврежденную ногу он забинтовал и сверху обвязал мешком; пока мы идем по ровной местности, он еще кое-как поспевает за нами, но большую часть пути вынужден ехать верхом.

Мы все будем счастливы, когда это путешествие кончится. Мы устали друг от друга.

На четвертый день мы видим перед собой мертвую лагуну и несколько миль идем по ее дну на юго-восток, пока не выходим к нашему колодцу, окруженному рощицей голых тополиных стволов. Там мы один день отдыхаем, набираясь сил перед самым тяжелым переходом. Жарим про запас олады, остаток бобов варим до тех пор, пока они не превращаются в кашу.

Я держусь особняком. Мои спутники тихо переговариваются между собой, но едва я подхожу ближе, замолкают. Они бесповоротно утратили прежний живой интерес к нашей экспедиции: не только потому, что их разочаровала сама кульминация похода — ничемные переговоры в пустыне, а вслед за тем возвращение назад той же дорогой, — но и потому, что присутствие девушки побуждало их проявлять свои мужские качества, вызывало между ними товарищеское соперничество, а теперь все это переродилось в мрачную раздражительность, и они поневоле злятся на меня за то, что я вовлек их в эту дурацкую затею; на лошадей — за их упрямство; на парня с больной ногой — за то, что из-за него мы еле плетемся, и даже на самих себя. Я первым подаю пример и стелю себе постель у костра, предпочитая холод под ночными звездами удушливому теплу палатки и обществу трех раздраженных людей. На следующий вечер никто не предлагает натянуть палатку, и все мы спим на воздухе.

К седьмому дню мы уже наполовину преодолели солончаки. В дороге теряем еще одну лошадь. Однообразная пища — бобы и оладьи — всем надоела, и меня просят пустить павшую лошадь на мясо. Разрешаю, но сам в разделке туши не участвую.

— Я пойду с лошадьми вперед, — говорю я. Пусть попируют в свое удовольствие. Пусть, пока меня нет рядом, беспрепятственно дадут волю фантазии, пусть думают, что это в мое горло вонзаются их ножи, что это мои кишки вытягивают они из живота, что это мои кости хрустят под топорами. Зато потом, может быть, станут относиться ко мне добрее.

Меня томит желание скорее вернуться к привычной монотонности моих повседневных дел, я думаю о приближающемся лете, о долгих дремотных сие-

стах, о беседах с друзьями в сумерках, когда мальчишки разносят под ореховыми деревьями чай и лимонад, а незамужние девушки парами или по трое прогуливаются перед нами по площади, раздевшись в свои лучшие наряды. Лишь несколько дней назад я расстался с той, другой, но, воскрешая в памяти ее лицо, явственно вижу, как оно затвердевает, мутнеет, становится непроницаемым, словно выделяя из своих пор вещество, застывающее роговой оболочкой. Тяжело шагая по солончаку, вдруг с удивлением ловлю себя на мысли, что и сам не понимаю, как мог любить кого-то из столь далекого, чужого царства. Сейчас мне хочется лишь одного: дожить свою жизнь в покое, в знакомом мне мире, умереть в собственной постели и сойти в могилу, над которой со мной простятся старые друзья.

До города еще целых десять миль, но мы уже различаем вдали силуэты сторожевых башен; мы все еще двигаемся по тропе вдоль южного побережья озера, но коричневатая желтизна городских стен уже не сливается с серым фоном пустыни. Поглядываю через плечо на моих спутников. Они тоже убыстрили шаг и еле скрывают радость. Три недели мы не мылись и не меняли белье, от нас плохо пахнет, ветер и солнце иссушили наши лица и исполосовали их черными морщинами, мы обессилены, но идем вперед, как мужчины; даже парнишка с замотанной ногой и тот сейчас спешился и шагает вместе со всеми, выпятив грудь колесом. Да, все могло быть и хуже — вероятно, могло быть и лучше, но то, что могло быть хуже, это несомненно. Даже лошади, бредущие с раздутыми от болотной травы животами, похоже, повеселели.

На полях зеленеют первые весенние побеги. До нас доносятся писклявые звуки трубы; из ворот выезжает высланный навстречу отряд, шлемы всадников сверкают на солнце. Мы же своим видом напоминаем огородные пугала: надо было все-таки приказать солдатам пройти эти последние несколько миль в доспехах. Наблюдаю, как всадники рысью приближаются к нам, и жду, что они вот-вот перейдут на галоп, будут стрелять в воздух и кричать «ура». Но они продолжают держаться весьма по-деловому, и я начинаю догадываться, что их выслали вовсе не для торжественной встречи, да и дети за ними не бегут; отряд разделяется пополам, и всадники окружают нас, я не вижу среди них ни одного знакомого лица, глаза у них жесткие; не отвечая на мои вопросы, они гонят нас, как пленных, сквозь открытые ворота. И лишь на площади, когда мы видим палатки и слышим разноголосый гул, нам все становится понятно: в город вошли войска, обещанная кампания против варваров уже развернута.

IV

В судейском кабинете за моим столом сидит какой-то человек. Я никогда его раньше не видел, но значок на лацкане сиреневатого мундира подсказывает мне, что он сотрудник Третьего отдела Гражданской охраны. На столе груды коричневых папок с розовыми тесемками, одна из папок раскрыта и лежит перед ним. Я узнаю эти папки: в них финансовые отчеты и налоговые ведомости пятидесятилетней давности. Неужели он действительно их изучает? Что он ищет?

Нарушаю молчание:

— Может быть, я сумею вам чем-то помочь?

Он даже не смотрит в мою сторону, а два сторожащих меня солдата застыли, словно деревянные. Я нисколько не в претензии. После трехнедельного путешествия по пустыне совсем не трудно немного постоять на месте. Да и к тому же меня подбадривает восторженное предчувствие, что моей лицемерной дружбе с Третьим отделом, кажется, будет положен конец.

— Могу я поговорить с полковником Джоллом? — Что называется, выстрел вслепую: кто сказал, что полковник Джолл вернулся?

Он не отвечает и продолжает притворяться, будто читает документы. У него приятная внешность: ровные белые зубы, чудесные голубые глаза. Но, по моему, он человек тщеславный. Мысленно представляю, как он садится в постели, поигрывая мускулами перед лежащей рядом девушкой, и упивается ее восхищением. Он, мне кажется, из тех мужчин, которые управляют своим телом, как механизмом, не понимая, что тело живет по собственным законам. Когда он на меня посмотрит — что сейчас и произойдет, — его красивое неподвижное лицо и эти ясные глаза скроют за собой обращенный ко мне взгляд, как маска скрывает от публики обращенный к ней взгляд актера.

Он отрывается от бумаг. Все, как я думал.

— Где вы были? — спрашивает он.

— Я предпринял одну длительную поездку. Мне весьма досадно, что вы прибыли в мое отсутствие и я не мог оказать вам должного гостеприимства. Но теперь я вернулся и целиком к вашим услугам.

На нем унтер-офицерские погоны. Унтер-офицер из Третьего отдела — что это такое? Приблизительно пять лет жестоких издевательств над людьми;

презрительное отношение к обычной полиции и установленному судопроизводству; отвращение к непринужденно-учливой манере разговора, вроде той, что присуща мне. Но может быть, я несправедлив к нему — в конце концов, я слишком давно не был в столице.

— Вы поддерживаете изменнические связи с врагом, — говорит он.

Вот все и ясно. «Изменнические связи» — очень книжное выражение.

— Мы здесь живем в мире, — говорю я, — и никакого врага у нас нет. — Он молчит. — Если, конечно, я не ошибаюсь, — добавляю я. — Если, конечно, этот враг не мы сами.

Я не уверен, что он меня понял.

— Варвары ведут против нас войну, — говорит он. Не сомневаюсь, что за свою жизнь он не видел ни одного варвара. — Почему вы поддерживаете с ними связь? Кто вам разрешил покинуть ваш пост?

Не давая поймать себя в эту ловушку, пожимаю плечами.

— У меня были причины сугубо частного свойства, — говорю я. — И тут уж вам придется поверить мне на слово. Вдаваться в подробности я не намерен. Замечу лишь, что городской судья — это не часовой, который не смеет покидать свой пост.

Когда меня ведут в тюрьму, чувствую, как в моей походке появляется пружинистая легкость.

— Надеюсь, вы позволите мне вымыться, — говорю я своим конвоирам, но оба солдата будто и не слышат. Ну и наплевать.

Я прекрасно понимаю, откуда во мне этот душевный подъем: мой союз со стражами Империи разорван, я взбунтовался, оковы сброшены, я — вольный человек. Как же тут не возликовать? Но

сколь опасен подвох, таящийся в этой радости! Не слишком ли легко далось мне избавление? И стоят ли за моим протестом какие-то твердые принципы? Быть может, я восстал лишь оттого, что один из этих новоявленных варваров захватил мой стол и нагло роется в моих бумагах? А что касается свободы, которой я сейчас себя лишаю, то в чем, собственно, для меня ее ценность? Действительно ли я так уж наслаждался своей безграничной свободой весь этот последний год, когда впервые столь полно ощущал себя хозяином своей жизни и мог творить что вздумается? К примеру, я был волен сделать из той девушки что угодно: жену, или наложницу, или дочь, или рабыню, или все вместе, или что-то вообще совершенно другое — это зависело лишь от моей прихоти, — потому что я не чувствовал перед девушкой никаких обязательств, за исключением тех редких случаев, когда мне приходила блажь самому их придумать, — кто же, настрадавшись под игом такой свободы, не возрадуется освобождению от нее в тюремной камере? В моем бунте нет ничего героического — забывать об этом я не должен ни на миг.

Моя камера — это та самая комната, где в прошлом году проводили допросы. Жду, пока конвоиры вытаскивают и сваливают за дверь матрасы и постели размещавшихся здесь солдат. Три моих недавних спутника, все такие же грязные и оборванные, высовываются из кухни и глазят на меня с любопытством.

— Что это вы там едите? — кричу я. — Принесите мне тоже, пока меня не заперли.

Один из них трусит ко мне со своей миской горячей пшенной каши.

Конвоиры показывают, чтобы я шел в комнату.

— Минутку, — говорю я, — пусть он принесет сюда мою постель, и больше я вас беспокоить не буду.

Они ждут, а я стою в луже солнечного света и ложку за ложкой запихиваю в себя кашу, как после долгой голодовки. Паренек с больной ногой оставливается возле меня. Протягивает кружку с чаем и улыбается.

— Спасибо, — говорю я. — Вы не бойтесь, вас они не тронут, вы делали только то, что вам приказывали.

Взяв под мышку постель и старую медвежью доху, вхожу в камеру. На стене, над тем местом, где когда-то стояла жаровня, по-прежнему видны следы копоти. Дверь захлопывается, и меня окружает темнота.

Весь этот день и всю ночь я сплю, и мне не мешает, что за стенкой, прямо у меня над головой, что-то долбят, а вдали громяют тачки и перекрикиваются рабочие. Во сне опять переносусь в пустыню и бреду по бесконечному простору к неизвестной цели. Вздыхаю и облизываю губы.

— Что там за шум? — спрашиваю я, когда стражник приносит мне поесть.

Сносят дома, примыкающие к южной стене казармы, объясняет он; здание казармы решили расширить и построить настоящую тюрьму.

— А, ну да, конечно, — говорю я. — Черному цветку цивилизации подошло время распуститься.

Стражник не понимает.

Окна в комнате нет, лишь небольшое отверстие под самым потолком. Но через день-два глаза привыкают к полумраку. Когда утром и вечером стражник приносит еду и дверь распаивается, я произвольно загораживаюсь от света. Лучшее всего здесь ранним утром: проснувшись, долго лежу в постели,

слушаю щебет пробуждающихся птиц и гляжу на квадратную дыру дымохода, стараясь не пропустить тот миг, когда темноту сменят первые сизовато-серые отсветы зари.

Кормят меня тем же, чем и солдат. Раз в два дня ворота гарнизона запирают и меня выводят во двор умыться и размять ноги. И каждый раз ворота облеплены зеваками; прижавшись к решетке, они с интересом смотрят этот спектакль: падение сильных мира сего — любопытное зрелище. Многие лица мне знакомы, но никто со мной даже не здоровается.

Ночью, когда все вокруг затихает, на разведку вылезают тараканы. Я слышу — а может, это лишь игра воображения, — как они пощелкивают роговыми пластинками надкрылий и суетливо семят по мощеному полу. Их манит смрад стоящей в углу параша и крошки пицци на полу; гора плоти, чья жизнедеятельность и увядание сопровождается столь многообразными запахами, также, без сомнения, представляет для них немалый соблазн. Как-то раз просыпаюсь оттого, что один из них, быстро перебирая невесомыми ножками, ползет у меня по шее. С тех пор я ночью часто дергаюсь, вскакиваю и, явственно чувствуя, как длинные тонкие усики тыкаются мне в глаза и губы, принимаюсь с себя стряхивать. Тревожные симптомы — подобное состояние может перейти в душевное расстройство.

Весь день смотрю на голые стены и, вопреки здравому смыслу, верю, что стоит сосредоточиться, как в тот же миг под моим пристальным взглядом проступят картины мук и унижений, замурованные в памяти этой комнаты; или же закрываю глаза и изо всех сил напрягаю слух, чтобы уловить тот беспредельно тихий звук, с которым, должно быть, еще бьются о стены вопли страдавших здесь

людей. Я молю Бога ускорить день, когда эти стены рухнут и томящееся в них эхо наконец-то вырвется на волю; и все же очень трудно отвлечься и не слышать, как совсем близко укладывают ряд за рядом кирпичи.

Страстно жду каждого выхода во двор, той минуты, когда моего лица коснется ветер, когда ноги почувствуют землю, когда я вновь увижу людей и услышу человеческие голоса. Уже после двух дней одиночества у меня возникает ощущение, будто губы мои обмякли и потеряли свое назначение, собственная речь кажется мне странной. Воистину человек не создан жить один! Часы кормежки и промежутки между ними — вот, как это ни глупо, все, из чего теперь складывается мой день. Еду я пожираю с жадностью голодного пса. Меня содержат, как зверя, и в зверя я превращаюсь.

И тем не менее только в такие пустые дни я способен со всей серьезностью приступить к вызыванию духов, попавших в западню этих четырех стен, и ждать встречи с призраками мужчин и женщин, которые, побывав здесь, навсегда лишились чувства голода и больше не могли ходить без посторонней помощи.

Так устроена жизнь, что всегда где-нибудь да бьют ребенка. И я думаю о той, которая, несмотря на свой возраст, тоже была еще ребенком; о той, которую привели сюда и избивали на глазах у ее отца; о той, которая смотрела, как ее отца при ней унижают, и понимала: он знает, что она все это видит.

Или, возможно, к тому времени она уже потеряла зрение, и догадываться о его унижениях ей помогало что-то другое, например, она могла слышать, как менялся его голос, когда он умолял их прекратить пытки.

Всякий раз ужас не дает мне дорисовать подробности.

А потом отца у нее больше не было. Ее отец уничтожил себя, он перестал жить. Должно быть, как раз в тот миг, когда она отгородилась от него безучастностью, он бросился на своих палачей — если допустить, что в их рассказе есть хоть капля правды, — и рвал их когтями, как дикий зверь, пока дубинка не сшибла его с ног.

Закрыв глаза, часами напролет сижу на полу посреди комнаты, куда еле просачивается дневной свет, и пытаюсь вызвать из небытия образ этого человека, оставившего по себе столь тяжкую память. Но вижу лишь некий расплывчатый силуэт, называемый словом *отец*, причем это вовсе не обязательно ее отец, это — отец вообще, любой отец, на глазах у которого избивают его дитя, а он даже не может за него вступиться. Не может выполнить свой долг перед тем, кого любит. И за это, понимает он, ему не будет прощения. Вынести сознание своей отцовской несостоятельности, сознание своей отчужденности — выше его сил. Неудивительно, что он хотел умереть.

Взяв девушку под свою защиту, я тем самым как бы намекнул, что готов стать ей отцом. Но я опоздал, ибо она уже не верила в то, что заложено в понятии «отец». Я хотел поступить по справедливости, хотел исправить содеянное — я не лгу, мною действительно руководил этот чистый порыв, пусть и несколько замутненный менее благородными побуждениями: вероятно, ничто не способно вытеснить из сердца раскаяние и стремление искупить вину. И все равно я ни в коем случае не должен был впускать в город людей, претендующих на право попирать мораль во имя других, якобы более высоких

принципов. Они при ней раздевали ее отца донага и заставляли его выть от боли; они избивали ее, а он не мог помешать им (весь тот день я просидел у себя в кабинете, подсчитывая городские доходы). После этого ей уже не дано было остаться человеком в полной мере, сестрой всем нам. Какие-то чувства в ней умерли, какие-то движения души стали для нее невозможны. Если я слишком долго пробуду в этой камере, где, кроме призраков отца и дочери, прячется призрак человека, который даже при свете лампы не снимает с глаз черные щитки, и призрак его подручного, чье дело подбрасывать в жаровню уголь, меня постигнет та же участь, я превращусь в существо, разуверившееся во всем.

И потому я не оставляю попыток разгадать эту девушку, ищу, с какой бы стороны к ней подобраться, одну за другой накидываю на нее сети все новых домыслов. Опираясь на палки, она задумчиво смотрит вверх. Что она там видит? Могучие крылья альбатроса-хранителя или черную тень трусливого ворона, который не отваживается вонзить клюв в добычу, пока та еще дышит?

Хотя стражникам запрещено говорить со мной о чем бы то ни было, из обрывков фраз, которые я слышу, когда меня выводят во двор, нетрудно составить довольно полное представление о происходящем. В последнее время все разговоры вертятся вокруг вспыхнувшего у реки пожара. Пять дней назад пожар был лишь темным пятном, проступавшим сквозь дымку далеко на северо-востоке. Но с тех пор, неторопливо проедаая себе дорогу, изредка угасая, а затем неизменно разгораясь вновь, огонь значительно продвинулся вперед, и сейчас из города уже хорошо видно, как бурая пелена расплзлась по дельте, там, где река впадает в озеро.

Догадываюсь, как это случилось. Кто-то решил, что прибрежные заросли послужат для варваров слишком надежным прикрытием, а если берега расчистить, река превратится в легко обороняемый рубеж. И потому кустарники подожгли. Ветер погнал огонь на юг, и пожар охватил всю узкую речную пойму. Мне доводилось видеть стихийные пожары. Огонь мчится сквозь камыши, тополя вспыхивают от корней до верхушек, как факелы. Быстроногие звери — антилопы, зайцы, дикие кошки — спасаются бегством; птицы в ужасе тучами летят прочь; все остальное пожирается огнем. Но вдоль реки так много участков голой земли, что стихийные пожары редко распространяются далеко. Поэтому мне ясно, что в данном случае отправили специальный отряд, который вслед за пожаром спускается в низовья реки и не дает огню погаснуть. Этих людей не заботит, что, когда вся растительность будет выжжена, почву начнет сносить ветром и пустыня двинется на город. Вот так, разоряя землю, губя завещанное нам предками, экспедиционные войска готовятся к кампании против варваров.

Папки со стеллажей убраны, пыль вытерта, голые полки отполированы до блеска. Крышка письменного стола отсвечивает тусклым гляncем, на столе пусто, если не считать блюда с разноцветными стеклянными шариками. В комнате безукоризненная чистота. Воздух наполнен ароматом цветов, стоящих в вазе на маленьком столике в углу. На полу новый ковер. В моем кабинете никогда еще не было так красиво.

Одетый все в тот же походный костюм — нижнее белье я с тех пор пару раз стирал, а вот от куртки

по-прежнему пахнет дымом костра, — стою рядом с моим стражником и жду. За окном сквозь цветущий миндаль пробивается солнце, я люблюсь игрой солнечных лучей, и мне хорошо.

Наконец он входит, бросает на стол пачку бумаг и садится. Смотрит на меня и молчит. В его стараниях произвести на меня впечатление есть все же некоторая театральность. Продуманное преобразование моего кабинета из захламленной пыльной комнатухи в образец зияющей аккуратности, чванливая неспешность его прохода от двери к столу, нарочитая бесцеремонность, с которой он меня сейчас изучает, — все это призвано что-то доказать: не только то, что теперь здесь командует он (кто же в этом сомневается?), но и то, что ему прекрасно известно, как следует вести себя в служебном кабинете и, более того, как сочетается деловитость с элегантностью. Почему он считает, что ради меня стоит идти на такие хлопоты и разыгрывать весь этот спектакль? Не потому ли, что даже в своей вонючей куртке, даже обросший лохматой бородой, я для него все равно — из благородных, хотя, конечно, позорно опустил в этой глуши? Неужели он боится, что я буду ехидно посмеиваться, если он не огородит себя декорациями, которые — ни минуты в этом не сомневаюсь — скопировал с тщателью изученной обстановки в кабинетах вышестоящих чинов Третьего отдела? Скажи я ему, что все это не имеет значения, он не поверит! Только бы не улыбнуться!

Он откашливается.

— Судья, я зачитаю вам выдержки из собранных нами показаний, — говорит он, — чтобы вы имели представление о серьезности выдвигаемых против вас обвинений.

Он делает знак стражнику, и тот выходит из комнаты.

— Итак, выдержка первая: «Его отношение к своим служебным обязанностям оставляло желать лучшего. Выносимые им решения часто отличались пристрастностью, бывало, что просители месяцами дожидались судебного разбирательства, а в вопросах денежных удержаний и финансовой отчетности он не придерживался никаких определенных правил». — Он опускает бумагу на стол. — Могу добавить, что проверка выявила ряд погрешностей в вашей финансовой документации. «Несмотря на занимаемый им пост полномочного представителя государственной власти в нашем округе, он вступил в связь с уличной девкой и, предаваясь с ней разврату, тратил силы в ущерб своим официальным обязанностям. Эта безнравственная связь подрывала престиж имперской администрации, поскольку услугами вышеуказанной особы в свое время пользовались даже простые солдаты и она была замешана в многочисленных непристойных историях». Приводить примеры я не буду.

Теперь, позвольте, процитирую вам из другого показания. «Первого марта, за две недели до прибытия экспедиционных войск, он приказал мне и еще двоим (далее приводятся имена) срочно подготовиться к длительному путешествию. Куда мы отправимся, он нам в то время не говорил. Узнав, что с нами пойдет и та девушка из варваров, мы удивились, но вопросов не задавали. Кроме того, нас удивила поспешность приготовлений. Нам было непонятно, почему нельзя подождать до весенней оттепели. Лишь по возвращении мы поняли, что целью похода было предупредить варваров о готовящейся против них кампании... Наша встреча с варварами

произошла примерно восемнадцатого марта. Он вел с ними долгие переговоры, в которых мы не участвовали. Имел место также обмен подарками. Мы в то время обсуждали между собой, как быть, если он прикажет нам перейти на сторону варваров. Мы решили, что откажемся выполнять этот приказ и сами отыщем дорогу назад... Девушка вернулась к своим. Он был от нее без ума, но она о нем даже и не думала».

— Вот так-то. — Он аккуратно кладет бумаги на стол и разглаживает уголки страниц. Я по-прежнему молчу. — Я зачитал вам только выдержки. Знаете, со стороны как-то нехорошо выглядит, когда мы вмешиваемся в дела местных властей и наводим порядок. Ведь это не входит в круг наших обязанностей.

— На суде я сумею себя защитить.

— Вы уверены?

Их тактика несколько меня не удивляет. Я прекрасно знаю, какой весомый смысл можно вложить в любые инсинуации и намеки, я знаю, что любой вопрос можно построить так, что он сам продиктует ответ. Меры, определенные законом, они будут применять против меня лишь до тех пор, пока это будет их устраивать, а потом пустят в ход другие методы. Такова практика Третьего отдела. Для тех, кто действует, не считаясь с законами, судопроизводство попросту одно из многочисленных средств достижения цели.

Я нарушаю молчание:

— Никто не осмелится заявить мне такое в глаза. Кто подписал показания, которые вы зачитали первыми?

Небрежно отмахнувшись, он откидывается на спинку кресла.

— Не важно. У вас еще будет возможность ответить по всем пунктам.

В неподвижной тишине утра мы молча созерцаем друг друга, пока он не решает, что хватит, и, хлопнув в ладоши, приказывает стражнику увести меня.

Оставшись один в сумраке камеры, я долго размышляю о нем и стараюсь понять истоки его враждебности, стараюсь увидеть себя его глазами. Я думаю о том, сколько труда он вложил в переустройство моего кабинета. Вместо того чтобы без лишних хлопот свалить мои бумаги в угол и, усевшись в мое кресло, положить ноги на стол, он усердно демонстрирует мне, какой у него, по его понятиям, хороший вкус. Что же он такое, этот мужчина с тонкой мальчишеской талией и бицепсами громилы, втиснутый в сиреневатую форму, которую придумал для своих сотрудников Третий отдел? Тщеславный, жадный до похвал — безусловно. Ненасытный бабник, никогда не испытывающий полного удовлетворения и не способный дать его той, что рядом. Человек, которому внушили, что достичь вершины можно, лишь пройдя к ней по трупам. Человек, который мечтает, как в недалеком будущем наступит мне на горло, да еще и вдавит сапог посильнее. А как к нему отношусь я? Почему-то мне трудно его ненавидеть. До чего, должно быть, нелегко путь наверх для молодых парней без денег, без покровителей, без мало-мальски приличного образования — таким ничего не стоит примкнуть к преступному миру, равно как и пойти в защитники Империи (а если уж выбирать, то что может быть лучше службы в Третьем отделе!).

Как бы то ни было, мне далеко не просто свыкнуться с унижениями тюремной жизни. Порой, когда я сижу на матрасе и, уставившись на три пятнышка на

стене, чувствую, как в тысячный раз во мне зреют все те же вопросы: почему они расположены в ряд? кто их здесь оставил? есть ли в них скрытый смысл? — или когда, расхаживая по камере, ловлю себя на том, что считаю: раз-два-три-четыре-пять-шесть-раз-два-три...; или когда машинально, бездумно вожу рукой по лицу вверх и вниз — я вдруг сознаю, что позволил им сжать мой мир до микроскопических размеров, что с каждым днем я все более похожу на животное или на простейший механизм, к примеру на игрушечную детскую прялку, колесико, по ободку которого вырезаны восемь крошечных фигурок: отец, жених, старушка, заяц, вор, лягушка... И тогда в приступе умопомрачительного ужаса я срываюсь с места, ношусь по камере, молочу руками воздух, дергаю себя за бороду, топаю ногами — словом, делаю что угодно, только бы выйти из тупого оцепенения и напомнить себе, что там, за стенами, существует другой мир, многообразный и неистоцимый.

Есть унижения и другого рода. Все просьбы выдать мне чистую одежду стражники оставляют без внимания. Я вынужден ходить лишь в том, что прихватил с собой в день ареста. Во время каждой прогулки я под наблюдением стражника стираю в холодной воде с золой какую-нибудь одну вещь, — например, рубашку или кальсоны, — а потом несую ее сушиться в камеру (рубашка, которую я оставил сохнуть во дворе, через два дня исчезла). Меня неотвязно преследует кислый запах белья, давно не видевшего солнца.

И — самое унижительное. Из-за однообразия тюремного рациона — суп, овсянка, чай — отправление естественных надобностей превратилось для меня в мучение. По нескольку дней кожу с разду-

тым животом и терплю ощущение тяжести, пока наконец не решаюсь присесть над парашей и вынести режущую, раздирающую кишки боль, которой сопровождается теперь каждое опорожнение желудка.

Меня не бьют, меня не морят голодом, мне не плюют в лицо. Вправе ли я считать себя жертвой, если страдания мои так ничтожны? Но именно мелочность издевательств делает их еще более оскорбительными. Когда дверь камеры впервые захлопнулась и в замке повернулся ключ, я, помнится, улыбнулся. Мне казалось, не такое уж это великое лишение сменить привычное одиночество повседневной жизни на одинокое существование в камере, куда к тому же я переселюсь вместе с миром моих мыслей и воспоминаний. Но теперь я начинаю понимать всю примитивность своих представлений о свободе. Что включает в себя та свобода, которую мне оставили здесь? Свободу выбора: есть или голодать; молчать, или невнятно разговаривать сам с собой, или колотить в дверь, или вопить. Если я и был жертвой несправедливости, жертвой незначительного нарушения законности, то только поначалу, только в первые дни, а сейчас я просто кучка мяса, костей и потрохов.

Ужин мне приносит внук гарнизонной поварахи. Он, конечно же, недоумевает, почему старого судью заперли одного в темной комнате, но вопросов не задает. Стражник придерживает открытую дверь, и мальчик, гордо распрямившись, входит с подносом в камеру.

— Спасибо, — говорю я. — Ты молодец, что пришел, а то я уже проголодался... — Кладу руку ему на плечо и, пока он с серьезным видом ждет, чтобы я попробовал и похвалил ужин, заполняю разделя-

ющую нас пропасть простыми человеческими словами. — Как себя чувствует твоя бабушка?

— Хорошо, ваша милость.

— А что твой песик? Он вернулся? (Через двор до меня доносится голос поварихи, она зовет внука на кухню.)

— Еще нет.

— Сейчас, понимаешь ли, весна, собаки играют свадьбы: они бегают друг к другу в гости и пропадают на много дней, а потом возвращаются домой и даже не рассказывают, где были. Так что ты не беспокойся, он обязательно вернется.

— Да, ваша милость.

Он ждет, и, попробовав суп, я причмокиваю губами.

— Передай бабушке, что я благодарю ее за ужин, и скажи, все очень вкусно.

— Хорошо, ваша милость. — Со двора его снова зовут; он собирает посуду, в которой мне приносили утром завтрак, и поворачивается, чтобы уйти.

— Ты не знаешь, солдаты еще не возвратились? — быстро спрашиваю я.

— Еще нет.

Открыв перед ним дверь, я ненадолго задерживаюсь на пороге и, пока мальчик идет с подносом через двор, вслушиваюсь в последнюю вечернюю песню птиц, щебечущих на деревьях под огромным фиолетовым небом. Мне нечего подарить этому ребенку, у меня нет даже какой-нибудь пуговицы; и даже времени нет, чтобы научить его хрустеть пальцами или показать, как можно с размаху поймать свой нос в кулак.

Девушку я начинаю забывать. Меня уже клонит в сон, когда я вдруг с холодной ясностью сознаю, что за весь день не подумал о ней ни разу. Хуже того, я

не могу с точностью вспомнить ее облик. Из ее пустых глаз, казалось, всегда полз какой-то туман, обволакивающий ее неопределенностью. Вглядываюсь в темноту, жду, когда расплывчатые очертания сгустятся в некий образ; но единственное, что вспоминается мне доподлинно, это мои руки, скользящие по ее коленям, икрам, щиколоткам. Стараюсь припомнить минуты нашей наибольшей близости, но эти мгновения смешиваются в моей памяти с воспоминаниями о всех других женщинах, чью жаркую плоть мне довелось познать за свою жизнь. Да, я понемногу забываю ее и — я отдаю себе в этом отчет — хочу забыть совсем. Что влекло меня к ней, я не знаю до сих пор, как не знал и в тот миг, когда остановился у ворот гарнизона и сделал ее своей избранницей; и вот теперь я сосредоточенно закапываю ее в черную яму забвения. Как говорится, холодные руки — холодное сердце; прикладываю ладони к щекам и тихо вздыхаю в темноте.

Во сне вижу, что в тени под стеной кто-то скорчился на коленях. Площадь совершенно пуста; ветер гонит тучи пыли; девушка кутается в воротник балахона, надвигает шапку на лицо.

Я стою, склонившись над ней.

— Где у тебя болит? — Чувствую, как эти слова рождаются у меня во рту, потом слышу, как они просачиваются наружу, плоские, бесплотные, словно произнесенные кем-то другим.

Она неуклюже вытягивает ноги вперед и прикасается к щиколоткам. Она такая маленькая, что почти затерялась в просторном мужском зипуне. Опускаюсь на колени, развязываю тесемки, которыми обкручены ее непомерно большие шерстяные носки, разматываю бинты. Ее ноги лежат передо мной в пыли; искалеченные ступни — два

уродца, две вздувшиеся дохлые рыбы, две огромные картофелины.

Кладу одну ногу к себе на колени и начинаю растирать. Веки у девушки намокают, по щекам катятся слезы.

— Больно! — тихонько скулит она.

— Тс-с-с, — шепчу я. — Сейчас я тебя согрею.

Положив к себе на колени обе ее ноги, принимаюсь разминать две ступни вместе. Ветер забрасывает нас пылью; на зубах у меня песок. Просыпаюсь от боли в деснах, во рту привкус крови. Ночь неподвижна, луна — темное пятно. Некоторое время лежу, вглядываясь в черноту, потом глаза у меня слипаются, и я снова вижу сон.

Вхожу в ворота гарнизона, и двор раскидывается передо мной, бесконечный, как пустыня. Пытаться пересечь его — безнадежная затея, но я все равно бреду вперед и несую на руках девушку, мой единственный ключ от этого лабиринта: голова девушки, покачиваясь, тычется мне в плечо, ее мертвые ноги висят как плети.

Бывают и другие сны, когда то, что я обозначаю словом «девушка», внезапно меняет очертания, размеры, пол. А в одном из снов я вижу два вселяющих ужас комка: плотные и гладкие, они разбухают и разбухают, пока не заполняют собой все пространство, в котором я сплю. Просыпаюсь от удушья, кричу, горло чем-то забито.

Дни же, в отличие от ночей, сотканы из однообразия, унылого, как овсянка. Никогда прежде я так не погрязал в банальности обыденного. Поток событий во внешнем мире, нравственные нормы, обусловившие мое волеизъявление (если, конечно, это и в самом деле волеизъявление), даже предстоящая возможность защитить себя на суде — все это

напрочь утратило для меня интерес и куда-то отодвинулось: остались только аппетит, естественные отправления и скучная необходимость жить час за часом. На днях я простудился: чихаю, сморкаюсь и всецело поглощен своим недомоганием; я жалок, я просто организм, который чувствует, что заболел, и хочет выздороветь.

Однажды по ту сторону стены, где обычно весь день шуршат и позвякивают мастерки каменщиков, шум вдруг смолкает. Лежу на матрасе и внимательно прислушиваюсь: в воздухе разлит неясный гул, и, хотя он не распадается на отдельные звуки, напряжение, пронизывающее неподвижную послеполуденную тишину, вселяет в меня смутную тревогу. Будет гроза? Прижимаюсь ухом к двери, но все равно ничего не слышу. Казарменный двор пуст.

Через некоторое время за стеной снова начинают позвякивать мастерки.

Ближе к вечеру дверь открывается, и мой маленький друг вносит ужин. Его явно распирает желание что-то мне сказать; но стражник тоже вошел в камеру и стоит рядом с мальчиком, положив руку ему на плечо. Поэтому беседу со мной ведут только глаза ребенка: они сверкают от возбуждения и, я готов поклясться, говорят мне, что солдаты вернулись из похода. Тогда почему же не трубят фанфары и никто не кричит «ура», почему не цокают по городской площади копыта лошадей, почему не слышно приготовлений к пиршеству? Почему стражник так крепко вцепился в мальчика и выталкивает его из камеры, прежде чем я успеваю коснуться губами бритой головенки? Ответ

напрашивается сам собой: солдаты вернулись, но не с победой. Если так, то я должен быть начеку.

Поздним вечером в гарнизоне вдруг поднимается шум и гам. Скрипят и хлопают двери, торопливо шаркают сапоги. Кое-что из разговоров во дворе разбираю вполне ясно: никто не упоминает ни о сражениях, ни о полчищах варваров, вместо этого я слышу, как люди жалуются, что у них ноют ноги, говорят, что устали, спорят, где разместить больных. Через час все снова затихает. Двор пуст. Значит, пленных нет. Что ж, и то хорошо.

Уже давно утро, а завтрак до сих пор не принесли. Расхаживаю по камере, в животе у меня урчит, как у голодной коровы. При мысли о соленой овсянке и кружке черного чая истекаю слюной, но не думать о еде не могу.

Выводить меня на улицу тоже вроде бы не собираются, хотя сегодня день прогулки. Каменщики за стеной снова работают; со двора доносятся звуки обычной гарнизонной жизни; мне даже слышно, как повариха окликает внука. Колочу в дверь, но никому нет до меня дела.

Наконец во второй половине дня в замке поворачивается ключ и дверь открывается.

— Что тебе? — спрашивает мой тюремщик. — Ты почему в дверь молотишь?

До чего, наверно, я ему омерзителен! Какая тоска изо дня в день сторожить запертую дверь и следить за тем, чтобы удовлетворялись животные потребности другого человека! У него тоже украли свободу, и он считает, что этот вор — я!

— А меня сегодня не поведут во двор? Я еще ничего не ел.

— Ты только поэтому меня звал? Надо будет — накормим. Потерпи, не помрешь. У тебя и так жиру на двоих.

— Подождите. Мне нужно вылить парашу. Здесь очень воняет. Я хотел бы вымыть пол. И выстирать белье. Оно так пахнет, что появиться в нем перед полковником я просто не могу. Будет позор для всей тюрьмы. Мне нужна горячая вода, мыло и какая-нибудь тряпка. Разрешите, я сейчас мигом вылью парашу и принесу из кухни горячей воды.

Насчет полковника я, кажется, угадал, потому что стражник мне не перечит. Он открывает дверь пошире и отходит в сторону.

— Только быстро! — говорит он.

В кухне, кроме судомойки, никого нет. Когда мы со стражником входим, девушка испуганно вздрагивает и, похоже, готова удариться в бегство. Какие же небылицы рассказывают обо мне в городе?

— Дай ему горячей воды, — приказывает стражник.

Коротко кивнув, она поворачивается к плите, на которой всегда стоит большой котел с кипятком.

— Ведро... — бормочу я, оглядываясь на стражника. — Я только принесу ведро. — И, в три шага перемахнув через кухню, оказываюсь возле темной ниши, где помимо мешков с мукой, солью, пшеном, сушеным горохом и бобами держат веники и швабры. Вровень с моими глазами на гвозде висит ключ от погреба, где хранятся бараньи туши. В следующий миг ключ уже у меня в кармане. Когда я возвращаюсь к плите, в руках у меня деревянное ведерко. Поднимаю его повыше, и девушка черпаком наливает туда кипяток. — Как твои дела? — спрашиваю я. Руки у нее так дрожат, что я вынужден взять черпак сам. — Если можно, дай мне, пожалуйста, немного мыла и старую тряпку.

В камере раздеваюсь догола и моюсь, наслаждаясь роскошью горячей воды. Стираю мою единственную

запасную пару кальсон, от которых смердит, как от гнилой луковицы, выжимаю их, вешаю на гвоздь у двери и выливаю воду на каменный пол. Потом ложусь и жду наступления ночи.

Ключ в замке поворачивается легко. Многие ли, кроме меня, знают, что ключом от погреба можно отпереть комнату, ставшую моей камерой, а заодно и большой шкаф в главном коридоре казармы; что ключ от квартиры над кухней — близнец ключа от арсенала; что ключ от входа на лестницу северо-западной башни откроет и дверь северо-восточной башни, а также малый шкаф в коридоре и люк над водостоком во внутреннем дворике? Погрузитесь на тридцать лет в мелочи, из которых складывается жизнь в крошечном городке, и накопленные наблюдения вам тоже когда-нибудь пригодятся.

С чистого черного неба подмигивают звезды. Сквозь решетку ворот просвечивают отблески горящего на площади костра. Если напрячь глаза, возле ворот можно различить темную тень — часовой то ли сидит, привалившись к стене, то ли сжался в комочек и спит. Видит ли он, что я стою на пороге камеры? Застываю и прислушиваюсь. Он не шевелится. Медленно двигаюсь вдоль стены, мои босые ноги с тихим шепотком ступают по гравию.

Поворачиваю за угол и прохожу мимо двери кухни. Следующая дверь ведет в мою прежнюю квартиру на втором этаже. Эта дверь заперта. Но третья, последняя дверь открыта. За ней каморка, которую иногда используют как лазарет, а иногда как временное жилье для солдат. Приседаю, ощупываю перед собой пол и на корточках крадусь к тусклому синему квадрату зарешеченного окна, боясь споткнуться о тела людей, чье дыхание слышу со всех сторон.

Вдруг одна из нитей начинает отделяться от переплетения окутывающих комнату звуков: кто-то часто дышит у самых моих ног и при каждом выдохе постанывает. Ему снится сон? Неподвижно жду, а он — лишь в нескольких дюймах от меня — все пыхтит и стонет в темноте, как заведенный. Крадусь дальше.

Распрямяюсь и выглядываю в окно, готовясь увидеть огни костров, шеренги привязанных лошадей, пирамиды мушкетов и пик, ряды палаток. Но смотреть почти не на что: вижу на площади всего один еле тлеющий костер, да еще, кажется, в дальнем конце, под деревьями, сереют две палатки. Так, значит, войска еще не вернулись! Или, может быть, горстка этих изнуренных людей и есть все, что осталось от экспедиции? Сердце у меня замирает. Нет, такое просто невозможно! Эти солдаты ни с кем не воевали: в худшем случае они рыскали в верховьях реки, ловили безоружных пастухов, насиловали их жен и дочерей, громили их дома, разгоняли их скот; а в лучшем случае вообще не встретили за время похода ни души — и, уж конечно, в глаза не видели никакой армии объединившихся варваров, от чьей свирепости нас так усердно оберегает Третий отдел.

Чужие пальцы легко, словно крылья мотылька, прикасаются к моей щиколотке. Валюсь на колени.

— Пить хочу, — признается чей-то голос. Это тот солдат, который так громко пыхтел. Выходит, он не спал.

— Тише, сынок, — шепчу я. Всматриваюсь в темноту и различаю белки поднятых ко мне глаз. Щупаю его лоб: у парня жар.

Он хватается меня за руку:

— Очень пить хочется!

— Я принесу воды, только обещаю, что не будешь шуметь, — шепчу я ему в ухо. — Тут больные, им нужно спать.

Тень у ворот так и не сдвинулась с места. Возможно, это просто старый мешок или куча дров. На цыпочках иду по гравиию через двор, к длинному желобу солдатской умывалки. Вода там не слишком чистая, но вытащить затычку из стока я не рискую. На желобе сбоку висит погнутый ковшик. Наполняю его и крадусь обратно.

Паренек силится приподняться, но он совсем ослабел. Пока он пьет, поддерживаю его за плечи.

— Что с тобой? — тихо спрашиваю я. Рядом кто-то ворочается. — Ты ранен или заболел?

— Мне очень жарко! — стонет он. Хочет скинуть с себя одеяло, но я не позволяю.

— Ты должен как следует пропотеть, — шепчу я. Он медленно покачивает головой из стороны в сторону. Сижу рядом и держу его за руку, пока он вновь не засыпает.

В деревянную раму вделаны три железных прута: на первом этаже все окна в казарме зарешечены. Упираюсь в раму ногой, берусь за средний прут и тяну его на себя. Потею, напрягаюсь, поясницу пронзает острая боль, но прут не поддается. Затем рама вдруг трещит, и, чтобы не опрокинуться на спину, цепляюсь за подоконник. Паренек снова начинает стонать, кто-то кашляет. Переношу вес на правую ногу и чуть не вскрикиваю от внезапной боли.

Ставни не заперты. Отогнув прутья решетки в сторону, просовываю в дыру голову и плечи, выбираюсь наружу, кубарем лечу вниз и наконец приземляюсь под стриженными кустами, которые растут вдоль северной стены гарнизона. Боль такая, что ни о чем другом думать не могу, и у меня только одно

желание — чтобы мне не мешали лежать в этой единственно удобной сейчас позе: на боку, подтянув колени к подбородку. Теряя впустую по меньшей мере час, лежу и слушаю, как из открытого окна несутся вздохи спящих и паренек что-то бормочет себе под нос. На площади гаснут последние угли костра. Спят люди, спят звери. Эта предрассветная пора — самое холодное время ночи. Идущий от земли холод пробирает меня до костей. Если я здесь застряну, то окоченею, и утром меня на тачке отвезут назад в камеру. Как искалеченная улитка, с трудом ползу вдоль стены к темному зеву ближайшей улицы, что ведет прочь от площади.

Калитка дворика за трактиром косо завалилась на проржавевших петлях. Дворик насквозь пропах гнилью. Кухарки вываливают сюда кучи очистков, кости, объедки, золу, чтобы потом вилы закопали все это в землю; но земля устала принимать в себя мусор, и вилы, хороня скопившиеся за неделю отбросы, выволакивают наверх то, что погребли неделю назад. Днем воздух здесь гудит от мух; в сумерках оживают черные и рыжие тараканы.

Под деревянной лестницей, ведущей на галерею и в комнаты прислуги, есть закуток, где держат дрова и где в плохую погоду прячутся от дождя кошки. Заползаю туда и сворачиваюсь на старом мешке. От мешка пахнет мочой, в нем наверняка полно блох, я так замерз, что стучу зубами; но главное сейчас — хоть немного утихомирить боль в спине.

Будит меня дробь шагов по лестнице. Уже давно светло: в смятении, с мутной головой, съезживаюсь в своей норе. Кто-то открывает дверь кухни. Со всех сторон сбегаются куры. Рано или поздно меня здесь непременно обнаружат.

Набравшись дерзости, но, несмотря на все усилия, морщась от боли, поднимаюсь по лестнице. В грязной рубашке и замызганных штанах, босиком, с патлатой бородой — какую картину являю я собой миру? Дай Бог, чтобы меня приняли за слугу, за конюха, возвращающегося с ночной попойки.

Коридор пуст, дверь в комнату девушки открыта. В самой же комнате, как всегда, прибрано и чисто: возле кровати лежит на полу пушистая шкура, окно затянуто красной клетчатой занавеской, сундук придвинут к стене под вешалку с платьями. Зарываюсь лицом в благоухание ее одежды и думаю о ребенке, который носил мне еду, вспоминаю, как я клал руку ему на плечо и как от этого прикосновения животворная сила растекалась по телу, иссушенному противоестественным одиночеством.

Кровать застелена. Скольжу рукой под покрывало, и мне чудится, будто простыни еще хранят ее тепло. Было бы наивысшим счастьем свернуться калачиком в ее постели, положить голову на ее подушку, забыть об усталости и боли, не думать о том, что охотники, должно быть, уже идут по следу, и, подобно красавице из сказки, заснуть на сто лет. Как сладострастно ощущаю я этим утром притягательность всего теплого, мягкого, душистого! Со вздохом опускаюсь на колени и впихиваю себя под кровать. Распластавшись лицом вниз, так тесно зажатый между полом и планками кровати, что стоит шевельнуть плечом, как кровать приподнимается, я готовлюсь прятаться здесь целый день.

То дремлю, то просыпаюсь, бессвязные сны сменяют друг друга. Ближе к полудню становится до того жарко, что спать больше невозможно. Пока хватает терпения, лежу, обливаясь потом, в своем тесном пыльном убежище. Затем, как ни оттягиваю

эту минуту, она все же настает, и я должен немедленно облегчиться. Кряхтя, выползаю из-под кровати и сажусь на ночной горшок. Снова раздражающая кишки боль. Заменявший мне бумагу украденный белый платочек весь в крови. В комнате воняет: противно даже мне, столько времени прожившему в камере, где в углу стояла параша. Открываю дверь и ковыляю по коридору. С галереи видны ряды крыш, за ними — южная стена города, а за ней простирается уходящая в голубую даль пустыня. Внизу никого нет, только на другой стороне улочки какая-то женщина подметает крыльцо. За спиной у нее копошится на четвереньках ребенок и что-то толкает перед собой в пыли — что именно, я не вижу. Круглая детская попка задрана к небу. Как только женщина отворачивается, выхожу из темноты и опорожняю горшок на кучу мусора под галереей. Женщина ничего не замечает.

По городку уже растекается ленивая истома. Утренняя работа закончена: не дожидаясь наступления жары, люди уходят спать в тенистые внутренние дворики или в зеленоватую прохладу дальних комнат. Вода в канавах журчит тише и тише, а потом и вовсе замирает. Слышно только, как под молотом кузнеца позванивает подкова, как воркуют голуби да еще откуда-то доносится плач младенца.

Вздохнув, ложусь на кровать, и меня обволакивает навевающий сладкие воспоминания запах цветов. Как соблазнительно погрузиться вместе со всем городком в послеполуденный отдых! Ах, эти жаркие весенние дни, незаметно переходящие в лето, — до чего же просто отдать себя во власть их расслабляющей неги! Ну как могу я смириться с тем, что меня настигла беда, если жизнь вокруг все так же покойно течет по своим законам? Мне сейчас очень

легко поверить, что скоро, когда тени начнут удлиняться и первое дуновение ветерка всколыхнет листву, я проснусь, зевну, оденусь, спущусь по лестнице и, раскланиваясь с друзьями и соседями, пройду через площадь в здание суда, час-другой посижу у себя в кабинете, потом наведу на столе порядок, замкну дверь... Мне очень легко поверить, что все снова будет так, как было всегда. И чтобы опомниться, трясу головой и моргаю, пока наконец не осознаю, что, хотя я лежу здесь, я — в бегах; что, выполняя приказ, солдаты нагрянут и сюда, вытолкают меня взащей, а потом снова запрут там, откуда не увидать ни неба, ни людей. «Почему? — хрипло я в подушку. — Почему я?» Знал ли мир второго такого же не искусленного в жизни, наивного простака? Сущее дитя! И все же, если им удастся, они засадят меня под замок гнить в темнице, будут с той же злобной нерадивостью заботиться о нуждах моего тела, а потом, однажды, без предупреждения выгатают меня из камеры и молниеносно, как принято у них в условиях чрезвычайного положения, проведут суд при закрытых дверях под руководством маленького надменного полковника: его приспешник будет зачитывать обвинения, а чтобы придать процедуре подобие законности, в пустом зале будут присутствовать в качестве заседателей два младших офицера; затем, и прежде всего в том случае, если они уже проиграли несколько сражений и варвары сбили с них спесь, меня признают виновным в измене — стоит ли в этом сомневаться? Из зала суда меня поволокут на казнь: я буду биться у них в руках и рыдать, преисполненный величайшего изумления, как в тот день, когда я появился на свет, и до самого конца буду упорно верить, что кара не может постигнуть безвинного. «Ты живешь в мире грез! — говорю я себе;

громко произношу эти слова вслух, смотрю, как они повисают передо мной в воздухе, и пытаюсь уразуметь их смысл. — Ты должен очнуться!» Намеренно вызываю в своем сознании образы тех безвинно пострадавших, кого я знал: залитый светом фонаря, нагой мальчик лежит, прикрыв руками пах; пленные варвары сидят на корточках в пыли и, загоразвивая глаза от солнца, ждут, что будет дальше. Почему же я не допускаю мысли, что растоптавшее их чудовище способно растоптать и меня? Я искренне верю, что не боюсь смерти. Меня, как я догадываюсь, страшит иное — позор умереть все в том же растерянном и глупом недоумении.

Внизу во дворе раздается гомон мужских и женских голосов. Торопливо забиваюсь в свой тайник и слышу, как чьи-то сапоги топают по лестнице. Удаляясь в конец галереи, шаги затихают, потом медленно возвращаются и ненадолго гаснут перед каждой дверью. На этом, верхнем этаже трактира клетушки, где спит прислуга и где солдаты могут за деньги провести ночь в свое удовольствие, разделены лишь тонкими, обклеенными бумагой перегородками; я отчетливо слышу, как в поисках добычи охотник по очереди распаивает двери одну за другой. Прижимаюсь к стене. Хорошо бы, он не учуял мой запах.

Шаги сворачивают за угол и двигаются по коридору, приближаясь ко мне. Дверь открывается, ее придерживают, потом она закрывается снова. Итак, я прошел испытание.

Снова шаги, но на этот раз легкие, быстрые: кто-то пробегает по коридору и входит в комнату. Я лежу отвернувшись и не вижу ее ног, но знаю, что это — она. Сейчас самое время открыть свои карты и попросить ее спрятать меня здесь до наступления темноты, когда я смогу выбраться из города

и спуститься к озеру. Но как это сделать? Едва кровать всколыхнется и я начну вылезать, девушка выскочит в коридор и заголосит, зовя на помощь. И где уверенность, что она согласится спрятать меня — одного из тех многих, что не раз проводили время в этой комнате, одного из тех случайных мужчин, ублажая которых она зарабатывает себе на жизнь, — человека в опале, беглеца? Да и узнает ли она меня в моем теперешнем виде? Ее ноги порхают по комнате, изредка задерживаясь то там, то здесь. В этих перебежках я не улавливаю никакой закономерности. Лежу неподвижно, дышу тихо, обливаюсь потом. Затем она вдруг исчезает; короткий скрип ступенек — и тишина.

На меня нисходит ощущение покоя, и во внезапном просветлении я понимаю, как все это смешно — и мой побег, и эта игра в прятки; что за глупость улечься в жару под кровать, а потом, выбрав безопасный миг, улизнуть в заросли камышей, чтобы жить там, питаясь, без сомнения, только птичьими яйцами и рыбой, которую надо будет ловить руками; чтобы спать в какой-нибудь норе и терпеливо дожидаться, пока жернова истории перемелют нынешнее время и жизнь на границе вновь погрузится в прежнюю спячку. Если уж начистоту, то я просто перестал владеть собой и впал в панику — ужас, как я полагаю, охватил меня в ту минуту, когда пальцы стражника впились в плечо ребенка, напоминая ему, что не следует ничего мне говорить, и я понял: что бы ни произошло в тот день, винить в случившемся все равно будут меня. Я вошел в камеру здравомыслящим человеком, уверенным в правильности избранной им стези, хотя и до сих пор не могу с точностью объяснить, что это за стезя; но сейчас, после двух месяцев, проведенных

среди тараканов, в четырех стенах, где видишь перед собой лишь загадочное пятно копоти, где обоняешь только смрад собственного тела, где поговорить можно лишь с являющимся во сне призраком, на чьих устах печать, — сейчас я далеко не так в себе уверен. Желание коснуться живого человеческого тела и почувствовать его ответное прикосновение захлестывает меня иногда с такой силой, что я скрежещу зубами: как жадно каждый вечер и каждое утро предвкушал я ту минуту, когда рука моя на краткий миг ляжет на плечо мальчику — ведь ничего другого мне было не дано! Женские объятия в чистой постели, хорошая еда, прогулки погожим днем — насколько, казалось бы, все это важнее, чем право решать без подсказки полиции, с кем тебе дружить, а с кем — враждовать! Как могу я утвердиться в своей правоте, когда весь город единодушно осуждает мои похождения с девушкой-чужестранкой и не менее единодушно ополчится против меня, если местные парни будут гибнуть в боях с любезными моему сердцу варварами? Но раз у меня нет непоколебимой уверенности в своей правоте, то какой же смысл страдать под пытками палачей в сиреневых мундирах? Ведь даже если я скажу им правду, даже если слово в слово повторю все, что говорил во время встречи с варварами, даже если моим экзекуторам захочется поверить мне, они будут упорно продолжать свое черное дело, ибо свято чтят заповедь, гласящую, что с предельной правдивостью человек раскрывается только под предельным нажимом. Я убегаю от боли и смерти. Но бегство мое не продумано. Если я спрячусь у озера, то через неделю умру от голода или меня выкурят из плавней дымом. Будем откровенны: я попросту хочу дать себе передышку, потому-то и сбежал

сюда, в единственное место, где, может быть, меня еще примут в мягкую постель и ласковые объятия.

Снова шаги. Узнаю ее быструю походку, но на этот раз девушка не одна, с ней — мужчина. Они входят в комнату. Судя по голосу, ее гость еще очень молод, совсем мальчишка.

— Зря ты позволяешь так с собой обращаться! Ты им не рабыня! — с жаром восклицает он.

— Ты не понимаешь, — отвечает она. — И вообще я не хочу сейчас об этом говорить.

Тишина, затем звуки поцелуев.

Я краснею. Присутствовать при этом невыносимо. Но выхода нет, и, как рогоносец в балаганном фарсе, я, затаив дыхание, все глубже увязаю в трясине позора.

Кто-то из них садится на кровать. На пол с шумом падают сапоги, шуршит одежда, и, отделенные от меня расстоянием всего в дюйм, надо мной вытягиваются два тела. Прогнувшись, планки кровати вдавливаются мне в спину. Слушать слова, которые они сейчас говорят друг другу, стыдно, и я мысленно затыкаю уши, но не могу приказать себе не слышать хорошо знакомые, блаженные вскрики и стоны охваченной страстью девушки, той девушки, что некогда будила в моей душе особую нежность.

Планки давят на меня сильнее. Вжимаюсь в пол как только могу, кровать начинает скрипеть. Мокрый от пота, красный, я не выдерживаю и стону: протяжный тихий стон змеей выползает из моего горла и, никем не замеченный, смешивается с шумом их дыхания.

Но вот и кончилось. Вздохнув, они затихают, кровать перестает ходить ходуном, они спокойно лежат бок о бок, волны дремоты уносят их все дальше в сон, а я — мрачный, напряженно застывший,

сна ни в одном глазу — поджидаю удобной минуты, чтобы сбежать. Сейчас то время дня, когда засыпают даже куры, то время дня, когда Империей правит только один властелин — солнце. В маленькой комнате под плоской крышей такая жара, что можно задохнуться. Я со вчерашнего вечера ничего не ел и не пил.

Уперевшись ногами в стену, долго выталкиваю себя из-под кровати, потом наконец осторожно приподнимаюсь и сажусь. Боль в спине, ноющая стариковская боль, снова дает о себе знать.

— Простите, — шепчу я.

Они и правда спят: как дети, мальчик и девочка, нагие, рука в руке, на коже бусинки пота, лица разглаженные и безмятежные. Стыд захлестывает меня с удвоенной силой. Красота девушки не будит во мне желания: напротив, сама мысль о том, что старик с тяжелым, дряблым, дурно пахнущим телом (как же они не почувствовали запаха?) смел когда-то обнимать ее, кажется сейчас в высшей степени непристойной. Ведал ли я, что творю, когда подминал под себя такие юные, похожие на цветы создания с мягкими лепестками — ведь была не только эта девушка, но еще и та, другая? Я должен был оставаться среди себе подобных, среди разжиревших и увядающих; мой удел — сварливые толстые бабы с едко пахнущими подмышками, потаскухи с большими, обвислыми грудями. На цыпочках я выхожу из комнаты и ковыляю по лестнице вниз, навстречу ослепительному огню солнца.

Верхняя створка ведущей в кухню двери открыта. Какая-то старуха, скрюченная и беззубая, стоя ест из чугунной кастрюли. Мы встречаемся глазами; она застывает с разинутым ртом, ложка повисает в воздухе на полпути. Старуха узнает меня.

Машу рукой и улыбаюсь — я сам удивлен, как легко дается мне эта улыбка. Ложка продолжает прерванный путь, губы накрывают ее, старуха отводит взгляд в сторону, я иду дальше.

Северные ворота города заперты, решетка задвинута. Взбираюсь по лестнице на сторожевую башню над углом стены и жадно впиваюсь глазами в любимый пейзаж: полоса зелени вдоль реки, вся в черных прогалинах; светло-зеленые пятна болот, где колышутся молодые побеги камышей; сверкающая гладь озера.

Но что-то не так. Сколько я просидел под замком, упрятанный от мира: два месяца или десять лет? Всходы пшеницы на полях под стеной должны были к этому времени дружно подняться на восемнадцать дюймов. Но повсюду, кроме западной оконечности орошаемых участков, вижу лишь короткие желтоватые стебельки. Ближе к озеру много широких пропашин, а вдоль дамбы тянутся серые стога.

Заброшенные поля, парализованная солнцем площадь, пустые улицы — картина эта внезапно обретает в моих глазах новый и зловещий смысл. Люди покидают город — другого объяснения не найти, — и шум, который я слышал среди ночи два дня назад, означал не прибытие, а отъезд. При этой мысли сердце у меня екает (от ужаса? от радости?). И все же, должно быть, я ошибаюсь: приглядевшись, вижу на площади двух мальчишек, которые мирно играют под шелковицей; да и судя по тому, что я видел в трактире, жизнь в городе идет своим ходом.

Дозорный, усевшись на высокий табурет, тупо смотрит с вершины башни в пустыню. Подхожу к нему почти вплотную, только тогда он наконец замечает меня и вздрагивает.

— Спускайся назад, — говорит он бесцветным голосом, — сюда подниматься запрещено.

Я его никогда раньше не видел. Только тут со-знаю, что с тех пор, как сбежал на волю, за все время не видел никого из прежних солдат гарнизона. Почему вокруг одни чужие?

— Ты разве меня не знаешь? — спрашиваю я.

— Спускайся.

— Я сейчас, только сначала ответь мне на один очень важный вопрос. Понимаешь, мне, кроме тебя, некого спросить — все то ли спят, то ли ушли. Ты скажи мне вот что: кто ты такой? Куда подевались все, кого я знал? Что случилось с полями? Все буд-то паводком размыло, только с чего ему быть, па-водку-то? — Он слушает мое бормотание, и глаза его сужаются. — Ты уж прости за глупые вопросы, но меня лихорадка скрутила, я был прикован к постели, — этот книжный оборот вырывается у меня совершенно непроизвольно, — мне только сегодня разрешили подняться. Поэтому я...

— Ты, отец, в такую жару поосторожнее, — гово-рит он. Уши у него торчат из-под шапки, которая ему явно велика. — Тебе в эту жару лучше бы лежать.

— Да... Может, дашь водички попить? — Он протягивает мне фляжку, и я пью тепловатую во-ду, стараясь скрыть, как велика моя жажда. — Так объясни: что случилось?

— Это все варвары. Они снесли вон там кусок дамбы и затопили поля. Самих их никто не видел. Они это ночью. А утром люди глядь — будто второе озеро. — Он успел набить трубку и протягивает ее мне. Я вежливо отказываюсь («Только кашлять буду, а мне это вредно»). — Да, так что крестьянам одно расстройство. Они говорят, урожай погиб, а сеять заново поздно.

— Худо дело. Стало быть, зима будет тяжелая. Придется нам затянуть пояс потуже.

— Уж точно, вам тут не позавидуешь. Они, варвары эти, могут ведь и по второму разу напакостить. Им только захотеть — возьмут и снова поля затопят.

Мы пространно толкуем с ним о варварах и об их коварстве. Они никогда не выходят биться в открытую, говорит он: у них привычка такая, чтоб, значит, сзади подкрасться — и ножом в спину.

— И чего они не хотят оставить нас в покое? Есть же у них своя земля, мало им?

Увожу разговор в другую сторону, вспоминаю прежние дни, когда на границе было спокойно. Он, выказывая на свой крестьянский манер уважение, называет меня «отец» и слушает с той рассеянной снисходительностью, с какой слушают болтовню выживших из ума стариков — все лучше, чем целый день паяться в пустоту.

— Скажи-ка, — говорю я, — два дня назад я слышал, как ночью прискакали всадники: это что же, все войско вернулось?

— Да нет, — смеется он. — Только несколько солдат. Их всех привезли в одной телеге. А скакать никто не скакал, тебе, видать, послышалось. Они от воды заболели — там, в пустыне, говорят, вода шибко плохая, — вот их и отослали назад.

— Теперь ясно! А то я никак не мог в толк взять, что за шум такой. Ну, а когда, думаешь, ждать назад большое войско?

— Думаю, теперь уже скоро. В ваших краях на подножном корму долго не проживешь, верно говорю? Я такой бедной земли отродясь не видел.

Спускаюсь по ступенькам башенной лестницы. После этого разговора чувствую себя чуть ли не древней развалиной. Странно, что его не преду-

предили, чтобы глядел в оба и не проморгал толстого старика в рваных обносках. Или, может быть, он засел там наверху со вчерашнего вечера, и ему не с кем было переброситься даже словом? Кто бы подумал, что я умею так складно врать! Уже далеко за полдень. Моя тень скользит рядом со мной расплывшейся чернильной кляксой. Мне кажется, что в этих четырех стенах я сейчас единственное живое существо, не потерявшее способности двигаться. Мною овладевает такой восторг, что я готов запеть. Забываю даже о больной спине.

Открываю малые боковые ворота и выхожу из города. Мой приятель на сторожевой башне смотрит на меня сверху. Машу ему рукой, и он машет в ответ — Тебе шапка нужна! — кричит он.

Хлопаю себя по лысине, пожимаю плечами, улыбаюсь. Солнце палит вовсю.

Яровая пшеница и вправду загублена. Теплая рыжая грязь чавкает между пальцами моих ног. Кое-где еще попадают лужи. Многие молодые растения вымыло из земли прямо с корнями. Но и те, что тянутся вверх, тоже все до одного пожелтели. Особенно пострадал участок, примыкающий к озеру. Там полегли все всходы, и крестьяне, не теряя времени, уже начали сгребать мертвые стебли в кучи, чтобы потом их сжечь. Поля, отдаленные от озера, расположены чуть выше, и перепад в несколько дюймов уберег их от затопления. Так что, вероятно, четвертую часть посевов можно будет спасти.

Что касается ирригационных сооружений, то дамба — низкая земляная стена протяженностью около двух миль, не дающая озеру выйти из берегов, когда летом вода достигает предельного уровня, — уже восстановлена, зато напрочь смыта вся разветвленная сеть каналов, распределяющих воду

по полям. Плотины и водяное колесо на берегу озера не пострадали, но почему-то нигде не видно лошади, которая обычно ходит по кругу, приводя колесо в движение. Да, крестьян ждут многие дни тяжелой работы. Но весь их труд вновь пойдет насмарку, если того захочет горстка людей, вооруженных простыми лопатами. Как можем мы победить в такой войне? Какой смысл предпринимать рекомендованные учебниками стратегические маневры, набеги и карательные экспедиции в глубь вражеского тыла, если противнику ничего не стоит обескровить нас на нашей собственной территории?

Выбираю старую дорогу, которая, немного петляв позади западной стены, переходит в тропинку, обрывающуюся у засыпанных песком руин. Интересно, разрешают ли детям играть здесь, как и прежде, или родители теперь не выпускают их из дома, пугая рассказами о притаившихся в засаде варварах? Поднимаю глаза на стену, но мой приятель на башне, кажется, задремал.

Все, что мы раскопали в прошлом году, снова занесено песком. Лишь кое-где еще торчат угловые столбы построек, в которых, хочется верить, когда-то жили люди. Расчищаю в песке ямку и сажусь отдохнуть. Те, кто меня ищет, вряд ли догадаются прийти сюда. Я могу хоть целую вечность сидеть здесь, привалившись к древнему столбу со стершимися резными изображениями волн и дельфинов, и обгорать на солнце, иссыхать на ветру, а потом в конце концов замерзнуть в сугробе, но никто так и не найдет меня, пока в далеком, мирном будущем дети оазиса не вернуться на прежнее место игр, где набредут на откопанный ветром скелет доисторического обитателя пустыни в истлевших непонятных лохмотьях.

Меня будит голод. Солнце, огромное и красное, залегло на западном краю неба. Ветер усиливается: сбоку ко мне уже притиснулся холмик нанесенного песка. Больше всего хочется пить. Мой первоначальный замысел провести ночь здесь, среди призраков, дрожа от холода, в ожидании, когда из темноты вновь проступят знакомые стены и верхушки деревьев, явно никуда не годится. За пределами этих стен меня ждет только голод. Трусливо, как мышь, перебегая из норы в нору, я в глазах всего города окончательно превращусь в преступника. Да и зачем мне делать за своих врагов их работу? Если они намерены погубить меня, то пусть, по крайней мере, будут сами виноваты в моей смерти. Беспросветный страх, владевший мною весь день, несколько ослабел. Если удастся возродить в себе хотя бы смутный отголосок прежнего гнева, то, возможно, это приключение было не напрасным.

Громко колочу в ворота гарнизона.

— Эй, вы что, не видите, кто пришел? Я нагулялся, можете впустить меня обратно.

К воротам кто-то подбегает; в тусклом свете сумерек мы вглядываемся друг в друга сквозь решетку: это тот солдат, которого приставили ко мне стражником.

— Тихо ты! — шипит он и отодвигает засовы. За спиной у него перешептываются, собирается народ.

Он хватается меня за руку и быстрым шагом ведет через двор.

— Кто это? — спрашивает чей-то голос.

Меня так и подмывает ответить, вытащить из кармана ключ и помахать им, но внезапно понимаю,

что этот поступок может оказаться опрометчивым. И потому молча стою и жду: мой тюремщик отпирает знакомую дверь, заталкивает меня в камеру, сам тоже туда заходит и поворачивает ключ изнутри.

— Запомни! — доносится до меня из темноты его сдавленный от ярости голос. — Если проболтаешься, что выходил, я тебя со света сживу! Понял? Ты мне за это заплатишь! Лучше молчи! Если кто спросит про сегодняшний вечер, скажешь, я водил тебя гулять, для разминки — а больше ни слова! Ты понял?

Отдираю пальцы, вцепившиеся мне в плечо, и осторожно отодвигаюсь подальше.

— Видишь, как легко я мог бы сбежать и укрыться у варваров? — бормочу я. — Почему, думаешь, я вернулся? Ты всего лишь простой солдат, твое дело только выполнять приказы. Но ты все равно подумай о том, что я тебе сказал. — Он хватает меня за руку, и я снова разжимаю его пальцы. — Подумай, почему я вернулся, и подумай, что бы с тобой было, если бы я сбежал навсегда. От этих в сиреневом пощады ждать нечего, ты же понимаешь. Так что подумай, что может случиться, если я сбегу снова. — Теперь уже я сам хватаю его за руку. — Но ты не бойся, я не проговорюсь. Можешь рассказывать им что хочешь, я тебя не выдам. Я-то понимаю, что такое страх. — Он недоверчиво молчит. — Знаешь, чего мне больше всего хочется? — говорю я. — Есть и пить. Просто умираю с голоду, весь день ничего не ел.

И вот все опять идет по-прежнему. Меня продолжают держать в этом абсурдном заточении. День за днем я лежу на спине и смотрю на столбик света, который вначале становится все ярче, а потом постепенно угасает. Я слушаю, как в отдалении

позвякивают мастерки каменщиков, как за стеной стучат молотки плотников. Я ем, я пью, и — подобно всем остальным — я жду.

Сперва откуда-то издали доносятся выстрелы мушкетов, жидкие, как хлопки игрушечного пугача. Затем, с более близкого расстояния, прямо с крепостного вала, гремят ответные залпы. Двор наполняется топотом бегущих ног. «Варвары!» — кричит кто-то, но, думаю, он ошибается. Перекрывая шум этой суматохи, сверху льется звон набата.

Припав ухом к щели под дверью, пытаюсь понять, что же происходит.

Шум на площади из разноголосого гула переходит в дружный рев, в котором отдельные голоса уже не различишь. Должно быть, встречать войско на улицы высыпал весь город, тысячи ликующих людей. Треск мушкетов продолжается. Затем рев переходит с тенора на более высокий тембр и звучит все пронзительней, все возбужденнее. Сквозь него над площадью еле просачиваются медные переливы фанфар.

Искушение слишком велико. А что мне, собственно, терять? Отпираю дверь. Щурясь и загораживая глаза от нестерпимо ослепительного света, пересекаю двор, прохожу в ворота и присоединяюсь к задним рядам толпы. Ружейные залпы и гром рукоплесканий не смолкают. Стоящая рядом старуха в черном, чтобы не потерять равновесие, хватает меня за локоть и приподнимается на цыпочки.

— Вы что-нибудь видите? — спрашивает она.

— Да. Какие-то люди на лошадях, — отвечаю я; но она не слушает.

Вижу кавалькаду всадников, которые с развевающимися знаменами въезжают в городские ворота и, достигнув середины площади, один за другим спешиваются. Вся площадь окутана пылью, но мне видно, что всадники улыбаются и смеются; один из них скачет, победно подняв руки над головой, другой размахивает гирляндой цветов. Вперед они продвигаются медленно, потому что толпа обступает их, люди стараются к ним прикоснуться, радостно хлопают в ладоши, волчком крутятся на месте в упоении от собственного восторга. Дети мчатся мимо меня, протискиваясь между ногами у взрослых, чтобы оказаться поближе к героям. Вновь и вновь раскатисто гремят выстрелы с крепостных стен, где собрался весело галдящий народ.

Но не все воины спешиваются. Часть кавалькады, возглавляемая мрачнолицым молодым капралом, который везет зелено-золотое знамя своего батальона, пробивается сквозь толчею в дальний конец площади, и всадники начинают объезжать площадь по кругу, а толпа, кольхаясь, ползет за ними по пятам. Как вспыхнувший огонь, по рядам перебегает одно и то же слово: «Варвары!»

Коня, на котором едет капрал, ведет под уздцы солдат, дубинкой расчищающий дорогу знаменосцу. Следом едет другой всадник и тянет за собой веревку; она связывает за шеи цепочку идущих пешком людей; варвары, совершенно голые, шагают, как-то странно прижав руки к лицу, будто все до одного мучаются зубной болью. На мгновение меня озадачивает услужливая готовность, с которой они на цыпочках следуют за своим предводителем, но потом глаза случайно ловят блеск металла, и я сразу же все понимаю. Сквозь дырки, проколотые в ладонях и щеках каждого из этих людей, продето

незатейливое проволочное кольцо. «Тотчас делаются кроткие, как овечки, — вспоминаю я слова солдата, который однажды видел этот фокус. — Думают только, как бы лишний раз не шевельнуться». К горлу подкатывает дурнота. Лучше бы я не выходил из камеры.

Благоразумно поворачиваюсь спиной, чтобы меня не заметили те двое, что вместе со своим конным эскортом замыкают процессию: едущий с непокрытой головой молодой капитан, для которого это первая боевая победа, и рядом с ним посмуглевший и осунувшийся после длительного похода полковник тайной полиции Джолл.

Объезд площади завершен, всем была дана возможность полюбоваться на двенадцать жалких пленников, и теперь любой вправе доказывать своим детям, что варвары — не выдумка. Толпа, подхватив с собой и меня, оттекает к главным воротам, где ей преграждают путь солдаты, вставшие полукругом: задние напирают на передних, и в конце концов людское месиво не может сдвинуться ни туда, ни сюда.

— Что случилось? — спрашиваю я у мужчины, стоящего рядом.

— Не знаю, — говорит он. — Помогите-ка его приподнять. — Помогаю ему посадить на плечи ребенка, которого он держит на весу одной рукой. — Тебе видно? — спрашивает он мальчика.

— Да.

— Ну и что же ты видишь?

— Они велят этим варварам стать на колени. А чего они будут с ними делать?

— Не знаю. Подождем и все увидим.

Медленно, прилагая титанические усилия, поворачиваюсь и пробую вырваться из давки.

— Извините... простите... — бормочу я, — очень жарко... мне сейчас будет плохо...

Впервые за все это время на меня начинают оглядываться и показывать пальцами.

Я обязан вернуться в камеру. Хотя, конечно, этим я ничего не докажу, и, более того, мой уход останется незамеченным. Но ради себя самого, чтобы быть честным в собственных глазах, я обязан вернуться в прохладный мрак, закрыть дверь, повернуть в замке ключ, приказать себе не слышать патриотические кровожадные выкрики толпы, сомкнуть губы и никогда больше не произносить ни слова. Кто знает, может быть, я несправедлив к моим согражданам; может быть, в эту самую минуту башмачник сидит дома, стучит молотком по колодке и что-то напевает, чтобы заглушить в ушах шум с площади; может быть, несколько хозяек никуда не пошли, чистят на кухне горох и, чтобы чем-то занять непоседливых детей, рассказывают им сказки; может быть, кое-кто из крестьян продолжает спокойно заниматься делом и чинит разрушенные каналы. Если в этом городе у меня есть единомышленники, то как жаль, что я их не знаю! Но сейчас, когда я шагаю прочь от толпы, для меня важнее всего не дать осквернить себя зрелищем надвигающейся расправы и при этом не позволить яду бессильной ненависти к изуверам отравить мой разум. Спасти пленных я не могу, так пусть спасу хотя бы себя. Пусть, по крайней мере, будет известно — если, конечно, это станет известно, если в далеком будущем найдется кто-то, кому захочется понять наше время, — что на далекой пограничной заставе Великой Лучезарной Империи жил некогда один человек, который в душе не был варваром.

Прохожу в ворота гарнизона на двор. Иду к желобу умывалки, беру там пустое ведро и наполняю его. Выставив ведро перед собой и расплескивая воду, снова приближаюсь к толпе. «Извините», — бормочу я и проталкиваюсь вперед. Люди чертыхаются, отступают в сторону, ведро качается, вода льется на ноги, я упрямо протискиваюсь сквозь толкучку, пока с неожиданной быстротой не оказываюсь вдруг в самом переднем ряду и чуть не утыкаюсь в спины солдат, которые держатся за концы отделяющих их друг от друга длинных палок и цепью огораживают арену, где будет разыграно поучительное представление.

Четыре пленника стоят посреди площади на коленях. Остальные восемь, все еще связанные вместе, сидят на корточках в тени под стеной и, прижав ладони к щекам, смотрят на своих товарищей.

Те, что стоят в ряд на коленях, медленно сгибаются над лежащим на земле тяжелым круглым бревном. Шнур, который пропущен сквозь проволочное кольцо во рту первого пленного, пройдя под бревном, тянется наверх и проходит сквозь кольцо второго, оттуда ныряет под бревно, потом опять наверх — в третье кольцо, потом снова под бревно и — в четвертое кольцо. На моих глазах солдат затягивает шнур сильнее, и пленные сгибаются все ниже, пока не касаются бревна лицом. Один из них от боли дергает плечами и стонет. Трое других молчат, все их мысли сосредоточены на том, чтобы, подчиняясь шнуру, сгибаться как можно плавнее и не дать проволоке разорвать щеки.

Действия солдата направляет, легонько помахая рукой, полковник Джолл. И хотя в толпе я всего лишь один из множества, хотя глаза полковника, как всегда, спрятаны за темными щитками, я смотрю на него так пристально и в моем взгляде

с такой силой светится вопрос, что Джолли — я это чувствую — сразу же меня замечает.

Отчетливо слышу произнесенное за спиной слово *судья*. Мне чудится или люди действительно начинают от меня отодвигаться?

Полковник выходит вперед. Подойдя к пленным, он поочередно наклоняется над каждым из них, размазывает по голой спине горсть пыли и углем пишет какое-то слово. Читаю эти слова вверх ногами: *ВРАГ... ВРАГ... ВРАГ... ВРАГ*. Затем полковник отступает назад и складывает руки перед грудью. С расстояния не более двадцати шагов мы с ним молча смотрим друг на друга.

Вслед за этим начинается порка. Плетями солдатам служат толстые и тугие зеленые камышины; рассекая воздух, они с маху опускаются на пленных с тяжелым хлопанием, похожим на шлепки валька о мокрое белье, и оставляют на спинах и ягодицах вздувшиеся красные полосы. Пленные очень осторожно распрямляют согнутые ноги и, съехав на живот, распластываются в пыли, все, кроме того, который стонал, а сейчас при каждом ударе охает.

Черный уголь и рыжая пыль, смешиваясь с кровью и потом, расплываются. Смысл этой игры, как я догадываюсь, в том, чтобы бить пленных до тех пор, пока пыль и надпись на спине не смоются.

Наблюдаю за лицом маленькой девочки, которая стоит в переднем ряду толпы, ухватившись за материнский подол. Глаза у нее округлились, во рту она держит палец: замершая, напуганная, она, не отрываясь, с любопытством глядит, как избивают этих больших голых дядей. И на лицах всех, кто меня окружает, даже на лицах тех, кто улыбается, вижу точно такое же выражение: не злоба, не кровожадность, а любопытство, столь ненасытное, что

оно выпило из тела людей все соки, и жить продолжают лишь глаза, органы, призванные утолить этот новый по ощущению, неумный голод.

Солдаты, проводящие экзекуцию, постепенно устают. Один из них стоит, уперев руки в бедра, тяжело дышит, улыбается и подмигивает толпе. Полковник Джолл коротко что-то говорит: они прекращают работу, подходят к зрителям и предлагают свои плети.

Какая-то девушка хихикает, закрывает лицо руками, упирается, но приятели выталкивают ее вперед. «Давай, давай, не бойся!» — подбадривают они. Солдат отдает ей плеть и подводит девушку к пленным. В растерянности; смущенная, она медлит и одной рукой все еще прикрывает лицо. Со всех сторон на нее сыплются крики, шутки, непристойные советы. Она замахивается, ловко перетягивает одного из пленных по ягодицам, бросает плеть и под гром рукоплесканий отбегает подальше.

Люди вырывают плети друг у друга, солдаты с трудом наводят порядок в этой свалке, я уже не вижу лежащих на земле пленных, потому что вокруг толкаются и лезут вперед, чтобы занять очередь или просто встать поближе, откуда лучше видно. Стою, всеми забытый, и зажимаю ногами ведро.

Но вот порка закончена, солдаты утверждаются в своих правах, толпа отползает назад, пространство посреди площади снова расчищено, хотя теперь оно несколько сузилось.

Высоко над головой, так, чтобы все видели, полковник Джолл держит молоток, обычный четырехфунтовый молоток, каким вбивают кольца палатки. И снова наши взгляды скрециваются. Шум становится тише.

— Нет! — Это слово, первым вырвавшееся из горла, звучит пока хрипло и недостаточно громко. И снова: — Нет! — На этот раз ясно и звонко, словно в груди у меня ударил колокол. Солдат, загораживающий мне дорогу, споткнувшись, отшатывается в сторону. Я выбегаю вперед и поднимаю руки, чтобы толпа затихла: — Нет! Нет! Нет!

Поворачиваюсь к полковнику Джоллу и вижу, что он стоит всего в пяти шагах от меня, сложив руки перед грудью. Направляю на него указательный палец.

— Вы! — кричу я. Сейчас я скажу все. И пусть именно на него падет мой гнев. — Вы растлеваете наших людей!

Он и бровью не ведет, стоит и молчит.

— Вы! — Моя рука нацелена в него, как ружье. Мой голос заполняет площадь. Вокруг мертвая тишина; но, может быть, я так опьянен яростью, что ничего не слышу.

Сзади на меня что-то обрушивается. Растягиваюсь в пыли, ловлю ртом воздух, чувствую, как спину обжигает знакомая боль. Дубинка несется ко мне сверху. Выставляю перед собой руки, и чудовищный удар приходится по запястью.

Главное сейчас — встать, хотя из-за боли это очень трудно. Поднимаюсь на ноги и смотрю, кто же меня бьет. Оказывается, это тот коренастый мужчина с сержантскими нашивками, который помогал солдатам пороть пленных. Согнув ноги в коленях и раздув ноздри, он уже занес дубинку для следующего удара.

— Подождите! — шепчу я и вытягиваю вперед безжизненно повисшую руку. — Вы мне ее, кажется, сломали!

Он с силой опускает дубинку, и я принимаю удар плечом. Прячу покалеченную руку, пригибаю голо-

ву и, вслепую двигаясь вперед, пытаюсь вцепиться в него. Удары осыпают голову, плечи. Наплевать: мне бы только выиграть несколько секунд, и, раз уж я начал говорить, скажу все до конца. Хватаю сержанта за гимнастерку и прижимаю к себе. Он сопротивляется, но пустить в ход дубинку не может; я снова кричу, мой крик несется поверх его головы.

— Только не этим! — кричу я. Молоток спокойно лежит в сложенных на груди руках полковника Джолла. — Ведь вы бы даже зверя не ударили молотком. Даже зверя! — Захлестнутый волной ярости, хватаю сержанта за грудки и отшвыриваю прочь. Мне, смертному, на миг дарована сила богов. Так пусть же, пока этот миг длится, я употреблю ее во благо! — Смотрите! — Я показываю на четырех пленных, которые смиренно лежат на земле, касаясь губами бревна и по-обезьяньи прижав ладони к щекам: они знать не знают о молотке, ведать не ведают о том, что происходит у них за спиной; они испытывают облегчение оттого, что с их кожи выколотили оскорбительную надпись, и надеются, что экзекуция на этом кончилась. Воздеваю сломанную руку к небу: — Задумайтесь! — кричу я. — Мы с вами — великое чудо творенья! Но далеко не после всякого удара наше чудесно сотворенное тело способно себя залечить! Как же!.. — Слова ускользают от меня. — Посмотрите на них! — начинаю я заново. — Они ведь ЛЮДИ!

В толпе вытягивают шеи, чтобы разглядеть пленных и даже мух, которые уже садятся на залитые кровью спины.

Слышу приближающийся удар и поворачиваюсь ему навстречу. Дубинка с маху бьет меня наискось по лицу. «Я ослеп!» — пошатнувшись, думаю я, когда все передо мной заслоняет чернота. Глотаю кровь: что-то, словно распускающийся цветок,

щекочет лицо розовой теплотой, которая тут же переходит в огненно-красную адскую боль. Прижимаю к лицу руки, топчусь кругами на месте и думаю только о том, чтобы не закричать и не упасть.

Что я собирался сказать дальше, вспомнить не могу. Чудо творения — хочу зацепиться за эту мысль, но она ускользает, как облачко дыма. Почему-то вдруг приходит в голову, что мы, не задумываясь, давим насекомых, а они ведь, каждое по-своему, тоже чудо творенья — и жуки, и тараканы, и черви, и муравьи...

Отнимаю руки от глаз, и из черноты вновь возникает серый, плавающий в слезах мир. Моя радость так безгранична, что я перестаю чувствовать боль. Когда двое солдат тащат меня сквозь перешептывающуюся толпу назад в камеру, ловлю себя на том, что даже улыбаюсь.

Эта улыбка, эта вспышка радости оставляет после себя неясное беспокойство. Я понимаю, что они допустили ошибку, разделавшись со мной так коротко и просто. Потому что из меня плохой оратор. Что мог бы сказать я в своей речи, если бы они дали мне ее продолжить? Что лучше уж убить человека в бою, чем молотком раздробить ему ноги? Что когда девушке разрешают выпороть мужчину, это позор для всех? Что насилие, превращенное в зрелище, растлевает невинные души? Как, право, ничтожно и жалко прозвучали бы слова, которых мне не дали произнести, — такими словами вряд ли поднимешь народ на бунт. Да и, если на то пошло, разве я стремлюсь отстоять нечто более значительное, чем старый обычай обращаться с пленным врагом благородно, и разве борюсь против чего-то более значительного, чем новая наука жестокого обращения с людьми, позволяющая ставить их на колени

и убивать опозоренными и униженными в собственных глазах? Разве осмелился бы я, глядя в глаза толпе, потребовать справедливости по отношению к варварам, этим нелепым пленникам с выставленными вверх задами. *Справедливость*: стоит произнести это слово, и к чему мы придем? Гораздо проще закричать: «Нет!» Гораздо проще вытерпеть побои и превратиться в мученика. Гораздо проще положить голову на плаху, чем защищать варваров во имя справедливости: ибо куда заведут рассуждения о справедливости, как не в тупик, выход из которого лишь один — сложить оружие и открыть ворота города перед народом, чью землю мы подвергли поруганию? Старый судья, поборник всеобщего равенства перед законом, по-своему объявивший себя врагом Государства, оскорбленный и брошенный в тюрьму человек железных принципов, как видите, тоже не лишен колебаний и сомнений.

Нос, я знаю, у меня сломан, и скула, вероятно, тоже, в том месте, где дубинка рассекла щеку до кости. Левый глаз распух и затек.

Онемевшее лицо мало-помалу обретает чувствительность, и боль, волнами накатывающая каждые одну-две минуты, так нестерпима, что я больше не могу лежать на месте. Когда боль достигает наивысшей точки, бегаю по камере и, держась за лицо, вою, как собака; в благословенные мгновенья, когда боль ненадолго отпускает, глубоко дышу, чтобы взять себя в руки и не завопить самым постыдным образом. Слышно, как рев толпы на площади колыхнется то громче, то тише; впрочем, может быть, это просто шумит у меня в ушах.

В обычное время приносят ужин, но есть я не могу. Мне невоготу сидеть неподвижно, я вынужден расхаживать взад-вперед или раскачиваться

на четвереньках, чтобы только не кричать, не рвать на себе одежду, не раздирать когтями свою плоть — словом, не делать всего того, на что способны люди, когда им больше не под силу терпеть страдания. Я плачу и чувствую, как слезы жалят открытые раны. Я напеваю старую песенку про наездника и можжевельный куст, снова и снова повторяю знакомые слова, даже когда они уже утрачивают всякий смысл. Раз, два, три, четыре... считаю я. Если продержишься до утра, говорю я себе, это будет триумфальная победа.

Далеко за полночь, когда голова так кружится от усталости, что меня бросает из стороны в сторону, я наконец сдаюсь и рыдаю взахлеб, как ребенок: прислонившись к стене, сижу в углу и плачу, слезы катятся непрерывным потоком. Боль приливает и отливает, подчиняясь своим собственным законам, и я все плачу и плачу. Сон настигает меня внезапно, как удар молнии. Очнувшись в сером жидком свете утра, все так же скрюченный в углу, я изумлен и даже не сознаю, что ночь прошла. И хотя боль не оставляет меня, чувствую, что, если не двигаться, можно будет терпеть ее и дальше. Она и вправду перестала быть чем-то чужеродным. Может быть, она скоро станет для меня такой же неотъемлемой и естественной привычкой, как дыхание.

И потому осторожно вытягиваюсь вдоль стены, поудобнее пристраиваю больную руку под мышку и снова проваливаюсь в сон, в круговорот образов, среди которых я ищу лишь один, отметая прочь все другие, что несутся на меня, как подхваченные ветром листья. Я ищу ту девочку. Она стоит на коленях, спиной ко мне, перед замком, который вылепила то ли из снега, то ли из песка. На ней длин-

ное темно-синее платье. Подойдя ближе, вижу, что она что-то выскребает из самого нутра замка.

Она чувствует на себе мой взгляд и поворачивается. Оказывается, я ошибся, она вылепила не замок, а глиняную печку. Из отверстия в задней стене печки вьется дым. Девочка что-то мне протягивает, какой-то комок, и я неохотно пытаюсь разглядеть сквозь туман, что это такое. Трясу головой, но туман перед глазами не рассеивается.

На ней круглая, расшитая золотом шапочка. Волосы тяжелой косой перекинута через плечо: в косу вплетена золотая нить. «Почему ты так нарядно одета? — хочется спросить мне. — Я никогда еще не видел тебя такой красивой». Она улыбается: какие у нее прекрасные зубы, как ясно светятся ее ярко-черные глаза! И теперь я наконец вижу то, что она мне протягивает: это — хлеб, еще горячий, с твердой, дымящейся, треснувшей корочкой. Меня переполняет благодарность. «Ты же еще совсем ребенок, — хочу сказать я. — Как ты научилась так хорошо печь хлеб в пустыне?» Развожу руки, чтобы обнять ее, и, проснувшись, чувствую, как рану на щеке обжигают слезы. И хотя дремота тотчас снова утягивает меня в свою берлогу, я, как ни стараюсь, не могу вернуться в тот же сон и опять ощутить вкус хлеба, от которого рот наполнился слюной.

В моем кабинете за письменным столом сидит полковник Джолл. В комнате совершенно пусто — ни книг, ни папок, только голые стены да еще ваза со свежими цветами. Унтер-офицер, тот самый красавчик, — как его зовут, не знаю, — ставит на стол ларец из кедрового дерева и отходит в сторону.

Полковник что-то сверяет в лежащих перед ним бумагах, затем поднимает глаза:

— Среди вещей, обнаруженных в вашей квартире, был и этот ларец. Я хотел бы, чтобы вы ознакомились с его содержимым. Оно несколько необычно. В ларце лежит около трехсот табличек из белого тополя, каждая длиной приблизительно в восемь дюймов, шириной — в два дюйма. Большая часть табличек перевязана бечевкой. Дерево, из которого они выточены, очень сухое и ломкое. Некоторые таблички перевязаны недавно, на других бечевка уже истлела. Если бечевку ослабить, таблички распадаются на две половинки с плоскими внутренними поверхностями, на которых имеются надписи, сделанные непонятными значками. Думаю, вы согласитесь с этим описанием.

Молча смотрю в его черные стекла. Он продолжает:

— Есть основания полагать, что это послания, которыми вы обменивались с другими лицами в течение пока не установленного нами периода времени. Ваш долг объяснить смысл этих посланий и назвать тех, с кем вы ими обменивались.

Он вынимает из ларца одну табличку и щелчком посылает ее по полированному столу ко мне.

Гляжу на иероглифы, выведенные неизвестным мне человеком, который давным-давно мертв. Я даже не знаю, как их читать: справа налево или слева направо. За то время, что я долгими вечерами изучал эту коллекцию, мне удалось выделить более четырехсот, а точнее, почти четыреста пятьдесят значков, не повторяющих друг друга. Но каков их смысл, понятия не имею. Соотносится ли каждый из них с каким-то определенным предметом, можно ли считать, что, например, круг обозначает солнце, тре-

угольник — женщину, волнистая линия — озеро; или же круг обозначает именно круг, треугольник — треугольник, а волнистая линия — волнистую линию. А может быть, они показывают различное положение языка, губ, гортани, легких, необходимое для произнесения многочисленных, не поддающихся воображению звуков вымершего варварского языка? Или же эти четыреста пятьдесят иероглифов не что иное, как каллиграфический орнамент, скрывающий под собой ограниченный набор из двадцати или тридцати основных значков, примитивное начертание которых я не могу уловить из-за своего скудоумия?

— Он шлет привет дочери, — говорю я. И с удивлением слышу собственный голос: он звучит хрипло и гнусаво. Веду пальцем по иероглифам справа налево. — Которую, как он пишет, он давно не видел. Он надеется, что она счастлива и живет в достатке. Он выражает надежду, что отары принесли хороший приплод. У него приготовлен для нее подарок, пишет он, но она получит его только при их следующей встрече. Он заверяет ее в своей любви. Подпись прочесть трудно. Возможно, он подписался просто «твой отец», а может быть, написано и что-то другое, например его имя.

Сую руку в ларец и достаю другую табличку. Унтер-офицер уселся за спиной Джолла, положил на колени открытый блокнотик и пристально смотрит на меня, держа карандаш наготове.

— А на этой табличке написано вот что, — говорю я. — «Как ни грустно, должна сообщить тебе плохие новости. К нам пришли солдаты и увели твоего брата. Каждый день хожу в крепость просить, чтобы его отпустили. Сиж у стены в пыли, с непокрытой головой. Вчера первый раз прислали какого-то

человека поговорить со мной. Он сказал, что твоего брата здесь больше нет. Сказал, что его отсюда выслали. «Куда?» — спросила я, но он не ответил. Матери ты ни о чем не рассказывай, лучше вместе со мной молись о его спасении».

Теперь поглядим, что расскажет следующая табличка. — Карандаш по-прежнему нацелен на бумагу, но унтер ничего не пишет и сидит не шелохнувшись. — «Вчера мы ходили за твоим братом. Нас провели в комнату, где он лежал на столе, зашитый в простыню». — Джолл медленно откидывается на спинку стула. Унтер закрывает блокнот и приподнимается, но Джолл жестом удерживает его на месте. — «Они хотели, чтобы я сразу же его забрала. Но я потребовала, чтобы сначала мне разрешили на него взглянуть. „А вдруг вы отдадите мне чужого, — сказала я. — У вас здесь очень много мертвецов, ведь погибло так много смелых парней“. Я распоролла простыню и увидела, что это и вправду он. Оба глаза у него были зашиты нитками. „Зачем вы это сделали?“ — спросила я. „У нас такой обычай“, — сказал он. Я распоролла простыню до конца и увидела, что все тело у него в шрамах, а ноги распухли и сломаны. „Что с ним случилось?“ — спросила я. „Не знаю, — сказал тот человек. — У нас ничего про это не записано; если у тебя есть вопросы, иди к сержанту, но он очень занят“. Нам пришлось похоронить твоего брата прямо там же, возле их крепости, потому что он уже смердел. Пожалуйста, расскажи обо всем матери и постарайся ее утешить».

Так, а теперь посмотрим, что на этой табличке. Видите, здесь всего один иероглиф. У варваров этот значок соответствует слову «война». Второе его значение — «возмездие», а если перевернуть вверх ногами, вот так, он может означать «справедливость».

Поэтому правильно определить его смысл невозможно. Варвары вообще народ хитроумный... То же относится и к остальным табличкам. — Я опускаю здоровую руку в ларец и перемешиваю гладкие деревянные плашки. — Вместе они образуют некую аллегорическую мозаику. Читать их можно в любом направлении. Более того, каждую отдельную табличку можно многократно читать по-разному. Выложенные в ряд, они могут читаться как хозяйственная книга, но в то же время и как план войны, а если повернуть их набок, то по ним можно прочесть историю последних лет Империи — я имею в виду прежнюю Империю. Ученые расходятся во мнениях, как правильно толковать эти писания древних варваров. Подобные аллегорические мозаики во множестве закопаны в разных местах пустыни. Этот набор я нашел меньше чем в трех милях отсюда, в развалинах общественного здания. Вероятно, такие таблички следует искать и на кладбищах, хотя обнаружить захоронения варваров не всегда просто. Самый верный способ копать наугад; вполне возможно, что прямо у себя под ногами вы наткнетесь на клочки ткани, черепки, останки мертвецов. Не следует забывать и про воздух: он полон стонов и криков. Вот они уж никуда не исчезают; если прислушаться, только очень внимательно и с сочувствием, вы непременно услышите, как они вечным эхом витают над землей. Лучше всего они слышны ночью; бывает, что вы никак не можете уснуть — это оттого, что до вашего слуха донеслись голоса мертвых; их крики, как и их письма, дают простор для толкований... Я закончил переводить. Благодарю вас.

Произнося эту речь, я ни на миг не спускал глаз с Джолла. Он сидел не шевелясь и лишь один раз

сдвинулся с места, удержав за рукав своего помощника, который при упоминании об Империи поднялся со стула, чтобы дать мне пощечину.

Пусть только подойдет ближе — ударю что есть силы. Прежде чем сойти в могилу, я оставлю на них свой след.

— Вы даже не представляете себе, до чего вы утомили нас своим поведением, — говорит полковник. — Из всех приграничных чиновников только вы, вы единственный, отказались с нами сотрудничать. Буду откровенен: меня совершенно не интересуют эти ваши деревяшки. — Небрежно взмахнув рукой, он показывает на раскиданные по столу таблички. — Скорее всего, это обыкновенные игральные фишки. В некоторых здешних племенах, как мне известно, распространены игры с подобными дощечками... Я прошу вас все тщательно взвесить: на что вы, собственно, рассчитываете? Остаться в той же должности никто вам не разрешит. Вы опозорили себя с ног до головы. И даже если вас не привлекут к судебной ответственности...

— А я как раз хочу, чтобы меня привлекли! — кричу я. — Сколько мне еще ждать? Когда будет суд? Когда мне дадут возможность защитить себя? — Я разъярен. Косноязычия, поразившего меня перед толпой на площади, как не бывало. Если бы я мог сейчас публично, на открытом судебном процессе выступить против этих людей, я нашел бы слова, чтобы пристыдить их. Нужны только здоровье и силы: чувствую, как гневные слова жарко теснятся в моей груди. Но пока человек здоров и у него есть силы обвинить их, они ни за что не дадут выступить ему на суде. Они запрут меня в темницу и будут держать там до тех пор, пока я не превращусь в бормочущего чепуху идиота, в собственную тень; а вот то-

гда уж потащат на суд и при закрытых дверях за пять минут разделяются с формальностями, которые так их раздражают.

— Как вы знаете, — говорит полковник, — до отмены чрезвычайного положения гражданские лица отстраняются от судопроизводства, и оно переходит в компетенцию Третьего отдела. — Он вздыхает. — Вы, судья, видимо, полагаете, что мы не решаемся провести суд, потому что нас смущает ваш авторитет в городе. Но, как мне кажется, вы не отдаете себе отчета, насколько вы себя скомпрометировали нерадивым отношением к своим обязанностям, пренебрежением к друзьям и общением с недостойными людьми. Я говорил со многими, и все, как один, возмущены вашим поведением.

— Моя личная жизнь никого не касается!

— Тем не менее могу сообщить, что наше решение освободить вас от занимаемой должности нашло поддержку в самых широких кругах. Сам я ничего против вас не имею. Несколько дней назад, когда я вновь сюда приехал, я считал, что мне достаточно будет получить от вас ясный ответ на всего один простой вопрос, и затем вы сможете вернуться к вашим наложницам свободным человеком.

Внезапно я догадываюсь, что это оскорбление — подвох, что, возможно, в силу каких-то других причин эти двое будут довольны, если я сорвусь и потеряю над собой власть. Пыхая гневом, чувствуя, как все во мне напрягается, сдерживаю себя и молчу.

— Однако, судя по всему, теперь у вас появилась новая цель, — продолжает он. — Вы, кажется, решили прославиться в роли борца за справедливость. В роли героя, который ради своих принципов готов пожертвовать свободой. Но позвольте спросить: вы действительно убеждены, что ваши

сограждане видят в вас именно то, что вам хочется? Можете мне поверить: в глазах города вы не герой, а просто шут, местный сумасшедший. Ходите грязный, от вас так воняет, что хоть нос зажимай. Вы похожи на старого нищего, на мусорщика. Городу вы больше не нужны, и он не примет вас обратно ни в каком качестве. Здесь для вас все кончено... Вы, полагаю, хотите войти в историю как мученик. Но кто впишет ваше имя в учебники истории? Нынешние пограничные беспорядки — мелкий незначительный инцидент. Через некоторое время беспорядки кончатся и граница вновь погрузится в спячку лет на двадцать... История задворков мира никого не интересует.

— Пока вы сюда не приехали, никаких беспорядков на границе не было, — говорю я.

— Чепуха. Вы просто не располагаете сведениями. Вы живете в прошлом. Вам кажется, что мы воюем с разрозненными горстками кочевников. Но на самом деле нам противостоят хорошо организованные силы врага. Если бы вы ходили в поход с экспедиционными войсками, вы бы убедились воочию.

— И кто же этот враг, которого я должен бояться? Уж не те ли жалкие пленные, которых вы сюда привели? Неужели вы говорите про них? Враг, полковник, — это вы сами! — Я больше не в силах сдерживаться. Грохаю кулаком по столу. — Да, враг — вы! Это вы затеяли войну, это вы в изобилии поставляете варварам мучеников, и началось это не сейчас, а еще год назад, когда вы учинили здесь свою первую зверскую расправу! История подтвердит мою правоту!

— Чепуха! Это даже не войдет в историю, инцидент слишком малозначителен. — На вид он все так же невозмутим, но я уверен, что его проняло.

— Вы грязный палач! Вам место на виселице!

— Внемлите судье, внемлите борцу за справедливость, — бормочет он себе под нос.

Мы пристально смотрим в глаза друг другу.

— Ну что ж. — Он подравливает на столе бумаги. — Сейчас вы напишете мне отчет обо всем, что произошло между вами и варварами во время вашей недавней, никем не санкционированной поездки.

— Я отказываюсь.

— Прекрасно. Наш разговор закончен. — Он поворачивается к своему помощнику. — Передаю его вам. — Встает и выходит из комнаты. Я молча гляжу на унтера.

Щека у меня распухла: ни разу не промытая, не забинтованная рана воспалилась. Поверх нее жирной гусеницей запеклась корка. Левый глаз заплыл, от него осталась только узкая щель, нос превратился в бесформенный пульсирующий комок. Дышать приходится ртом.

Я лежу, вдыхая вонь засохшей блевотины, и меня преследуют мысли о воде. Уже два дня мне не дают пить.

В моих страданиях нет ничего возвышающего. И боль — лишь малая толика того, что я именую страданиями. Меня заставляют полностью подчиниться элементарным потребностям моего тела, жалящего пить, отправлять нужду и найти позу, в которой боль мучает его как можно меньше. Когда унтер-офицер Мендель и его подручный в первый раз приволокли меня сюда, зажгли лампу и заперли дверь, я спрашивал себя, какую степень боли способен вынести тучный, изнеженный старик во имя своих чудаковатых представлений о курсе, которым

надлежало бы следовать Империи. Но моих палачей не интересовали степени боли. Их задача была наглядно объяснить мне, что значит ощущать себя просто телом, телом, которое живет только самим собой, телом, которое способно иметь собственные понятия о справедливости лишь до тех пор, пока оно цело и здорово, и которое очень быстро забывает о всякой философии, когда ему прижимают голову к полу, запихивают в горло трубку и кувшин за кувшином вливают соленую воду, пока кашель, спазмы и конвульсии не извергают ее обратно. Они пришли в мою камеру совсем не для того, чтобы выжать из меня все, что я говорил варварам, и все, что варвары говорили мне. Поэтому я не мог бросить им в лицо заготовленные звонкие фразы. Они пришли, чтобы показать мне, что на самом деле стоит за словом Человек, и всего за час сумели растолковать очень многое.

И вопрос не в том, у кого из нас больше терпения. Поначалу я внушал себе: «Они сидят в соседней комнате и обсуждают меня. Они говорят: „Интересно, долго еще ждать, когда он сломается? Через часик зайдем к нему и проверим“».

Все совсем не так. У них нет никакой хитро продуманной системы пыток и унижений. Два дня я сижу без воды и пищи. На третий день меня кормят. «Извини, — говорит стражник, тот, что обычно приносит мне еду. — Мы забыли». И забыли они вовсе не по злобе. У каждого из моих мучителей есть своя собственная жизнь. Я для них отнюдь не центр мироздания. Подручный Менделя в обычные дни, вероятно, пересчитывает на складе мешки с провиантом или, кляня жару, патрулирует оросительные каналы. Да и сам Мендель — я в этом уверен — тратит

на меня гораздо меньше времени, чем на чистку своих нашивок и пряжек. Иногда, под настроение, он заходит ко мне и дает очередной урок человековедения. Долго ли еще я смогу выносить непредсказуемость их нападений? И что будет, если я сломаюсь, начну рыдать и валяться у них в ногах, а нападения все равно будут продолжаться?

Меня выводят во двор. Я стою перед ними, прикрывая наготу и осторожно держа на весу больную руку, — старый усталый медведь, которого так долго травили, что он перестал огрызаться.

— А ну-ка бегом, — говорит Мендель.

Под палящим солнцем обегаю двор по кругу. Едва начинаю бежать медленнее, он шлепает меня тростью по ягодицам, и я прибавляю ходу. Солдаты отрываются от послеобеденного отдыха и наблюдают за мной из тенистых уголков двора, судомойки стоят на крыльце кухни, дети глазекот сквозь решетку ворот.

— Больше не могу! — задыхаясь, шепчу я. — Мне плохо! — Останавливаюсь, роняю голову на грудь и хватаюсь за сердце. Все терпеливо ждут, пока я отдышусь. Затем трость тыкается мне в зад, и я снова плетусь трусцой, так медленно, что меня обогнал бы любой идущий обычным шагом.

А еще я их потешаю. Они натягивают веревку на уровне колен, и я прыгаю через нее туда и обратно. Они подзывают внука поварихи и протягивают ему конец веревки.

— Держи ровно, — велят они, — а то он зацепится и упадет.

Ребенок двумя руками крепко держит веревку и сосредоточенно ждет, когда я прыгну. Но я упрямлюсь.

Трость ощупью прокладывает себе дорогу и вонзается между ягодицами.

— Прыгай, — вполголоса приказывает Мендель.

Я разбегаюсь, подпрыгиваю, врезаюсь в веревку и застреваю на месте. От меня пахнет дерьмом. Мыться мне не разрешают. Мухи летают за мной по пяткам, вьются над сочной раной на щеке и, едва я на миг останавливаюсь, садятся мне на лицо. То и дело отмахиваюсь от них, и рука при этом движется у меня совершенно машинально, как хвост у коровы.

— Скажи ему, чтобы в другой раз больше старался, — говорит Мендель ребенку. Мальчик улыбается и отводит глаза. Сижу в пыли и жду, что Мендель придумает дальше. — Умеешь прыгать через скакалку? — спрашивает он мальчика. — Дай ему веревку, пусть он тебе покажет.

Делаю, что приказано.

Когда они в первый раз вытащили меня во двор, я испытывал нестерпимый стыд оттого, что стою перед этими бездельниками в чем мать родила, да еще развлекаю их своим дрыганьем. Но теперь я забыл о стыде. Теперь я думаю только об одном: о той неизбежной страшной минуте, когда у меня подкосятся ноги или когда клешнями сожмет сердце, и я буду вынужден остановиться; но когда это случается, всякий раз с удивлением обнаруживаю, что, дав мне немного передохнуть и применив небольшую дозу боли, они способны вновь вывести меня из оцепенения и заставить бегать, прыгать, скакать или ползать еще некоторое время. Наступит ли предел, когда я лягу на землю и скажу: «Убейте меня, я больше так не могу — уж лучше умереть»? Иногда мне кажется, что предел этот совсем близко, но потом выясняется, что я снова ошибся.

Я даже не могу утешить себя мыслью, что все это возвеличивает мой дух. Среди ночи часто просыпаюсь со стоном, потому что во сне заново переживаю их мелочные издевательства. Вряд ли мне дадут умереть по-человечески, скорее всего я сдохну, как собака в канаве.

А потом однажды дверь распахивается, и, выйдя во двор, я вижу целый взвод, построенный по стойке «смирно».

— Прощу. — Мендель протягивает мне женскую ночную рубашку. — Наденьте.

— Зачем?

— Не хотите, можете идти голым, не возражаю.

Я натягиваю ситцевую рубашку через голову. Она не доходит даже до колен. Краем глаза вижу, как две молодые кухарки, давясь от смеха, ныряют обратно в кухню.

Руки мне заложили за спину и связали.

— Вот и пришло время, судья, — шепчет Мендель мне в ухо. — Постарайтесь вести себя как мужчина. — Мне не показалось, от него действительно несет перегаром.

Под конвоем меня выводят со двора. Возле шелковиц, там, где земля красна от сока осыпавшихся ягод, собралась кучка зрителей. Дети залезли на деревья и карабкаются по веткам. При моем появлении наступает тишина.

Солдат забрасывает на шелковицу новую белую пеньковую веревку; один из сидящих на дереве мальчишек ловит ее, пропускает кольцом через ветку и скидывает вниз.

Понимаю, что это просто очередная потеха, новый способ убить время и развлечь людей, которым

надоели прежние жестокие забавы. Тем не менее внутри у меня все дрожит.

— Где полковник? — шепчу я. Никто и бровью не ведет.

— Вы хотите что-нибудь сказать? — спрашивает Мендель. — Можете сказать все, что желаете. Мы предоставляем вам такое право.

Пляжу в его ясные голубые глаза, такие прозрачные, словно в них вставлены хрустальные пластинки. Он тоже глядит на меня. Понятия не имею, что он сейчас видит. Думая о нем, твержу про себя: мучитель... палач... но оба эти слова звучат как-то чужеродно; чем дольше я их повторяю, тем чужероднее они становятся, пока наконец не превращаются в камушки, давящие мне на язык. Возможно, этот человек в самом деле палач, как и его постоянный подручный, как и их полковник; возможно, в одном из учреждений столицы в их платежных карточках, в графе «должность», так и написано, хотя, думаю, там они значатся офицерами безопасности. Но когда я гляжу на него, то вижу лишь ясные голубые глаза, грубоватое, хотя и довольно красивое лицо, хорошие зубы, которые кажутся слишком длинными из-за чуть осевших десен. Он занимается моей душой: каждый день он препарирует мою плоть, извлекает оттуда душу и выносит ее на свет; за годы своей работы он наверняка перевидал множество душ, но их врачевание, по-моему, не оставило на нем существенного отпечатка, как врачевание сердец не оставляет заметного отпечатка на лекаре.

— Я упорно пытаюсь понять, как вы ко мне относитесь, — говорю я. Несмотря на все усилия, я лишь еле слышно бормочу, голос то и дело срывается, мне страшно, с меня капает пот. — Возможность услышать от вас несколько слов для меня во много

раз ценнее, чем право обратиться к этим людям, ибо мне в любом случае нечего им сказать. Я бы очень хотел понять, почему вы посвятили себя этой работе. И узнать, как вы относитесь ко мне, человеку, которого вы столько мучили, а теперь, полагаю, вознамерились убить.

Витиеватые фразы, срывающиеся с моих губ, повергают меня в изумление. Неужели я настолько потерял разум, что сознательно лезу на рожон?

— Видите эту руку? — Он подносит кулак почти вплотную к моему лицу. — Когда я был моложе, — он разжимает кулак, — я вот этим пальцем, — он выставляет указательный палец вперед, — мог насквозь проткнуть тыкву. — Он прикладывает палец мне ко лбу и надавливает. Отступаю на шаг назад.

У них готов для меня даже колпак — мешок изпод соли, который они надевают мне на голову и шнурком завязывают на шее. Сквозь прореху в рядне вижу, как они приносят лестницу и прислоняют ее к дереву. Меня подводят к лестнице, я ставлю ногу на нижнюю перекладину, узел петли лежит у меня на плече.

— А теперь поднимайтесь, — говорит Мендель.

Поворачиваю голову и смутно различаю сзади двух солдат, которые держат конец веревки.

— Со связанными руками мне не взобраться, — говорю я. Сердце гулко стучит.

— Поднимайтесь, — командует он и поддерживает меня за локоть. Веревка натягивается. — Подтяните короче, — приказывает он.

Взбираюсь по лестнице, он поднимается следом, направляя мои движения. Считаю перекладины — вот уже десятая. Листья обступают меня со всех сторон. Останавливаюсь. Мендель еще крепче ухватывает меня за локоть.

— Что, думаете, мы с вами играем? — Он говорит это сквозь зубы, с какой-то непонятной яростью. — Думаете, я бросаю слова на ветер?

Под мешком я обливаюсь потом, мне щиплет глаза.

— Нет, — говорю я. — Я вовсе не думаю, что вы играете. — Но я знаю, что, пока они натягивают веревку, это лишь забава. Стоит веревке ослабнуть, я свалюсь — и умру.

— Ну и что вы мне скажете?

— Мои переговоры с варварами не имели никакого отношения к военным делам. Я ездил по личным причинам. Я поехал туда, чтобы вернуть девушку ее родным. Никакой другой цели у меня не было.

— Это все, что вы хотите сказать?

— Еще я хочу сказать, что ни один из людей не заслуживает смерти. — Одетый в нелепую женскую рубашку, с мешком на голове, стою на верхней перекладине, и от страха к горлу подступает тошнота. — Я хочу жить. Этого хочет любой человек. Жить, жить и жить. Несмотря ни на что.

— Хотеть — мало. — Он отпускает мой локоть. Чуть не падаю, но веревка удерживает меня. — Теперь вам понятно? — Он слезает вниз, оставив меня на лестнице одного.

Глаза щиплет уже не от пота, а от слез.

Рядом со мной в листве что-то шуршит.

— Дяденька, а вы чего-нибудь видите? — спрашивает детский голос.

— Нет.

— Эй вы, мартышки, а ну, слезайте! — кричит кто-то снизу.

По колебаниям веревки догадываюсь, что дети перебираются с ветки на ветку.

Время идет, я осторожно балансирую на лестнице, чувствуя в выемке подошвы обнадеживающую твердость деревянной перекладки, и стараюсь не шататься, чтобы веревка оставалась натянутой как можно туже.

Как скоро толпе наскучит глазеть на человека, неподвижно стоящего на лестнице? Сам же я готов стоять так бесконечно, я вынесу и бурю, и град, и наводнение, я буду стоять, пока не сгнию, пока не превращусь в скелет, — только бы жить!

Но вот веревка натягивается сильнее, я даже слышу, как она шуршит о кору, и, чтобы петля не удавила меня, приподнимаюсь на цыпочки и вытягиваю шею.

Так, значит, мы вовсе не состязаемся в терпении: если толпа недовольна, правила игры мгновенно меняются. Но что толку винить толпу? Козел отпущения выбран, праздник объявлен открытым, законы не действуют — какой же дурак не прибежит на общее веселье? Да и, собственно говоря, что, кроме несоблюдения внешних приличий, так уж возмущает меня в этих введенных новой властью спектаклях унижений, страданий и смерти? И что, интересно, запомнится людям из моего собственного правления, кроме разве что переноса боен с рыночной площади на окраину, предпринятого двадцать лет назад из соображений благопристойности? Я хочу что-то выкрикнуть, обозначить каким-нибудь словом свой слепой страх или просто завопить, но веревка натянулась так туго, что я задыхаюсь и теряю дар речи. Крозь стучит в уши, как барабан. Отрываюсь от перекладки. Плавно раскачиваюсь в воздухе, ударяясь о лестницу, и дрыгаю ногами. Барабанная дробь в ушах звучит все медленнее и отчетливее, постепенно вытесняя остальные звуки.

Стою перед стариком вождем, щурю глаза от ветра и жду, когда старик заговорит. Дуло древнего ружья по-прежнему торчит между ушей его лошади, но нацелено оно не в меня. Я отчетливо сознаю, как огромно раскинувшееся над нами небо, я ощущаю близость пустыни.

Слежу за его губами. Он вот-вот заговорит: я должен слушать очень внимательно, должен уловить каждый произнесенный им слог, чтобы позже, вспоминая и перебирая в уме сказанное, найти ответ на вопрос, который сейчас вдруг птицей упорхнул из моей памяти.

Вижу каждый волос в гриве его лошади, каждую морщинку на его старом лице, каждый бугор и каждую впадину в склоне скалы.

Девушка — ее черные волосы, как принято у варваров, заплетены в косу, перекинутую через плечо, — осаживает лошадь перед стариком. Почтительно склонив голову, она тоже ждет, когда он заговорит.

Вздыхаю. «Какая жалость, — думаю я. — Теперь уже поздно».

Меня раскачивает из стороны в сторону. Ветер задирает подол и щекочет нагое тело. Я обмяк и плыву в воздухе. Одетый в женское белье.

Касаюсь земли — должно быть, ногами, хотя они занемели и ничего не чувствуют. Осторожно вытягиваюсь во весь рост, во всю длину своего тела, и парю, невесомый, как осенний лист. То непонятное, что обручем сдавило голову, ослабляет хватку. Внутри у меня что-то надсадно скрипит. Я дышу. Мне хорошо.

Затем колпак снимают, солнце бьет в глаза, меня поднимают на ноги, все передо мной плывет, я проваливаюсь в пустоту.

Слово «летать» шепотом пробивает себе дорогу к моему сознанию. Да, верно, я ведь сейчас летал.

Пляжу в голубые глаза Менделя. Он шевелит губами, но я не разбираю ни слова. Трясу головой и понимаю, что мне не остановиться, что я так и буду ею трясти неизвестно сколько.

— Я сказал: сейчас мы покажем вам новый способ летать, — говорит он.

— Он не слышит, — замечает чей-то голос.

— Слышит прекрасно, — говорит Мендель. Снимает у меня с шеи петлю и привязывает ее к веревке, которая стягивает мне руки за спиной. — Поднимите его!

Если держать руки неподвижно, если изловчиться, как акробат, закинуть ногу наверх и зацепиться за веревку, я повисну вниз головой и мне будет не больно — не успеваю об этом подумать, как меня уже начинают подтягивать. Но я слаб, как младенец, руки за спиной тотчас дергаются вверх, и, едва ноги отрываются от земли, страшная боль раздирает плечи, словно мышцы лопаются целыми пластами. Из горла с сухим шорохом осыпавшегося гравия вылетает первый горестный вопль. Двое мальчишек спрыгивают с дерева, хватаются за руки и, не оглядываясь, бегут прочь. Кричу снова и снова, мне не погасить этот крик, он исходит из тела, которое сознает, что его покалечили, возможно, навсегда, и громким ревом оповещает мир о своем ужасе. Даже если мне скажут, что все дети города слышат сейчас мои вопли, я не сумею заставить себя замолчать: так давайте же помолимся, чтобы дети не подражали играм взрослых, иначе завтра с деревьев будут свисать гроздь маленьких тел. Кто-то толкает меня, и, согнутый пополам, похожий на огромную старую бабочку, которой булавкой скололи крылья,

я качаюсь в дюйме от земли, оглашая воздух воплями и ревом.

— Это он так зовет своих друзей-варваров, — заявляет кто-то. — Это у них язык такой.

В толпе смеются.

V

Варвары разбойничают по ночам. До наступления темноты нужно успеть пригнать всех коз, закрыть ворота на решетку и выставить караульных, которые каждый час выкрикивают время. Говорят, варвары всю ночь бродят вокруг, замышляя убийства и насилия. Детям часто снится, как на окнах раскрываются ставни и свирепые лица заглядывают в комнату. «Варвары пришли!» — визжат дети, и их никак не успокоить. С веревок исчезает белье, из накрепко запертых кладовок пропадает еда. Варвары прокопали под стенами тоннель, говорят горожане; они приходят и уходят, когда им вздумается, забирают, что хотят; от них не скрыться никому. Крестьяне по-прежнему возделывают землю, но выходить в поле по одному не решаются. Работают они без души: варвары затаились и поджидают, говорят они, а как только урожай поспеет, снова затопят поля.

Почему армия не может разделаться с варварами? — сетуют люди. Жизнь на границе нынче совсем тяжелая. Многие говорят, что надо бы вернуться в края отцов, но тотчас вспоминают, что из-за варваров на дорогах стало опасно. Чай и сахар можно теперь купить только из-под прилавка, потому что лавочники утаивают запасы. Те, у кого еды вдоволь, садясь за стол, закрывают двери и окна, чтобы не вызывать зависть соседей.

Три недели назад изнасиловали девочку. Подружки, заигравшись на оросительных каналах, хватились ее, только когда она уже вернулась, вся в крови, онемевшая от ужаса. Много дней подряд она потом молча лежала дома, уставившись в потолок. Как родители ни упрашивали, она им ничего не рассказывала. Когда в доме гасили свет, начинала плакать. Подруги утверждают, что с ней это сделал варвар. Они видели, как он убежал в камыши. А то, что он варвар, они поняли потому, что он был очень уродливый. Теперь детям запрещено играть за городскими воротами, а крестьяне, отправляясь в поле, прихватывают с собой дубинки и копья.

Чем выше вздымается волна ненависти к варварам, тем глубже я забиваюсь в свою нору, в надежде, что обо мне не вспомнят.

Прошло уже много времени с тех пор, как, развернув знамена, трубя в фанфары, сияя доспехами и гарцуя на своих скакунах, экспедиционные войска отважно двинулись во второй поход, дабы изгнать варваров из долины и преподать им урок, который навсегда останется в памяти их детей и внуков. В город не поступает ни депеш, ни донесений. Радостное возбуждение прежних дней, когда на площади постоянно проводились парады, когда состязались наездники и стрелки, давно улеглось. На смену ему пришли заполонившие город тревожные слухи. Одни говорят, что беспорядки охватили всю границу на протяжении тысячи миль, что северные племена варваров объединились с западными, что армия Империи рассредоточена вдоль границы слишком узкой полосой и вскоре будет вынуждена отказаться от обороны отдаленных приграничных крепостей, вроде нашей, чтобы бросить основные силы на защиту центральных провинций.

Другие заявляют, что мы не получаем сообщений с фронта только потому, что наши воины прорвались в глубокий тыл противника и так заняты нанесением смертоносных ударов по врагу, что слать депеши им некогда. Очень скоро, говорят такие, как раз, когда мы меньше всего будем этого ждать, наши ребята вернутся домой, усталые, но с победой, и мы еще проживем в мирное время.

В оставленном охранять город малочисленном гарнизоне царит пьянство, какого я на своем веку не помню; с горожанами военные ведут себя все более вызывающе. Уже были случаи, когда солдаты заходили в лавки, брали, что им нужно, и уходили, не заплатив. И какой смысл хозяину кричать «караул!», если грабят его сами стражи порядка, солдаты Гражданской охраны. Лавочники ходят жаловаться к Менделю: на период чрезвычайного положения он, в отсутствие ушедшего в поход Джолла, поставлен управлять городом. Мендель кормит их обещаниями. У него лишь одна забота — сохранить свою популярность среди солдат. Но хотя на крепостном валу регулярно устраиваются проверки часовых, хотя дозоры каждую неделю прочесывают берег озера (в поисках притаившихся варваров, ни одного из которых, впрочем, до сих пор не поймали), дисциплина в гарнизоне ослабла.

Меня же, старого шута, который растерял последние крохи авторитета в тот день, когда болтался на дереве в женском нижнем белье и вопил, взывая о помощи; меня, непотребное существо, которое целую неделю, пока не действовали руки, языком, как собака, слизывало пищу с каменного пола, — меня тем временем перестали держать под замком. Я сплю в углу гарнизонного двора; я таскаюсь по городу в грязной женской рубашке; когда мне грозят

кулаком, я сжимаюсь в комок. Я живу, как голодный пес, воющий у черного хода; весь мой облик убедительно подтверждает, что любой поклонник варваров по натуре животное, — наверное, только поэтому меня и не убили. Моя жизнь постоянно в опасности, я это понимаю. То и дело чувствую на себе тяжелые, неприязненные взгляды; не поднимаю глаз; знаю, что кое-кто, не устояв перед искушением очистить двор, может всадить мне в голову пулю из окна второго этажа.

В город стекаются беженцы — рыбаки из крошечных поселений, разбросанных вдоль реки и по северному побережью озера; говорят они на языке, который никому не понятен, весь свой скерб несут на себе, следом за ними плетутся их тощие собаки и рахитичные дети. Когда появились самые первые из них, вокруг собралась толпа. «Вас выгнали варвары?» — спрашивали горожане, для наглядности корча свирепые рожи и натягивая воображаемые луки. Про имперские войска и про устроенные ими пожары не спрашивал никто.

Сперва этих дикарей жалели, носили им еду и старую одежду, но вскоре они начали лепить свои соломенные хижины к стене городской площади, прямо под ореховыми деревьями, их дети, обнаглев, стали лазать по чужим кухням и воровать, а однажды ночью свора их собак, забравшись в овчарню, перегрызла добрый десяток овец. Отношение к беженцам тут же изменилось. Гарнизон взялся за дело: в собак стреляли, едва те высовывали морду на улицу, а в одно прекрасное утро, пока рыбаки были еще на озере, солдаты разломали их лачуги. Несколько дней рыбаки прятались в камышах. Потом одна за другой соломенные хижины стали вырастать вновь, только теперь уже за чертой города,

под северной стеной. Хижины разрешено было оставить, но впускать беженцев в городские ворота стражникам настрого запретили. Постепенно этот запрет ослабел, и сейчас по утрам «речные люди» бродят от дома к дому, торгуя связками рыбы. Иметь дело с деньгами они не привыкли, и все их бессовестно обманывают, а за глоток рома они готовы отдать что угодно.

Все они — худые, с выпирающей куриной грудью. Женщины у них, похоже, вечно ходят беременные; дети — недомерки; лица нескольких девушек отмечены хрупкой волоокой красотой; что до остальных, то я вижу в них только невежество, хитрость и неопрятность. Ну а что же они видят во мне, если вообще меня замечают? Зверя, глядящего сквозь прутья решетки; грязную изнанку прекрасного оазиса, ставшего их ненадежным убежищем от опасности?

Однажды, когда я дремлю во дворе, на лицо мне падает косая тень, чья-то нога пихает меня в бок, и, подняв голову, я вижу над собой голубые глаза Менделя.

— Хорошо ли мы вас кормим? — спрашивает он. — Уже начали снова толстеть?

Приподнявшись, сажусь у его ног и молча киваю.

— Я спрашиваю потому, что мы не можем кормить вас бесконечно.

Мы пристально глядим друг на друга, и пауза затягивается.

— Когда вы думаете начать работать, чтобы окупить расходы на ваше содержание?

— Я — заключенный, ожидающий суда. Лица, ожидающие суда, не обязаны работать. Таков закон. Заключенных содержат на средства общества.

— Какой же вы заключенный? Вы на свободе и можете поступать, как вам вздумается. — Он ждет, что я клону на эту грубо подброшенную приманку. Молчу. — Почему вы решили, что вы заключенный, если вас даже нет в наших списках? Вы думаете, мы не ведем списки? Но вас в них нет. Так что вы — человек свободный.

Поднимаюсь и следом за ним иду через двор к воротам. Стражник протягивает ему ключ, и Мендель отпирает замок.

— Вот видите? Открыто.

Мгновенье поколебавшись, прохожу в ворота. Мне очень хочется кое-что узнать. Я гляжу на Менделя, на его ясные глаза, окна его души, на рот, через который обращается к миру живущий в этом теле дух.

— Вы могли бы уделить мне минутку? — спрашиваю я. Мы стоим в проеме ворот; стражник, замерев поодаль, делает вид, что ничего не слышит. — Я давно не молод, — говорю я. — И если раньше меня ждало здесь какое-то будущее, то теперь все рухнуло. — Обвожу рукой площадь, показываю на пыль, которую гонит жаркий летний ветер, разносящий напасти и болезни. — А кроме того, я один раз уже умер, вон на том дереве, правда, вы решили меня спасти. Поэтому прежде, чем я уйду, я хотел бы кое-что понять. Если, конечно, еще не слишком поздно, учитывая, что варвары уже у наших ворот. — Чувствую, как мои губы кричатся в еле заметной насмешливой улыбке, но ничего не могу с собой поделать. Поднимаю глаза и смотрю на пустое небо. — Простите, если мой вопрос покажется вам дерзким, но скажите, пожалуйста, как вам удастся заставить себя потом есть? После того, как вы... работаете с людьми? Меня

всегда это интересовало... применительно к палачам, экзекуторам и им подобным? Нет, подождите! Я еще не закончил. Я с вами вполне искренен, вы даже не знаете, чего мне стоило об этом заговорить, ведь я вас боюсь, как вы сами прекрасно понимаете. Скажите, неужели вам потом не придется делать над собой никаких усилий, чтобы проглотить кусок? Мне, например, кажется, что после такой работы должно возникнуть желание вымыть руки. И даже этого, вероятно, мало; вероятно, требуется какой-то церковный обряд, некий ритуал очищения... вы не согласны? Чтобы каким-то образом очистить и душу — так, по крайней мере, я себе это представляю. А иначе как можно потом вернуться к обычной жизни — к примеру, сесть за стол и преломить хлеб с родными или с друзьями?

Он поворачивается, чтобы уйти, но я успеваю схватить его за локоть своей похожей на клешню рукой.

— Пойдите, — говорю я. — Не поймите меня превратно: я вовсе не проклиная вас и не виню, я давно уже смирился. Не забывайте, я ведь тоже посвятил жизнь служению закону и знаю, что это такое, знаю, что пути правосудия порой неисповедимы. Я просто стараюсь понять. Я стараюсь понять ту духовную сферу, в которой вы живете. Я пытаюсь представить себе, как вам удастся изо дня в день дышать, есть и жить. Но у меня не получается! Вот что беспокоит меня больше всего! Окажись я в его шкуре, говорю я себе, на меня бы ужасно давило ощущение, что я вымазан в грязи...

Он вырывается и с такой силой бьет меня в грудь, что я охаю и, пошатнувшись, отступаю назад.

— Ублюдок! — орет он. — Старая сволочь! Сумасшедший! Пошел вон! Убирайся отсюда и сдохни в канаве!

— Когда вы думаете отдать меня под суд? — кричу я в его удаляющуюся спину. Но он даже не оборачивается.

Спрятаться мне негде. Да и зачем прятаться? От зари до зари я у всех на виду слоняюсь по площади, брожу вокруг лотков или сижу в тени деревьев. И постепенно, по мере того, как разносится молва, что старый судья отбыл свое наказание и оклемался, люди при моем появлении перестают поворачиваться спиной и не обрывают разговор. Обнаруживаю, что у меня есть и друзья, особенно среди женщин, — те еле скрывают нетерпение выслушать мою версию случившегося. Однажды, бродя по улицам, прохожу мимо дородной жены квартирмейстера, которая развешивает белье.

— Как ваши дела, сударь? — спрашивает она. — Мы слышали, вам пришлось несладко. — Глаза у нее горят от жаркого, хотя и настороженного любопытства. — Может, зайдете выпить чашку чая?

И вот мы с ней уже сидим на кухне, она велит детям пойти погулять, пока я пью чай и сосредоточенно уминаю ее овсяное печенье, искусно делает первые ходы в хитроумной игре, состоящей из вопросов и ответов.

— Вы так долго ездили, мы уж думали, не вернетесь... А вернулись, и сразу на вас, бедного, столько неприятностей! Как, право, все изменилось! При вас такого беспорядка не было. Все эти приезжие, все эти безобразия!..

Теперь мой ход, и я вздыхаю:

— Да, они не понимают, что мы, провинциалы, живем по-другому. Весь этот скандал из-за какой-то девушки... — Сжираю еще одно печенье. Над влюбленными дураками всегда смеются, но под конец их прощают. — Я-то считал, что вернуть девушку родным самый разумный поступок, но этим столичным разве объяснишь? — Продолжаю что-то несвязно бормотать; она слушает эту полуправду и, не отрываясь, следит за мной, как ястреб за зайцем; мы оба и виду не подаем, что я — тот самый человек, который болтался на дереве и так громко вопил о пощаде, что своим криком мог разбудить мертвых. — ...Но теперь уж будем надеяться, все позади. Вот только боли никак не проходят, — потираю себе плечо, — под старость все ведь заживает очень медленно...

Так я и зарабатываю теперь свой кусок хлеба. Вечером, если я по-прежнему голоден, жду, когда собак свистом отзовут от ворот, и тихонько проскальзываю в гарнизон, где обычно мне удастся выклянчить у кухарок остатки солдатского ужина: миску холодных бобов, или роскошные опметки со дна супового котла, или половину лепешки.

А утром можно пройтись до трактира, облокотиться о нижнюю створку кухонной двери и стоять там, вдыхая все эти замечательные ароматы: благоуханье майорана, дрожжей, тугих колечек нарезанного лука и припахивающего дымком бараньего сала. Повариха — ее зовут Мэй — смазывает сковородки: я смотрю, как ее проворные пальцы ныряют в горшок за жиром и тремя быстрыми круговыми движениями наносят его ровным слоем на чугунное дно. Я думаю о ее знаменитых пирожках, особенно славятся ее пирожки с ветчиной, шпинатом и сырком, и чувствую, как во рту у меня собирается слюна.

— Ведь сколько народу уже ушло, — говорит она, поворачиваясь к внушительной горке нераскатанного теста. — И передать вам не могу! На прошлой неделе тоже, и довольно много. Даже одна наша девушка, та, худенькая, волосы у нее еще такие длинные, прямые — может, помните. Ушла, вместе со своим парнем. — Она сообщает об этом ровным, бесстрастным голосом, и я благодарен ей за ее такт. — Оно и правильно, — продолжает она. — Если уж кто надумал уходить, сейчас самое время: дорога-то долгая, опасная, да и ночи все холоднее. — Она говорит о погоде, об ушедшем лете, о первых приметах зимы и рассказывает обо всем этом так, словно там, где я сидел, в камере, расположенной меньше чем в трехстах шагах от порога этой кухни, меня накрывал герметичный колпак и я не ведал ни о жаре, ни о холоде, ни о сухом ветре, ни о дожде. В ее представлении, как я понимаю, я на какое-то время исчез, потом снова появился, а в промежутке просто не существовал.

Пока она говорит, слушаю, киваю и думаю о своем. Но вот она замолчала.

— Знаешь, — говорю я, — когда я сидел в тюрьме — не в новой, а в казарме, просто в маленькой комнате под замком, — я так голодал, что о женщинах даже не думал, только о еде. Жил от кормежки до кормежки. И досыта никогда не наедался. Заглатывал все сразу, как собака, а потом хотел еще. К тому же и от боли очень мучился, то одно болело, то другое: и рука, и плечи, и здесь тоже, — притрагиваюсь к своему распухшему носу, провожу пальцем по уродливому рубцу под глазом: я уже заметил, что многие втайне восхищаются этим шрамом. — А если я иногда и видел во сне женщин, то мне хотелось только, чтобы они уняли мою боль.

Сны как у ребенка. Но я и не подозревал, что желание может надолго затаиться где-то очень глубоко, а потом вдруг, без предупреждения, вырваться, как река из берегов. Ты вот, например, только что сказала про ту девушку... я ведь был к ней очень привязан, ты, наверно, знаешь, хотя из деликатности не говоришь... Когда ты сказала, что она ушла, меня будто кто-то ударил, клянусь тебе. Вот сюда, прямо в сердце...

Руки ее ловко снуют по столу, вдавливают ободок чашки в лист теста, откидывают в сторону акkuratные кругляши, собирают и скатывают в комок обрезки. Встречаться со мной глазами она избегает.

— Вчера вечером я к ней заглянул, но дверь была заперта. Я ничего даже и не подумал. У нее ведь много друзей, я никогда не считал, что я у нее единственный... Ты спросишь, что мне от нее было надо? Чтобы пустила переночевать, разумеется; но и не только. К чему лукавить? Все же знают, что старики тянутся к молодым женщинам, чтобы в их объятиях вернуть себе молодость.

Она прищелпывает тесто, месит его, раскатывает: сама еще молодая, она живет со своими детьми под одной крышей со строгой старухой матерью; о чем взываю я к ней, сбивчиво бормоча про боль и одиночество? Озадаченно вслушиваюсь в собственные излияния. «Ничего не утаивай! — сказал я себе в тот день, когда мои экзекуторы впервые учинили надо мной пытку. — Сжимать зубы — глупо! У тебя нет никаких секретов. Пусть они знают, что перед ними человек из плоти и крови! Не скрывай своего ужаса, кричи, когда будет больно! Упрямое молчание их только раззадоривает, оно лишь подкрепляет их убеждение, что душа не более чем за-

мок, к которому они обязаны терпеливо подобрать отмычку. Дай волю чувствам! Открой свое сердце!» И потому я кричал, и визжал, и говорил все, что приходило в голову. Но сколь коварна подобная логика! Ибо сейчас, прислушиваясь к тому, что несет мой не знающий удержу язык, я слышу вкрадчивые причитания попрошайки.

— Сказать тебе, где я вчера ночевал? — слышу я свой голос. — Помнишь ту маленькую пристройку за амбаром?

И все же еда для меня — предмет наибольшего вожделения, с каждым днем оно овладевает мною сильнее. Я хочу снова быть толстым. Голод не отпускает ни днем ни ночью. Я просыпаюсь от того, что в животе у меня зияет пустота, и изнемогаю от нетерпения скорее начать свой ежедневный обход, постоять возле ворот гарнизона, вдыхая слабый сырой запах овсянки, дожидаться, когда мне вынесут пригоревшие оскребыши; я заискиваю перед детьми, упрашивая сбросить с шелковицы горсть ягод; я перегибаюсь через заборы, чтобы стащить пару персиков, я брожу от порога к порогу, неудачник, жертва любовного безумия, правда уже исцелившийся и готовый с улыбкой принять любую подачку — кусок хлеба с вареньем, чашку чая, а в обеденное время, возможно, даже миску похлебки или тарелку с луком и бобами, ну и, конечно, в любое время фрукты: абрикосы, персики, гранаты — богатые плоды щедрого лета. Ем я, как едят нищие: накидываюсь на еду с таким аппетитом, так подчищаю все до последней крошки, что любо-дорого смотреть. Неудивительно, что день ото дня я потихоньку возвращаю к себе расположение моих сограждан.

А как я умею льстить, как искусно я подлизываюсь! Уже не раз для меня готовили специальное.

особо вкусное угощение: кто — баранью отбивную, зажаренную со сладким перцем и чесноком, кто — кусок ветчины и помидор на хлебе с ломтиком козьего сыра. Когда хозяйки не возражают, я в благодарность за кормежку охотно ношу воду или дрова, хотя силы у меня уже не те. Если же в городе я всех обошел — а я должен вести себя осмотрительно, чтобы не быть в тягость моим благодетелям, — всегда можно заглянуть в лагерь рыбаков и помочь им чистить рыбу. Я уже выучил несколько слов на их языке, своим появлением я не вызываю здесь никаких подозрений, они знают, каково живет нищему, и делятся со мной тем, что едят сами.

Я хочу снова быть толстым, даже толще, чем прежде. Хочу, чтобы живот, когда я его поглаживаю, отзывался довольным бульканьем, хочу, чтобы подбородок утопал в подушках жира и чтобы при ходьбе у меня кольхалась грудь. Я хочу жить простыми удовольствиями. Я хочу (праздные мечты!) навсегда забыть, что такое голод.

Войска ушли в поход почти три месяца назад, и от них до сих пор нет известий. Зато страшных слухов хоть отбавляй: поговаривают, что солдат заманили в пустыню и истребили всех до одного; что втайне от нас войска отозвали для защиты центральных провинций, а приграничные города бросили на произвол судьбы и варвары в любую минуту могут играючи прибрать их к рукам. Каждую неделю наиболее благоразумные покидают город, двигаясь на восток: они объединяются по десять — двенадцать семей и трогаются в путь, чтобы, как принято теперь это называть, «погостить у родных, пока все образуется». Они уходят, ведя на поводу

вьючных лошадей, толкая перед собой тачки, взвалив на спину узлы, и даже собственных детей нагружают, как мулов. Один раз я видел, как в длинную низкую четырехколесную телегу впрягли овцу. Лошадей в городе уже не купишь. Те, что уходят, — те жены и мужья, что до утра шепчутся в постели, строя планы на будущее, а потом закрывают свои прогоревшие лавки и мастерские — умнее других. Они оставляют свои уютные дома, запирают их «до возвращения» и на память берут с собой ключи. Уже назавтра их дома разорены солдатами, мебель переломана, полы загажены. Если замечают, что кто-то готовится уйти, к нему относятся с растущей неприязнью. Таких людей публично оскорбляют, бьют или безнаказанно грабят. И теперь некоторые семьи исчезают среди ночи: подкупленные стражники открывают им ворота, и они бредут на восток до первой или второй придорожной корчмы, где ждут, пока наберется достаточно большой отряд беженцев, идти с которыми не так опасно, как в одиночку.

В городе бесчинствует солдатня. На днях на площади провели сборище с факелами, чтобы заклеить «трусов и предателей» и подтвердить преданность масс Империи. *МЫ ОСТАЕМСЯ* — таков нынешний лозунг верноподданных граждан; он намалеван на стенах по всему городу. В тот вечер я стоял в темноте с краю огромной толпы (остаться дома не хватило мужества никому), слушал, как тысячи глоток громко и угрожающе скандируют эти слова, и по спине у меня бежал мороз. После сборища солдаты возглавили шествие по улицам. Они вышибали двери, били окна, подожгли чей-то дом. До поздней ночи на площади продолжался пьяный разгул. Сколько я ни глядел по сторонам,

Менделя нигде не увидел. Возможно, гарнизон вышел из повиновения, хотя, возможно, солдатам с самого начала претило, что ими командует какой-то полицейский, и они не принимали его приказы всерьез.

Когда этих солдат, этих чуждых нам по духу людей, набранных в армию из разных уголков Империи, расквартировали в нашем городе, жители встретили их не слишком радушно. «Зачем они нам здесь? — говорили горожане. — Чем скорее уйдут воевать, тем лучше». Лавочники отказывали им в кредите, матери прятали от них дочерей. Но едва варвары объявились у порога, отношение к солдатам изменилось. И сейчас, когда, судя по всему, эти солдаты — наша единственная надежда на спасение, их усердно ублажают. Каждую неделю в городе собирают средства, чтобы закатывать им пиры, жарят на вертеле целых баранов, выставляют бочки рома. Девушки идут с ними по первому слову. Солдатам разрешается все, только бы они остались в городе и защитили нас от гибели. И чем больше с ними носятся, тем наглее они себя ведут. Мы понимаем, что положиться на них нельзя. Зерно в амбаре на исходе, основное войско как в воду кануло — что удержит солдат от дезертирства, когда кончатся пиры и гульба? Разве что тяготы похода в зимних условиях; зима — единственное, на что мы уповаем.

А приближение зимы чувствуется уже во всем. Ранним утром с севера теперь веет холодом; ставни поскрипывают, люди во сне теснее прижимаются друг к другу, дозорные плотнее кутаются в плащи и поворачиваются к ветру спиной. Бывает, что среди ночи я, стуча зубами, просыпаюсь на своем ложе из мешков и больше не могу заснуть. Когда всходит солнце, кажется, что оно с каждым днем ото-

двигается от нас все дальше; земля успевает остыть еще до заката. Я думаю о маленьких отрядах, вереницей растянувшихся по дороге на сотни миль, об этих людях, возвращающихся на родину, которую большинство из них даже не видели: они толкают перед собой тележки, подгоняют лошадей, несут на руках младенцев, скупо расходуют провизию, а на обочине тем временем копятя брошенные ими вещи: инструменты, кастрюли и сковородки, портреты, часы — словом, все то, что они прихватили из своих разоренных гнезд и надеялись спасти, пока не поняли, что в лучшем случае им удастся спасти лишь собственную жизнь. Через одну-две недели погода станет еще коварнее, и тогда покинуть город рискнут только самые отважные. Не затихая целыми днями, губя все живое на корню, суровый северный ветер будет гнать по широкому плоскогорью волны пыли и обрушивать на беженцев то град, то снег. Мне, в моих рваных обносках и стоптанных сандалиях, не вынести такого долгого перехода, и я даже не представляю себе, что решился бы взять палку, закинуть на спину мешок и тронуться в путь. А если бы и решился, то с тяжелым сердцем. Какая жизнь ждала бы меня вдали от этого оазиса? Жизнь нищего счетовода, который каждый вечер возвращается в темноте в свою комнату, снятую на задворках столицы, постепенно теряет один за другим зубы и изо дня в день слышит, как за дверью презрительно хмыкает хозяйка квартиры? Если бы я примкнул к покидающим город, то, скорее всего, разделил бы судьбу тех стариков, что однажды незаметно сходят с дороги, укрываются где-нибудь под скалой и ждут, когда по телу расползется великий вечный холод.

Бреду по широкой дороге к озеру. Серое небо сливается вдаль с серой водой. За спиной в малиново-золотые размывы садится заходящее солнце. Из канав несется первая вечерняя песня сверчков. Этот мир я знаю, люблю и не хочу покидать. С молодых лет хожу я этой дорогой в ночное время, и ни разу никто на меня не нападал. Как же мне поверить, что ночью возле озера бесшумно скользят тени варваров? Если бы здесь были чужие, я бы кожей почувствовал их присутствие. Варвары отступили со своими стадами в долины, запрятанные глубоко в горах, и дожидаются, пока солдаты устанут и уйдут из этих мест. А когда это случится, варвары появятся вновь. Они будут пасти своих овец, мы будем возделывать свои поля, они не будут трогать нас, мы — их, и через несколько лет на границе восстановится мир.

Прохожу мимо погубленных полей — их уже расчистили и заново распахали, — пересекаю оросительные каналы и дамбы. Земля становится все мягче; в угасающем свете фиолетовых сумерек я иду по сырой траве, продираюсь сквозь заросли камышей и вскоре шагаю уже по щиколотку в воде. Потревоженные лягушки с коротким всплеском отпрыгивают в стороны; рядом слышу шорох перьев — это болотная птица, готовясь взлететь, припала к земле.

Раздвигаю камыши, забредаю еще глубже, сквозь пальцы ног просачивается липкий густой ил; вода, дольше, чем воздух, удерживающая в себе тепло солнца, противится каждому моему шагу, но потом неизменно поддается. Ранним утром рыбаки выходят сюда на своих плоскодонках, плывут, отталкиваясь шестами, по гладкой поверхности мелководных заливов и ставят сети. Какой простой, спокой-

ный способ добывать себе пропитание! Может быть, мне забросить мое ремесло попрошайки и поселиться у рыбаков в их лагере по ту сторону городской стены, построить хижину из соломы и глины, взять в жены одну из их пригожих девушек, пировать, когда улов обилен, и затягивать пояс потуже, когда в сетях пусто?

Неподвижно застыв в воде, мягко поглаживающей мои икры, я тешу воображение этой заманчивой картиной. Мне ведь понятен смысл подобных снов наяву, видений, в которых я превращаюсь в беспечного дикаря, или бреду по промерзшей дороге в столицу, или плетусь через пески к руинам, или возвращаюсь в одиночество тюремной камеры, или отыскиваю варваров и предлагаю им располагать мною по собственному усмотрению. Каждое из этих видений — предвестник конца: я думаю не о том, как буду жить, а о том, какой смертью умру. И я знаю, что в обнесенном стенами городе (он уже тает в темноте, до меня доносится дважды повторенный скрипучий сигнал трубы, оповещающий горожан, что ворота закрываются) все думают точно о том же. Все, кроме детей! Дети ни на миг не сомневаются, что старые мощные деревья, в тени которых они привыкли играть, будут стоять вечно; что придет день и, повзрослев, мальчишки станут такими же сильными, как их отцы, а девочки — такими же чадолюбивыми, как их матери; что все они будут жить и процветать, вырастят новое поколение детей и состарятся там же, где родились. Почему мы утратили способность жить во времени, как рыбы живут в воде, а птицы — в воздухе; почему мы разучились жить, как дети? В этом повинна Империя! Потому что она создала особое время — *исторшо*. Тому времени, что плавно течет

по кругу неизменной чередой весны, лета, осени и зимы, Империя предпочла *историю*, время, мечущееся зигзагами, состоящее из взлетов и падений, из начала и конца, из противоречий и катастроф. Жить в *истории*, покушаясь на ее же законы, — вот судьба, которую избрала для себя Империя. И ее незримый разум поглощен лишь одной мыслью: как не допустить конца, как не умереть, как продлить свою эру. Днем Империя преследует врагов. Она хитра и безжалостна, своих ищек она рассылает повсюду. А ночью она распаляет себя кошмарными фантазиями: разграбленные города, тысячи жертв насилия, горы скелетов, запустение и разруха. Галлюцинации безумца, но такое безумие заразительно: я, старик, забредший по колено в болото, поражен этим недугом в не меньшей степени, чем верно-подданный полковник Джолл, который в поисках врагов Империи рыщет сейчас по бескрайней пустыне с саблей наголо, готовый разить варваров направо и налево, пока не настигнет и не умертвит того из них, кому судьба уготовила стать последним (ну а если не его, то, возможно, его сына или еще не родившегося внука), а затем вернется в столицу, чтобы, взбежав по бронзовым ступеням к воротам Летнего дворца, вскочить на шар, увенчанный фигурой вздыбившегося тигра, символа вечного господства, и услышать, как товарищи по оружию, столпившись у подножья лестницы, кричат «ура» и палят из мушкетов в воздух.

Ночь безлунна. В темноте неуверенно отыскиваю дорогу назад, возвращаюсь на сухую землю и, закутавшись в плащ, засыпаю прямо на траве. Продрогнув до костей, выныриваю из водоворота путаных снов и открываю глаза. Красноватая звездочка на небе почти не сдвинулась с места.

Когда я приближаюсь к лагерю рыбаков, внезапно начинает лаять собака; к ней тотчас присоединяется другая, и ночь взрывается шумом: лай, тревожные крики, испуганный визг. Растерявшись, кричу во весь голос: «Ничего не случилось!» — но меня не слышат. Беспомощно останавливаюсь посреди дороги. Мимо к озеру стремглав проносится какой-то человек; затем на меня с разбегу натывается чье-то тело — женщина, мгновенно понимаю я; от ужаса она коротко охает в моих объятьях, потом вырывается и исчезает. Злобно рыча, подступают собаки: одна цапает меня за ногу, раздирает кожу и отскакивает назад — вскрикнув от боли, верчусь волчком. Яростный лай берет меня в кольцо. За стеной к общему хору присоединяются городские псы. Пригибаюсь и кручусь на месте, ожидая следующего нападения. Воздух взрезают медные вопли труб. Собаки заливаются еще громче. Медленно переставляя ноги, шаг за шагом двигаюсь в сторону рыбацкого лагеря, пока на фоне неба вдруг не проступают контуры хижины. Откидываю заменяющую дверь циновку и проскальзываю в тепло пропахшего потом жилища, где всего несколько минут назад еще спали люди.

Шум вокруг стихает, но в лагерь никто не возвращается. Спертый воздух хижины нагоняет дремоту. Я рад бы заснуть, но меня все еще будоражит эхо того мягкого столкновения на дороге. Моя плоть, лишь на мгновение соприкоснувшаяся с этим телом, до сих пор хранит на себе его отпечаток, который берedit меня, как царапина. Мне даже страшно подумать, на что я способен: ведь с меня станет вернуться сюда завтра при свете дня и, по-прежнему изнемогая от сладких воспоминаний, расспрашивать всех подряд, кто же столкнулся со мной

в темноте, а узнав, вовлечь эту девушку или женщину в очередную, еще более глупую эротическую авантюру. Безрассудству мужчин моего возраста нет предела. И оправдывает нас лишь то, что сами мы не оставляем никакого впечатления на девушках, которые проходят через наши руки: извилистые окольные пути нашего желания, наши возведенные в ритуал ласки, наши слоновьи восторги быстро забываются, — стрелой умчавшись в объятья молодых, сильных, напрямик идущих к цели мужчин, чьих детей они будут носить под сердцем, девушки в тот же миг выбрасывают из памяти наше неуклюжее топтанье, призванное изобразить любовный танец. Наша любовь не оставляет следов. Кого будет помнить та, другая девушка, с лицом, размытым слепотой: меня в моем шелковом халате, в моей комнате с приглушенным светом, с флакончиками духов и благовонных масел — меня, с моими унылыми ласками, или того хладнокровного в черной стеклянной маске, который отдавал приказания и вдумчиво определял тональность рвущейся из нее боли? Чье, как не его лицо в красных отблесках раскаленного железа стало последним, что увидела она в нашем мире? И хотя при одной этой мысли меня даже сейчас передергивает от стыда, я обязан спросить себя: «Скажи, в те минуты, когда ты лежал, прижавшись головой к ее ногам, когда ты гладил и целовал ее изуродованные пиколотки, не закрадывалось ли в самый потайной уголок твоей души сожаление, что ты не можешь запечатлеть в этой девушке свой след так же глубоко?» Как бы сердечно ни отнеслись к ней соплеменники, на ее долю уже не выпадет обычного женского счастья: за ней не будут ухаживать, ее не возьмут в жены — она на всю жизнь помечена клеймом, отдавшим ее в собственность чу-

жаку, и если кто-то все же пригреет ее, то разве что поддавшись смешанному с похотью чувству грустной жалости, той жалости, которую она распознала и отвергла во мне. И неудивительно, что она так часто засыпала, неудивительно, что чистить картошку доставляло ей больше радости, чем лежать в моей постели! Едва я в тот день замедлил шаги и остановился перед ней возле гарнизонных ворот, она, должно быть, ощутила, как ее обволакивают миазмы обмана: зависть, жалость и жестокость — все укрылось под личиной желания! В моих ласках она чувствовала не порыв страсти, а усердное стремление заглушить страсть! Я ведь помню ее оценивающую улыбку. С самого начала она поняла, что я лишь притворяюсь соблазнителем. Она слушала мои речи, потом прислушивалась к голосу своего сердца и, поступая по его подсказке, была права. Если бы у нее нашлись тогда для меня нужные слова! «Ты все делаешь не так, — должна была сказать она и отвести мои руки. — Если хочешь узнать, как надо, спроси своего приятеля с черными стеклами». А потом, чтобы я не отчаивался, могла бы добавить: «Но если ты хочешь любить меня, то должен отвергнуть его и поучиться у кого-нибудь другого». Скажи она это и пойми я ее, будь мне дано ее понять; поверь я ей, будь мне дано ей поверить, возможно, я не мучил бы себя целый год маловразумительными и тщетными попытками искупить вину.

Ибо, хотя мне нравилось думать иначе, я вовсе не был таким добродушным любителем удовольствий, прямой противоположностью холодному и жестокому полковнику Джоллу. Я был олицетворением лжи, которой Империя тешит себя, когда в небе ни тучки, а он — та правда, которую заявляет Империя, едва подуют грозные ветра. Я и он —

две ипостаси имперского правления, не более того. Но в отличие от Джолла я бездействовал: затерянная в глуши граница, тихий городок, пыльная жара лета, тележки с абрикосами, долгие сиесты, облепившийся гарнизон, гуси и утки, что из года в год то прилетают, то улетают, то взмывают ввысь, то опускаются на ослепительную неподвижную гладь озера — вот и все, что представало моему взору, и я говорил себе: «Потерпи, скоро он уедет, скоро вернется покой: наши сиесты станут еще длиннее, сабли еще больше пожелтеют от ржавчины, дозорный начнет тайком убегать с башни, чтобы ночевать с женой; кирпичный постамент под нашей мортирой обветшает и развалится, среди его обломков будут сновать ящерицы, а из жерла пушек будут вылетать совы; линия, обозначающая на имперских картах нашу границу, выцветет, потеряет четкость — и в конце концов нас благополучно забудут». Обольщаясь этими надеждами, я в очередной раз свернул не туда и выбрал дорогу, которая казалась верной, а на деле завела меня в самое сердце лабиринта.

И опять я во сне двигаюсь к ней по заснеженной площади. Вначале просто иду. Но затем ветер, набрав силу, вздувает мой плащ, как парус, я растопыриваю руки и мчусь вперед в облаке вихрящегося снега. Ноги не касаются земли, лечу все быстрее и с высоты резко устремляюсь вниз, на одинокую фигурку в центре площади. «Если она сейчас не обернется, то не успеет отскочить!» — думаю я. Открываю рот, чтобы криком предупредить ее об опасности. Тихий скулящий вой, едва достигнув моих ушей, обрывается — ветер уносит его в небо, как клочок бумаги. Я вот-вот упаду на нее: готовясь к неизбежному столкновению, сжимаюсь, но она вдруг оборачивается. В оставший-

ся короткий миг вижу ее лицо, по-детски чистое, дышащее здоровьем, сияющее улыбкой; во взгляде ни тени тревоги. Мы сталкиваемся: ударюсь животом о ее голову и, подхваченный ветром, тут же отлетаю прочь. Этот удар словно невесомое прикосновение бабочки. Облегченно вздыхаю, меня переполняет радость. «Выходит, зря я так за нее беспокоился!» — думаю я. Оглядываюсь, хочу снова ее увидеть, но все поглотила снежная белизна.

Мокрые поцелуи обслонявили мне рот. Плююсь, трясую головой и открываю глаза. Собака, только что лизавшая меня в губы, пятится и виляет хвостом. Сквозь щинку в хижину просачивается свет. Выползаю за порог. Заря окрасила небо и воду в одинаковый нежно-розовый цвет. Озеро, где я уже привык каждое утро видеть тупоносые рыбацкие лодки, пусто. И лагерь, посреди которого я сейчас стою, тоже пуст.

Плотнее закутываюсь в плащ и, пройдя мимо главных ворот — они еще закрыты, — дохожу до северо-западной башни, где почему-то не вижу ни одного дозорного; затем поворачиваю назад, к озеру, и, срезая дорогу, иду через примыкающие к дамбе поля.

Из-под ног выскакивает заяц и, петляя, убегает прочь. Провожая его взглядом, пока, сделав широкий круг, он не скрывается за спелой пшеницей.

Впереди, ярдах в пятидесяти от меня, посреди тропинки писает маленький мальчик. Косясь краешком глаза в мою сторону, он сосредоточенно следит за дугой своей струйки и выгибает спину, чтобы последним усилием брызнуть как можно дальше. Затем, не успев еще его золотистый след рассыпаться в воздухе, мальчик внезапно исчезает — мелькнувшая в зелени смуглая рука утянула его в камыши.

Я останавливаюсь там, где миг назад стоял он. Но вижу лишь колыхающиеся верхушки камышей, сквозь которые блестит солнце, ослепительный шар, всплывший еще только до половины.

— Можете выходить, — говорю я почти шепотом. — Вам нечего бояться. — Замечаю, что вьюрки облетают камыши стороной. Я уверен, что меня слышат по меньшей мере тридцать пар ушей.

Поворачиваюсь и иду обратно, к городу.

Ворота открыты. Вооруженные до зубов солдаты прочесывают рыбачий лагерь. Вместе с ними от лачуги к лачуге бегают разбудившая меня собака: хвост трубой, язык высунут, уши насторожены.

Один из солдат поддевает перекладину, на которой вялятся связки выпотрошенной, подсоленной рыбы. Скрипнув, перекладина грохается на землю.

— Не смейте! — кричу я и убыстряю шаг. Лица некоторых солдат мне знакомы, я запомнил их с той поры, когда меня целыми днями мучили во дворе. — Не делайте этого! Рыбаки не виноваты!

С нарочитой небрежностью все тот же солдат подходит к самой большой хижине, наваливается на торчащие из-под соломы жерди и пытается приподнять крышу. Он налегает изо всех сил, но крыша не поддается. Я видел, как возводят эти, казалось бы, хрупкие лачуги. Их строят так, чтобы они устояли под ветром, в какой не отважится взлететь птица. Каркас крыши привязан к столбам ремнями, продеваемыми в клинообразные пазы. Сорвать крышу можно, только разрезав ремни.

— Дайте я объясню, что вчера случилось, — упрашиваю я солдата. — Было уже темно, я проходил

мимо, на меня залаяли собаки. А рыбаки перепугались и от страха потеряли голову, вы же их знаете. Наверно, решили, что пришли варвары. И сбежали на озеро. Они прячутся в камышах, я их только что там видел. Нельзя же наказывать их из-за такого глупого недоразумения.

Он меня даже не слушает. Приятель помогает ему залезть на крышу. Балансируя на двух жердях, он каблуком пробивает соломенную кровлю. Я слышу, как на пол хижины плюхаются куски глиняной обмазки и сыплется солома.

— Перестаньте! — кричу я. Кровь стучит в виски. — Они не сделали вам ничего плохого! — Хочу ухватить его за ногу, но не дотягиваюсь. Я в таком бешенстве, что готов свернуть ему шею.

Кто-то оттесняет меня — это приятель солдата, тот, что помогал ему залезть на крышу.

— А ну давай катись отсюда, — бурчит он. — Катись, кому говорят! Хочешь сдохнуть — найди место подальше.

Слышу треск: жерди под соломой проломилась. Солдат на крыше раскидывает руки и проваливается вниз. Происходит это молниеносно: вот он только что стоял, изумленно вытаращив глаза, а в следующий миг его уже нет, осталось лишь повисшее в воздухе облачко пыли.

Циновка в дверном проеме сдвигается вбок, и, осыпанный с ног до головы рыжей пылью, он выбирается из хижины, держа на весу сцепленные руки.

— Тьфу ты, черт! — ругается он. — Зараза! Черт!

Его товарищи заливаются смехом.

— Ничего смешного! — орет он. — Я себе палец отшиб, язви его в душу! — Зажимает ушибленную

руку между колен. — Болит, чтоб ему! — Он пинает хижину ногой, и я снова слышу, как внутри на пол падают куски глины. — Дикари вонючие! Надо было всех сразу к стенке и расстрелять... вместе с их дружками!

Глядя поверх меня, глядя сквозь меня, решительно отказываясь меня видеть, он гордо шагает прочь. Проходя мимо последней хижины, срывает со входа циновку. Украшавшие ее бусы рассыпаются: красные и черные ягоды, высушенные дынные семечки летят дождем. Стою посреди дороги, дожидаясь, пока меня перестанет бить гневная дрожь. Я думаю сейчас о молодом крестьянине, которого как-то раз привели ко мне еще в те дни, когда гарнизон был в моем ведении. Судья из далекого городка, откуда был родом этот парень, за кражу кур приговорил его к трем годам службы в армии. Пробыв в нашем гарнизоне всего месяц, он пытался дезертировать. Его поймали и привели ко мне. Соскучился по матери и сестрам, объяснил он. «Мы не можем поступать, как нам вздумается, — наставлял его я. — Все мы подчиняемся Закону, который стоит выше любого из нас. И тот судья, который отправил тебя сюда, и я, и ты — все мы в подчинении у Закона». Со связанными за спиной руками он стоял между двумя бесстрастными конвоирами, тупо глядел на меня и ждал, когда я вынесу приговор. «Я понимаю, ты считаешь несправедливым, что тебя накажут за добрые сыновьи побуждения. Тебе кажется, ты прекрасно разбираешься, что справедливо, а что — нет. Нам всем так кажется». В ту пору сам я нисколько не сомневался, что всегда и везде, любой из нас — будь то мужчина, женщина, ребенок, а может даже и старая несчастная кляча, приводящая в движение мельничное колесо, — понимает, что та-

кое справедливость: любое существо приходит в этот мир, принося с собой воспоминания о справедливости. «Но мы живем в мире законов, — растолковывал я этому бедняге, — в мире, далеком от изначального совершенства. И изменить его мы не можем. Мы — падшие создания. Всем нам, каждому без исключения, доступно лишь поддерживать установленные законы, не допуская, чтобы понятие справедливости истерлось из нашей памяти». Прочитав ему эту лекцию, я вынес приговор. Парень принял мое решение без звука, и конвоиры увели его. Помню, как стыдно бывало мне в подобные дни. Я возвращался из суда в свою квартиру, садился в качалку и, забыв об ужине, просиживал в темноте весь вечер, пока не приходило время лечь спать. «Когда человек страдает от несправедливости, свидетели его страданий обречены страдать от стыда», — говорил себе я. Но лицемерное утешение, заложенное в этой мысли, не возвращало покоя моей душе. Не раз у меня возникало искушение подать в отставку, порвать с чиновничьей жизнью, обзавестись огородом и выращивать овощи на продажу. Но ведь тогда, думал я, страдать от стыда судейской службы назначат кого-то другого, и ничего не изменится. Поэтому я продолжал выполнять свои обязанности, пока однажды ход событий не распорядился моей судьбой по-иному.

Двух этих всадников замечают поздно, только когда они уже скачут через голые поля и от города их отделяет меньше мили. Я — один из тех многих, что немедленно устремляются за ворота приветствовать героев: ведь все мы сразу же узнали развевающееся над ними зелено-золотое батальонное

знамя. Затерявшись среди возбужденных, бегущих наперегонки детей, шагаю по свежевспаханному полю.

Всадник, скачущий слева, неожиданно оставляет своего спутника, разворачивается и медленной рысью движется к озеру.

Второй же продолжает иноходью приближаться к нам: он сидит в седле очень прямо, руки его разведены в стороны, словно он готовится нас обнять или взлететь в небо.

Я сбиваюсь на бег и бегу что есть сил: сандалии цепляются за комья земли, сердце стучит тяжело и гулко.

Мне остается пробежать еще ярдов сто, когда за спиной раздается конский топот, — три закованных в доспехи солдата галопом проносятся мимо, направляясь к зарослям камышей, где скрылся первый всадник.

Присоединяюсь к толпе, обступившей человека (хотя он очень изменился, я узнаю его), который застыл под гордо реющим знаменем и неподвижно смотрит на город. Он привязан к прочно сколоченному деревянному кресту и только поэтому держится в седле прямо. Вертикальная жердь подпирает спину, а руки прикреплены к поперечине. Над головой у него вьются мухи, челюсть подвязана веревкой, лицо вспухло, вокруг расплзается тошнотворный запах — он уже несколько дней как мертв.

Детская ручонка дергает меня за рукав.

— Дяденька, а он что, варвар? — шепотом спрашивает ребенок.

— Нет, — тоже шепотом отвечаю я.

Он поворачивается к другому мальчишке рядом с собой.

— Видишь, я же говорил, — шепчет он.

Подчиняясь своему жребию — никто, кроме меня, как видно, не осмеливается взять на себя столь грустную обязанность, — поднимаю волочащиеся в пыли поводья и сквозь главные ворота, мимо притихших зрителей, доставляю это красноречивое послание варваров на гарнизонный двор, где перерезаю веревки, вынимаю посланца из седла и кладу на землю, чтобы его приготовили к погребению.

Солдаты, погнавшиеся за его печальным спутником, вскоре возвращаются. Легким галопом они пересекают площадь и, спешившись, исчезают в здании суда, откуда городом правит Мендель. Через некоторое время они снова выходят на площадь, но разговаривать ни с кем не желают.

Итак, все предчувствия беды подтвердились, и город впервые захлестнула волна настоящей паники. Лавки набиты покупателями: перекрикивая друг друга, они предлагают бешеные деньги за продовольствие. Некоторые семьи забаррикадировались в домах, заперев вместе с собой кур, уток и даже свиней. Школа закрыта. С улицы на улицу перебегают слухи о том, что орда варваров встала лагерем на выжженных берегах реки в нескольких милях от нас, что штурм города неминуем. Случилось невероятное: армия, так бодро выступившая из города три месяца назад, больше никогда не вернется.

Главные ворота закрыты и на замок, и на все заставы. Я умоляю начальника стражи впустить в город рыбаков.

— Они же умрут от страха, — говорю я.

Не отвечая, он поворачивается спиной. На крепостные стены высыпали солдаты, те сорок человек, что призваны встать щитом между нами и гибелью: застыв у нас над головой, они глядят вдаль, поверх озера и пустыни.

Поздно вечером, возвращаясь в пристроенную к амбару кладовку, где я ночую и по сей день, вижу, что мне не пройти. По узкой улочке тянется интендантский обоз, колонна двухколесных повозок: первая везет знакомые мне мешки с семенной пшеницей из городского амбара, остальные ползут порожними. За обозом следует вереница покрытых попонами, оседланных лошадей из гарнизонных конюшен — здесь, как я догадываюсь, и все те лошади, которых солдаты украли или реквизировали за последние несколько недель. Встревоженные шумом, люди выходят из домов и молча наблюдают за этим, без сомнения, давно продуманным отходным маневром.

Прошу впустить меня к Менделю, но часовой у дверей суда хранит каменное молчание, как и все его товарищи.

Как выясняется чуть позже, Менделя в суде нет. Я возвращаюсь на площадь именно в ту минуту, когда Мендель дочитывает народу обращение «от имени Имперского командования». Отступление, говорит он, лишь «временная мера». В городе оставят «сторожевое подразделение». Ожидается, что «на период зимы боевые действия будут полностью прекращены по всему фронту». Лично он надеется вернуться сюда весной, когда армия «предпримет новое наступление». Он хотел бы выразить всем сердечную благодарность за оказанное ему «незабываемое гостеприимство».

Он стоит на одной из пустых повозок между построенными в две шеренги солдатами, которые держат в руках факелы; пока он произносит свою речь, на площадь возвращаются с добычей мародеры. Двое, пыхтя, грузят на телегу красивую чугунную печку, похищенную из чьего-то пустого до-

ма. Другой с торжествующей улыбкой тащит петуха и курицу; черный с золотым отливом петух просто великолепен. Ноги у птиц связаны, и солдат ухватил их за крылья, от злобы птичьих глаза налиты кровью. Кто-то придерживает дверцу печки, и птиц запихивают в духовку. На телеге уже целая гора мешков и бочек из разоренных лавок, грабители прихватили даже пару стульев и небольшой стол. Развернув тяжелый красный ковер, они накрывают им груз и закрепляют концы ковра по углам. Грожа-не, наблюдая за методично орудующими предателями, покорно молчат, а меня насквозь пронизывают токи бессильной ярости.

Но вот последняя телега нагружена. Ворота отворяют, солдаты садятся на лошадей. В голове обоза кто-то препирается с Менделем.

— Всего час или около того, — настаивает голос. — Через час они будут готовы.

— И речи быть не может, — отвечает Мендель и добавляет что-то еще, но ветер уносит его слова, и я их не слышу.

Какой-то солдат, отпихнув меня, проводит трех навьюченных узлами женщин к последней повозке. Прикрывая лица шальями, они забираются на телегу и кое-как там размещаются. Одна из женщин спускает с рук маленькую девочку и сажает ее на высокую грудку мешков. Щелкают кнуты, обоз двигается вперед, натужно сопят лошади, скрипят колеса. В конце колонны двое солдат палками подгоняют дюжину овец. Когда овцы проходят через площадь, в толпе нарастает ропот. Какой-то парень выскакивает вперед, машет руками и громко кричит — овцы врассыпную исчезают в темноте, и толпа с ревом смыкается. Почти тотчас же трещат первые выстрелы. Десятки людей с воплями

бросаются в бегство, я вместе с ними бегу со всех ног, и неудавшийся бунт оставляет в моей памяти единственную картину: какой-то мужчина вцепился в сидящую на последней телеге женщину и рвет на ней платье, а маленькая девочка, держа палец во рту, широко открытыми глазами наблюдает за этой сценой. Площадь пуста и вновь погрузилась в темноту, последняя повозка скрывается за воротами — все, гарнизон покинул город.

Ворота стоят распахнутыми до утра, и отдельные семьи, горстки людей, в большинстве пешком, сгибаясь под тяжестью узлов и свертков, спешат вдогонку за солдатами. А на заре в город беспрепятственно проскальзывают изгнанные рыбаки: они ведут с собой своих худосочных детей, несут на горбу жалкие пожитки, тащат жерди и охапки камышей, готовясь в который раз заново приступить к строительству жилья.

Дверь моей старой квартиры открыта. В комнатах несет затхлостью. Здесь давно не убирали. Застекленные витрины — мои коллекции камней, птичьих яиц и древностей, найденных в пустыне среди руин, — исчезли. Мебель в большой гостиной сдвинута к стене, ковра на полу нет. В малой гостиной, похоже, ничего не тронута, но занавеси и драпировки отдают кислым душком плесени.

В спальне одеяло откинута тем же движением, каким его обычно откидываю я, и потому кажется, будто, кроме меня, никто здесь никогда не ночевал. А вот запах грязного белья непривычен.

Ночной горшок под кроватью наполовину полон. В шкафу валяется скомканная рубашка: на воротничке изнутри коричневая полоса, под мыш-

ками желтые пятна. От моей одежды не осталось и следа.

Сняв с кровати подушки и простыни, растягиваюсь на голом матрасе, ожидая, что ко мне подберется ощущение некой неловкости, оттого что дух чужого человека еще блуждает среди рожденных им запахов и беспорядка. Но не испытываю ровным счетом ничего: в комнате все мне по-прежнему знакомо. Прикрываю рукой лицо и чувствую, как меня убаюкивает дремота. Да, возможно, мир, каков он есть, отнюдь не иллюзия, не кошмар, посещающий нас в ночи. Возможно, он — действительность, в которую мы неизбежно возвращаемся каждое утро, и не можем ни забыть о ней, ни избавиться от нее. Но все равно, мне, как и прежде, трудно поверить, что конец близок. Понимаю, что вломись варвары сейчас в эту комнату, я умру в постели, так и не поумнев, наивный и несведущий, как дитя. И потому мне, пожалуй, гораздо больше подошла бы смерть в чулане, где варвары схватили бы меня в тот миг, когда, набив рот, я воровато выскребал инжирное варенье из последней банки; мою отрубленную голову бросили бы на кучу других голов посреди городской площади, и на моем лице так и осталось бы виноватое недоумение и обида на историю, которая взбаламутила застывшие воды времени в нашем оазисе. Каждому своя смерть. Одни встретят ее, прячась в выкопанном под погребом тайнике, зажмурив глаза и прижимая к груди драгоценности. Другие умрут на дороге, засыпанные первыми метелями. А некоторые — таких будет немного, — возможно, умрут, отбиваясь от врагов вилами. Разделавшись с нами, варвары подотрутся городскими архивами. Мы умрем, так и не сумев извлечь для себя никакого урока. У каждого

из нас в глубинах души засело нечто твердокаменное, отказывающееся признать истину. И хотя в городе бушует паника, никто по-настоящему не верит, что мир, в котором мы родились, наш мир безмятежных непреложностей вот-вот рассыплется в прах. Никто не может смириться с мыслью, что имперскую армию уничтожили люди, вооруженные луками, стрелами да десятком древних ржавых мушкетов, люди, которые живут в шатрах, никогда не моются, не умеют ни читать, ни писать. Но кто я такой, чтобы глумиться над живительным волшебством иллюзий? Чем еще скрасить эти последние дни, как не грезами об избавителе, что явится с мечом, разгонит незримую вражью силу, простит нам ошибки, совершенные от нашего имени другими, и подарит новую возможность построить рай на земле? Лежу на голем матрасе и сосредоточенно пытаюсь перевоплотиться в пловца, который размеренно и неустанно плывет сквозь время, материю более инертную, чем вода, зеркально гладкую, безбрежную, бесцветную, лишённую запаха, сухую, как бумага.

VI

Иногда по утрам на полях появляются свежие следы копыт. Сторож рассказывает, что среди пуганицы кустов, огораживающих дальний конец распаханного клина, он видел темную тень, которой, как он клянется, за день до этого там не было и которая день спустя снова исчезла. Рыбаки не отваживаются выходить на промысел до рассвета. Их ежедневный улов теперь так ничтожен, что они живут впроголодь.

За два дня мы совместными усилиями, держа оружие под рукой, собрали пшеницу с удаленных от озера полей, со всех тех клочков земли, которые не были затоплены. Доля каждой семьи составляет меньше четырех чашек зерна на день, но и это лучше, чем ничего.

И хотя возле озера, как и прежде, слепая лошадь вращает колесо, наполняющее большой бак, откуда вода по трубе подается в город для поливки садов, мы понимаем, что трубу в любую минуту могут перерезать, и потому уже начали рыть колодцы прямо в городе.

Вняв моим призывам, горожане вскапывают свои огороды и сажают там побольше морозоустойчивых корнеплодов. «Главное — любым способом продержаться до конца зимы, — объясняю я. — А весной нам, конечно, подвезут продовольствие. Кроме того, после первой же оттепели мы можем посеять просо-скороспелку».

Школа по-прежнему закрыта, и детям поручается ловить крохотных красных рачков, которыми кишат мелководные соленые заливы в южной части озера. Эту добычу мы коптим и прессуем в брикеты, каждый весом около фунта. У рачков неприятный маслянистый вкус; обычно их едят только рыбаки; но чутье подсказывает мне, что уже к середине зимы любой из нас почтет за счастье сожрать крысу или таракана.

По всей длине северной стены мы развесили на кольшках шлемы и воткнули в землю копья. Два раза в час мальчишка, на которого возложена эта обязанность, проходит вдоль парапета и слегка меняет положение каждого шлема. Тешим себя надеждой, что эта хитрость обманет зоркие глаза варваров.

Завещанное нам Менделем «сторожевое подразделение» состоит из трех солдат. Они поочередно несут караул возле запертой двери суда, в городе на них никто не обращает внимания, и общаются они только друг с другом.

Всеми мерами по спасению города руковожу я. Никто не возражает. Борода у меня подстрижена, кожу во всем чистом, и, по сути дела, я вернул себе полномочия, которых лишился год назад с прибытием Гражданской охраны.

Нам необходимо срочно запастись дровами, но не находится ни одного смельчака, готового отправиться на берег реки в обгоревший лес, где рыбаки, если им верить, обнаружили следы стоянки варваров.

Просыпаюсь от громкого стука во входную дверь. На пороге человек с фонарем — обветренный, изможденный, запыхавшийся, в длиннополой солдатской шинели, которая ему велика. Когда он видит меня, глаза его округляются от изумления.

— Кто вы такой? — спрашиваю я.

— А где унтер-офицер? — Тяжело дыша, он старается заглянуть мне за спину.

Время — два часа ночи. Городские ворота открыли, чтобы впустить полковника Джолла: его карета стоит посреди площади, оглобли лежат на земле. За каретой укрываются от колючего ветра несколько солдат. Со стены глядят вниз дозорные.

— Нам нужны свежие лошади, провизия, фураж, — говорит мой ночной гость. Быстрым шагом обгоняет меня, подходит к карете, открывает дверь и докладывает: — Унтер-офицера в городе нет, ваша милость. Он уехал.

В окне кареты успеваю увидеть выхваченное лунным светом лицо Джолла. Он тоже меня увидел: дверь захлопывается, и изнутри щелкает задвижка. Вглядываюсь сквозь стекло и различаю его фигуру в дальнем темном углу: он сидит отвернувшись, шея его напряжена. Барабаню пальцами по стеклу, но он не поворачивается. Подручные полковника оттесняют меня.

Брошенный из темноты камень ударяется о крышу кареты.

На площадь прибегает еще один человек из свиты Джолла.

— Там ничего нет, — задыхаясь, сообщает он. — В конюшнях пусто, они не оставили нам ни одной лошади.

Солдат, только что выпрягший взмыленных рысаков, злобно чертыхается. Второй камень пролетает мимо кареты и чуть не попадает в меня. Оба камня брошены сверху, со стен.

— Знаете что, — говорю я, — вы замерзли и устали. Поставьте лошадей в конюшню, а сами идите в казарму, поешьте и расскажите нам, что случилось. Мы три месяца не получали никаких вестей. Этот сумасшедший, если ему так хочется, может сидеть в карете хоть до утра — вы-то тут при чем?

Но они слушают меня вполуха: голодные, изуренные, более чем с избытком выполнившие свой долг, доставив этого жандарма из логова варваров целым и невредимым, они о чем-то шепчутся, потом начинают снова запрягать в карету двух обессиленных лошадей.

Я гляжу на смутно белеющее в темноте пятно, именуемое полковником Джоллом. Мой плащ хлопает на ветру, я дрожу — не только от холода, но

и от еле сдерживаемого гнева. Меня терзает желание разбить стекло, сунуть руку в дыру и, чувствуя, как ее зазубренные края цепляются за кожу и раздирают плоть этого человека, вытащить его из кареты, швырнуть на землю и топтать до тех пор, пока он не превратится в месиво.

Дернувшись, словно мои кровожадные мысли обдали его брызгами, он неохотно поворачивается. Потом боком передвигается по сиденью ближе к окну и смотрит на меня сквозь стекло. Лицо у него какое-то голое, вылинявшее: то ли виноват лунный свет, то ли причина в усталости. Я гляжу на его высокие бледные залысины. Воспоминания о мягкой материнской груди, о том, как рвалась из рук бечевка первого запущенного им бумажного змея, соседствуют в сотах этого черепа с воспоминаниями об извращенных жестокостях, за которые я его ненавижу.

Он смотрит на меня в окно, его взгляд рыщет по моему лицу. Неужели и он теперь обязан подавить в себе желание протянуть руку, схватить меня за шиворот и вонзить мне в глаза осколки стекла?

Я знаю, что сказать ему в назиданье, я давно продумал эти слова. Произношу их очень отчетливо и наблюдаю, как он читает по моим губам.

— Притаившегося в нас зверя мы должны натравливать только на самих себя, — говорю я и в подтверждение киваю головой. Киваю несколько раз, чтобы смысл дошел до него полностью. — Но не на других. — Повторяю, показывая пальцем сначала на себя, потом на него. Он следит за моим ртом, его узкие губы шевелятся: возможно, он повторяет за мной, а может быть, просто передразнивает меня, не знаю. Еще один камень, увесистей прежних, похоже кирпич, раскатисто грохочет по крыше кареты. Дьюолл вздрагивает, лошади шарахаются.

Кто-то мчится бегом через площадь.

— Поехали! — кричит он на ходу. Отталкивает меня и локтем стучит в дверь кареты. Руки у него заняты, он прижимает к груди с десяток лепешек. — Надо ехать! — снова кричит он. Джолл отодвигает задвижку, солдат вываливает хлеб в карету. Дверь с шумом захлопывается. — Скорее! — Карета тяжело трогается с места, скрипят рессоры.

Хватаю солдата за плечо:

— Постой! Никуда тебя не пущу, пока не расскажешь, что случилось.

— Сами, что ли, не видите? — кричит он, отбиваясь кулаками.

Руки у меня до сих пор не окрепли: чтобы он не ускользнул, притягиваю его к себе вплотную.

— Объяснишь, тогда отпущу, — задыхаясь, обещаю я.

Карета тем временем ползет к воротам. Два конных солдата уже проехали под аркой; другие, у которых нет лошадей, со всех ног бегут следом. Из темноты в карету летят камни, со стен сыплются крики и проклятья.

— Что я должен объяснить? — тщетно пытаюсь вырваться, спрашивает солдат.

— Где все остальные?

— Ушли. Разбрелись. Кто куда. Я не знаю, где они. Мы боялись, что и сами заблудимся. Идти всем вместе было невозможно. — Видя, что его товарищи исчезают в темноте, он вырывается упорнее. — Отпустите! — Он всхлипывает. Сил у него как у ребенка.

— Сейчас отпущу. Как же случилось, что варвары вас одолели?

— Мы замерзли в горах! Мы дошли с голоду в пустыне! Хоть бы кто предупредил, как все будет!

Они с нами не воевали — просто завели в пустыню, а сами исчезли!

— Кто «они»?

— Ну, они... варвары! Они заманивали нас все глубже и глубже, мы никак не могли их догнать. Они ловили тех, кто отставал, по ночам срезали привязь и разгоняли наших лошадей, а на открытый бой не вышли ни разу!

— Так, значит, вы не выдержали и повернули домой?

— Да!

— Думаешь, я поверю?

Солдат глядит на меня со злым отчаянием.

— Зачем я буду врать? — кричит он. — Мне бы только не отстать от своих, а больше ничего не надо! — Ему удается вырваться. Прикрывая голову руками, он опрометью выбегает за ворота и растворяется в темноте.

На площадке, отведенной под третий колодец, работа остановилась. Часть землекопов разошлась по домам, остальные стоят и ждут указаний.

— В чем дело? — спрашиваю я.

Они показывают на кучу свежей земли: сверху лежат кости — кости ребенка.

— Наверно, здесь была могила, — говорю я. — Хотя странно, что выбрали такое место. — Мы стоим на пустыре, в проходе между тыльной частью казармы и южной стеной города. Кости — старые, в них впиталась рыжая охра глины. — Ну и что вы решили? Если хотите, можем копать не здесь, а подальше.

Они помогают мне спуститься в яму. Высовываясь из нее по грудь, стою на дне и соскребаю землю с торчащей из стены челюсти.

— А вот и череп, — говорю я. Но в ответ они показывают мне череп, который вырыли вместе с костями.

— Вы под ногами посмотрите, — говорит их старший.

В яме темно, ничего не видно, но, царапнув по дну мотыгой, натыкаюсь на что-то твердое: пальцы подсказывают, что это кость.

— Так не хоронят. — Он садится на корточки у края ямы. — Свалили всех вместе, одного на другого, и так они здесь и лежат бог знает сколько лет.

— Да, — говорю я. — Пожалуй, здесь рыть не стоит.

— Конечно, — кивает он.

— Надо эту яму закопать, и будем рыть другую, ближе к стене.

Он молчит. Протягивает руку и помогает мне вылезти наверх. Остальные тоже молчат. Мне приходится самому скинуть кости назад в яму и присыпать их землей, только после этого люди берутся за лопаты.

Во сне я опять стою в той же яме. Земля на дне сырая, из нее сочится темная вода, ноги у меня увязают, вытаскиваю их каждый раз медленно и с усилием.

Шарю под водой, ищу кости. Рука выуживает оторванный угол джутового мешка: черный, прогнивший, он трухой сыплется сквозь пальцы. Снова копаюсь в жидкой грязи. Вилка — погнутая и заплесневевшая. Мертвая птица — попугай. Держу его за хвост, грязные перья отогнулись вниз, намокшие крылья обвисли, глазницы пусты. Разжи-

маю пальцы, и попутай проваливается в воду — ни всплеска, ни брызг. «Вода отравлена, — думаю я. — Надо об этом помнить и не пить отсюда. Трогать рот правой рукой мне теперь тоже нельзя».

С тех пор как я вернулся из пустыни, я еще ни разу не спал с женщиной. И сейчас, совсем не ко времени, мое мужское естество вдруг начинает бунтовать. Я плохо сплю и каждое утро просыпаюсь возбужденный. Но никаких желаний у меня нет. Лежу на смятых простынях и тщетно надеюсь, что выросшая из моего тела ветка поникнет. Вызываю в памяти образ девушки, той, что много ночей подряд спала со мной на этой кровати. Вижу, как босиком, в короткой рубашке она стоит передо мной и ждет, когда я начну ее мыть: одну ногу она уже поставила в таз, рукой опирается о мое плечо. Намыливаю ее крепкие икры. Она задирает рубашку на голову. Намыливаю ее бедра; потом откладываю мыло в сторону, притягиваю девушку к себе, трюсь лицом о ее живот. Я чувствую тепло воды, запах мыла, тяжесть ее рук. Погруженный в воспоминания, прикасаюсь к себе пальцами. Но в ответ ничто не отзывается. Ощущение такое же, как если бы я взял себя за запястье: да, это часть моего тела, но отвердевшая, застывшая, не способная жить самостоятельной жизнью. Все мои старания безуспешны, потому что я ничего не испытываю. «Просто устал», — говорю я себе.

Битый час сижу в кресле, дожидаясь, когда это нелепое состояние пройдет. Наконец одеваюсь и выхожу из дома.

Ночью все повторяется сначала: опять из меня торчит эта стрела, указующая неизвестно куда. Сно-

ва мысленно рисую себе разные картинки, но снова не чувствую никакого отклика.

— Попробуйте молочный корень с хлебной плесенью, — советует лекарь. — Должно подействовать. А если не поможет, придите еще раз. Вот вам молочный корень. Его нужно размолоть, подлить теплой воды и смешать с плесенью. По две ложки перед едой. На вкус очень неприятно, очень горько, но не беспокойтесь, вреда не будет.

Плачу ему серебром. Медь теперь никто не берет, разве что дети.

— Но вы мне объясните, — говорит он, — зачем вам, сильному, здоровому мужчине, убивать в себе желание?

— Желание тут ни при чем, отец. Это у меня что-то вроде раздражения. Воспалилось и затвердело. Как при ревматизме.

Он улыбается. Я в ответ тоже улыбаюсь.

— Во всем городе они, наверно, только вашу лавку и не разграбили, — замечаю я. На самом деле это даже не лавка, просто маленькая ниша под навесом, где стоят рядами пыльные склянки, а по стенам развешаны коренья и пучки сушеных трав — средства, которыми он пользуется горожан вот уже пятьдесят лет.

— Да, меня они не тронули. Намекнули, что для моего же блага мне лучше уйти из города. «Варвары отрежут тебе кое-что, зажарят и съедят», — прямо так и сказали, слово в слово. А я сказал: «Нет уж. Я здесь родился, здесь и помру. Никуда, — говорю, — отсюда не уйду». А теперь вот они сами удрали, и без них, скажу я вам, много лучше.

— Верно.

— Вы все же попробуйте молочный корень. Не поможет, приходите снова.

Пью горькую смесь и ем как можно больше салата-латука — говорят, он лишает мужской силы. Но все это делаю без особой веры в успех — то, что со мной творится, требует иного толкования, догадываюсь я.

Раз уж такое дело, заглядываю к Мэй. Трактир закрыли, посетителей нынче мало; Мэй теперь ходит в гарнизон помогать матери. Застаю ее в кухне, когда она укладывает своего малыша в кроватку, придвинутую поближе к плите.

— До чего мне нравится эта ваша старая большая плита, — говорит Мэй. — Так долго не остывает. И тепло от нее такое мягкое. — Она заваривает чай; мы сидим за столом и смотрим, как рдеют за решеткой угли. — Даже не могу угостить вас ничем вкусным, — говорит она. — Солдаты всю кладовку обчистили, почти ничего не осталось.

— Пойдем ко мне наверх, — прошу я. — Может, оставишь ребенка здесь?

Мы с ней старые друзья. Много лет назад, еще до ее второго замужества, она часто навещала меня ко мне вечерами.

— Лучше возьму его с собой, — решает она, — а то еще проснется здесь один.

Жду, пока она запеленает ребенка, потом поднимаюсь по лестнице, пропустив ее вперед: еще молодая, но уже отяжелела, бедра расплылись, раздалась. Стараюсь вспомнить, хорошо ли мне с ней тогда было, но ничего не вспоминается. В те годы мне было хорошо с любой женщиной.

Она укладывает ребенка на подушки в углу спальни и тихо воркует над ним, пока он снова не засыпает.

— Это только на одну-две ночи, — говорю я. — Скоро и так все кончится. А пока надо жить.

Она скидывает панталоны, топчется на них, как лошадь, потом идет ко мне в одной рубашке. Задуваю лампу. То, что я сейчас сказал, оставило в душе грустный осадок.

Принимая меня, она вздыхает. Треть щекой о ее щеку. Рука находит ее грудь; она накрывает мою руку своей, гладит мои пальцы, потом убирает их.

— У меня там чуток натерто, — шепчет она. — После мальша.

Я еще обдумываю, что бы сказать, когда вдруг чувствую, что уже опустошен, но ощущение приходит откуда-то издалека, еле уловимое, будто слабый отзвук толчков, всколыхнувших землю в другой части света.

— Это у тебя, кажется, четвертый ребенок? — Мы лежим рядом под одеялом.

— Да, четвертый. Один, правда, умер.

— А что его отец? Хоть помогает?

— Когда уходил, оставил немного денег. Он ведь с войском ушел.

— Не волнуйся, вернется непременно. — Чувствую спокойную тяжесть прильнувшего ко мне тела. — Знаешь, я очень привязался к твоему старшему, — говорю я. — Когда я сидел в тюрьме, он приносил мне еду. — Какое-то время мы лежим молча. Голова у меня начинает кружиться. Вынырнув из сна, успеваю услышать конец стихающей в горле трескучей рулады — стариковский храп.

Мэй садится в постели.

— Я все же пойду, — говорит она. — В такой большой квартире мне не заснуть, всю ночь что-то скрипит. — Расплывчатым пятном она двигается по комнате, одевается, берет на руки ребенка. — Можно

зажгу лампу? Боюсь, в темноте с лестницы упаду. А вы спите. Утром принесу вам завтрак — пшеничную кашу, если, конечно, не возражаете.

— Я так даже очень ее любила, — говорит она. — Мы все ее любили. Никогда слова поперек не скажет, что ни попросишь, все сделает, хотя ноги сильно ее донимали, я знаю. Приветливая была. И пошутить с ней можно было, посмеяться.

Я опять словно кусок дерева. Она усердствует вместе со мной: ее большие руки гладят меня по спине, сжимают мои ягодицы. И — будто далеко за морем вспыхнула и тотчас погасла искра.

Ребенок тихонько пищит. Она высвобождается и встает с кровати. Большая, голая, расхаживает взад-вперед по лужице лунного света, держит младенца на руках, похлопывает его, баюкает.

— Сейчас заснет, — шепчет она.

Я и сам уже засыпаю, когда чувствую, как прохладное тело снова укладывается рядом со мной и губы тыкаются мне в плечо.

— А о варварах я думать не хочу. Жизнь и так слишком коротка, чтоб еще тревожиться, что будет завтра.

На это мне сказать нечего.

— Тебе со мной не нравится, — говорит она. — Я же вижу, со мной ты удовольствия не получаешь. Ты все время где-то далеко.

Жду, что она скажет еще.

— Она вот то же самое говорила. Что ты будто не с ней, а далеко. Она не могла тебя понять. Не понимала, чего ты от нее хочешь.

— Даже не подозревал, что вы с ней так откровенничали.

— Я ведь часто сюда приходила, на кухню конечно. Вот мы друг дружке и рассказывали, о чем душа болит. Она, бывало, расплачется и все плачет, плачет.. Очень она с тобой мучилась. Ты само хоть знал?

Ее слова будто приоткрывают дверь, из которой на меня дует ветер безысходного отчаяния.

— Тебе не понять, — хрипло говорю я. Она пожимает плечами. — В этой истории много такого, о чем ты не знаешь, — продолжаю я, — и о чем она не могла тебе рассказать, потому что сама тоже не знала. Я не хочу сейчас об этом говорить.

— А меня и не касается.

Мы молчим и думаем — каждый по-своему — о девушке, которая спит в эту ночь далеко отсюда, под россыпью звезд.

— Кто знает, — говорю я, — может быть, когда прискачут варвары, среди них будет и она. — Рисую себе эту картину: во главе отряда всадников она въезжает в открытые ворота, сидит в седле прямо, глаза сверкают; их предтеча, их проводник, она показывает своим товарищам, как куда проехать в этом чужом городе, где она некогда жила. — Уж тогда-то все будет по-другому.

Задумавшись, мы тихо лежим в темноте.

— До чего мне страшно, — говорит она. — Даже подумать боюсь, что с нами будет. Уговариваю себя, мол, обойдется, а пока — день прожила, и ладно. Только иной раз все равно — как представляю себе, что может случиться, от страха руки-ноги отнимаются. Уж и не понимаю, что дальше делать-то. Ни о чем не думаю, только о детях. Что с детьми-то

будет? — Она садится в постели. — Что будет с детьми? — в бешенстве кричит она.

— Детей они не тронут, — говорю я. — И никого не тронут. — Глажу ее по голове, успокаиваю, крепко прижимаю к себе, и мы лежим так, пока не подходит время снова кормить ребенка.

Внизу, в кухне, ей спится лучше, говорит она. Там среди ночи проснешься, увидишь, как за решеткой угли светятся, и вроде сразу поспокойнее. Кроме того, ей хотелось бы класть ребенка вместе с собой. Кроме того, лучше, чтобы мать не узнала, где она проводит каждую ночь.

Я тоже чувствую, что это была ошибка, и больше к ней не заглядываю. Сплю один и скучаю по запаху тимьяна и лука, пропитавшему кончики ее пальцев. Первые два-три вечера меня томит тихая, легкая грусть, потом незаметно начинаю забывать.

Стою посреди площади, наблюдаю, как надвигается буря. Небо постепенно выцветает, сейчас оно матово-белое и только на севере подернуто розовым. Красные черепичные крыши поблескивают, воздух начинает светиться; озаренный сиянием, не отбрасывающий ни тени, город в эти последние мгновенья загадочен и прекрасен.

Поднимаюсь на стену. Между бутафорскими воинами стоят люди и глядят вдаль, туда, где на горизонте уже вскипает огромная туча песка и пыли. Никто не произносит ни слова.

Солнце наливается медью. Лодки, все до одной, покинули озеро, птицы замолкли. Ненадолго на-

ступает полнейшая тишина. Затем ее раскалывает ветер.

Спрятавшись в домах, где наглухо закрыты все окна, где двери заложены подушками, где мельчайшая серая пыль, просеиваясь сквозь крышу и потолок, оседает на любой открытой поверхности, затягивает пленкой питьевую воду и хрустит на зубах, мы думаем о существах одной с нами крови, которым спрятаться некуда и которые в подобных обстоятельствах могут лишь встать к ветру спиной и держаться до последнего.

Вечерами, пока не догорят выданные мне на день дрова и пока не надо скорей заползть под одеяло, позволяю себе час-другой посидеть у камина и предаюсь былым увлечениям: чиню, как могу, мои витрины с коллекциями, — разбитые и поломанные, они валялись в парке за зданием суда, — снова мудрю над расшифровкой древних писем на тополиных табличках.

В знак уважения к тем, кто некогда обретался в засыпанных песком руинах, нам, вероятно, тоже следует оставить о себе письменное свидетельство, чтобы люди будущего откопали его из-под обломков нашего города; и если уж писать историю города, вряд ли кто-нибудь справится с этим лучше, чем наш последний городской судья. Но когда, потеплее закутавшись в старую медвежью доху, зажигаю единственную свечку (свечное сало у нас теперь распределяется тоже очень строго), сажусь за стол, кладу рядом кипу пожелтевших документов и начинаю писать, то с удивлением понимаю, что пишу я вовсе не о том, как сложилась история далекого городка на границе Империи, и даже не

о том, как населявшие этот городок люди до последнего дня тщились сохранить присутствие духа и целый год жили в ожидании варваров.

«Не нашлось бы ни одного, кто, посетив этот оазис, не пленился бы очарованием здешней жизни, — пишу я. — Мы жили во времени, отмечавшем свой ход веснами и зимами, урожаями, прибытием и отбытием перелетных птиц. Мы жили в единстве со звездами. И уразумей мы, что от нас требуется, мы пошли бы на любые уступки, только бы жить здесь и дальше. Ибо здесь был рай на земле».

Долго смотрю на это выведенное моей рукой прошение о помиловании. Я был бы разочарован, если бы узнал, что таблички, тайне которых я посвятил так много времени, содержат послание столь же уклончивое, двусмысленное и постыдное.

«Может быть, к концу зимы, когда голод и в самом деле вцепится в нас мертвой хваткой, когда мы будем мерзнуть и отоцваем или когда варвары и в самом деле встанут у наших ворот, — может быть, тогда я наконец отброшу выпренность чиновника, мнящего себя литератором, и начну писать правду», — думаю я.

А еще думаю: «Я стремился жить вне истории. Вне той истории, которую Империя навязывает своим подданным, даже заблудшим. Я ведь вполне искренне не хотел, чтобы бремя имперской истории легло на плечи варваров. Почему же я должен этого стыдиться?»

А еще думаю: «Я прожил год, насыщенный событиями. Но все равно по сию пору наивен, как младенец. И уж если писать послание к потомкам, то я для такого дела гожусь меньше всех. Наш кузнец и тот напишет лучше — вон сколько ярости и отчаянья вкладывает он в каждый удар молота!»

А еще думаю: «Но едва варвары познают вкус хлеба, едва они съедят кусок свежего хлеба, кусок хлеба с вареньем из шелковицы или крыжовника, наш образ жизни покорит их сердца. Они поймут, что больше не могут жить, как прежде, когда их мужчинам было неведомо искусство выращивать нежные злаки, а их женщины не умели творить чудеса с благодатными дарами земли».

А еще думаю: «Когда однажды здесь появятся люди и начнут копаться в руинах, древности, которые они отыщут в пустыне, заинтересуют их гораздо больше, чем любое оставленное мною послание. И совершенно справедливо». (Рассудив так, целый вечер одну за другой покрываю таблички слоем льняного масла, а потом заворачиваю в клеенку. Обещаю себе, что, как только ветер уляжется, выйду из города и закопаю их там же, где нашел.)

Ветер стих, и с неба мягко плывут снежинки, кропя черепичные крыши белым. Все утро стою у окна и гляжу на этот первый снегопад. Когда выхожу из дома, снег уже покрыл гарнизонный двор толстым слоем и таинственно похрустывает под ногами.

Посреди площади играют дети: они мастерят снеговика. Осторожно, боясь их напугать, но при этом охваченный неизъяснимой радостью, бреду к ним через снег.

Они ничуть не пугаются, они так увлечены, что даже не глядят в мою сторону. Они уже соорудили большое круглое туловище и сейчас катают из снега шар для головы.

— Ну-ка найдите что-нибудь для глаз, носа и рта, — распоряжается командующий ими мальчик.

Снеговику нужны и руки, думаю я, но вмешаться не хочу.

Дети ставят голову на туловище и втыкают камешки туда, где должны быть глаза, уши, нос и рот. Сверху один из мальчишек водружает свою шапку.

Что ж, совсем неплохой снеговик.

Но я ведь мечтал увидеть другое. Ухожу, чувствуя себя очень глупо — со мной такое бывает теперь часто, — как человек, что давным-давно заблудился, но упрямо тащится по дороге, которая, возможно, не приведет его никуда.

**ЖИЗНЬ И ВРЕМЯ
МИХАЭЛА К.**

Раздор — отец всем общий
и всем общий царь,
и одних богами объявляет он,
а других — людьми,
одних рабами сотворяет он,
а других — свободными.

Гераклит Эфесский
Фрагмент 23 (53)
(Перевод С. Муравьева)

I

Первое, что заметила повитуха в Михаэле К., помогая ему выбраться из материнской утробы на белый свет, — это заячью губу. Губа отворачивалась точно нога улитки, левая ноздря зияла. Заслонив на минутку младенца от матери, повитуха сунула палец в крохотный бутончик рта и возблагодарила судьбу, что нёбо на месте.

Матери она сказала: «Радуйся, такие приносят в дом удачу». Но Анне К. не понравился рот, который не закрывался, и розовая, вывернутая наружу губа. Страшно было подумать, что росло в ней все эти месяцы. Младенец не мог сосать грудь и плакал от голода. Когда не помогла и бутылочка, Анна стала кормить сына с ложки, раздражаясь, если он закашливался, расплескивал молоко и плакал.

— Подрастет, и рот закроется, — пообещала повитуха.

Но губа не опускалась, может, и опустилась немножко, но не до конца, и нос тоже не выправлялся.

Анна брала мальчика с собой на работу и продолжала брать, когда он уже вышел из младенческого возраста. Она держала его подальше от сверстников — их перешептывания и улыбки причиняли ей боль. Год за годом Михаэл К. сидел на одеяле, смотрел, как мать надраивает чужие полы, и учился молчанию.

Из-за увечья и оттого что соображал он медленно, Михаэла после короткого испытательного срока забрали из простой школы и поместили в приют «Норениус» в Форе, где он вместе с другими обездоленными судьбой, калечными и увечными детьми провел на казенном содержании остальные годы своего детства, постигая науку чтения, письма, счета, учился подметать полы, заправлять постель, мыть посуду, плести корзины, а также столярничать и работать в саду. В пятнадцать лет, успешно завершив курс обучения в приюте, он пополнил в качестве садовника категории 3(б) ряды муниципальной службы «Парки и сады Кейптауна». Тремя годами позже он оставил «Парки и сады» и после нескольких недель безработицы, которые он провел лежа на кровати и разглядывая свои руки, нанялся ночным дежурным в общественные уборные на Грин-маркет-сквер. В одну из пятниц, когда он поздно ночью возвращался домой, в метро на него напали двое неизвестных, избили его, забрали часы, деньги и ботинки и бросили на платформе — оглушенного, с ножевой раной на руке, с вывихнутым большим пальцем и двумя сломанными ребрами. После этого происшествия он ушел с ночной работы и вернулся в «Парки и сады», где со временем стал садовником первой категории.

Губа делала свое дело — знакомых женщин у К. не было. Приятнее всего он чувствовал себя в одиночестве. Обе работы давали ему относительную уединенность, хотя в уборных его угнетал яркий неоновый свет, от которого белые кафельные плитки блестели еще ярче, и совсем не было тени. Он любил парки с высокими соснами, где вдоль аллей цветут неяркие лилии. Случалось, в субботу он не слышал выстрела, возвещающего полдень и окончание

работы, и продолжал работать до вечера. В воскресенье он долго спал, а вечером навещал мать.

Однажды поздним июньским утром, на тридцать первом году жизни, Михаэл К. получил известие. Он сгребал листья в парке Де Ваал. Известие, которое дошло к нему через третьи руки, было от матери: ее выписали из больницы, и она просит его прийти за ней. К. отнес в сарай грабли и поехал на автобусе в больницу Сомерсет, где и нашел мать на скамейке перед входом: она сидела и грелась на солнышке. Мать была полностью одета, только босиком — туфли стояли рядом со скамейкой. Увидев сына, она расплакалась, прикрывая рукой глаза, чтобы не заметили другие пациенты и посетители.

Анна К. уже давно хворала: страшно распухали ноги и руки, потом начал пухнуть и живот. Когда ноги совсем отказали и замучила одышка, ее взяли в больницу. Пять дней Анна пролежала в коридоре среди избитых, с ножевыми и огнестрельными ранами мужчин, которые так стонали и кричали, что она совсем не могла спать, а сестры не обращали на нее никакого внимания, где уж им было возиться со старухой, когда вокруг так страшно умирали молодые мужчины. Сразу же по поступлении Анне дали кислород, а потом начали делать уколы и давали таблетки, чтобы согнать отеки. Судна было не допроситься — санитарки поблизости никогда не оказывалось. Халата Анне не выдали. Однажды, когда она, держась за стенку, брела к уборной, ее остановил старик в серой пижаме и, грязно выругавшись, растегнул ширинку. Потребности тела превратились для Анны в источник мук. Сестрам она говорила, что принимает пиллоли, но часто их обманывала. Два дня спустя одышка уменьшилась, зато ноги стали так сильно зудеть, что она подсовывала руки под себя,

чтобы не чесаться. На третий день она начала проситься домой, но просила, наверное, не того, кого нужно. На шестой день по щекам ее покатались слезы — от радости, что она вырвалась из этого ада.

Михаэл К. попросил у дежурной кресло-каталку, чтобы отвезти мать, но ему отказали. Взяв в одну руку сумочку и туфли, а другой рукой поддерживая мать, он провел ее пятьдесят шагов до автобусной остановки. Там стояла длинная очередь. Приклеенное к столбу расписание обещало автобус через каждые пятнадцать минут. Они прождали час; тени стали длинными, подул холодный ветер. Стоять Анна не могла, она села на тротуар и привалилась к стене, вытянув вперед ноги, как нищенка, а Михаэл держал место в очереди. Подошел автобус, однако все сидячие места в нем были заняты. Обхватив мать, чтобы она не повалилась, Михаэл крепко держался за поручень. Они добрались до ее комнатки в Си-Пойнте уже после пяти.

Анна К. восемь лет проработала служанкой у бывшего владельца трикотажной фабрички, удалившегося на покой, и его жены, которые занимали в Си-Пойнте пятикомнатную квартиру с видом на Атлантический океан. По условиям договора, она приходила в девять утра и работала до восьми вечера, с трехчасовым перерывом в середине дня. Работала попеременно пять и шесть дней в неделю. Ей предоставлялись двухнедельный оплаченный отпуск и комната в том же доме. Жалованье было приличное, хозяева — люди спокойные, работу найти было нелегко, и Анна К. не жаловалась на жизнь. Но год назад у нее стала кружиться голова, и, когда она наклонялась, что-то сдавливало в груди. Потом началась водянка. Теперь она только готовила для Бёрманнов, платили ей на треть меньше, а на уборку на-

няли женщину помоложе. Анне К. позволили остаться в ее комнатухе, которая была в распоряжении Бёрманнов. Водянка усиливалась. Анна К. уже не могла работать и несколько недель перед тем, как попала в больницу, пластом пролежала в постели. Ее мучил страх, что Бёрманны перестанут ее жалеть.

В ее комнатухе под лестницей на вилле «Лазурный берег» когда-то предполагалось установить кондиционер, но так и не установили. На двери остался знак: красный череп с перекрещенными костями и надпись на английском, африкаанс и зулу: «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» Ни электрического света, ни вентиляции не было, пахло затхлостью. Михаэл отпер дверь и пропустил мать вперед, засветил свечу и, пока она раздевалась, чтобы лечь в постель, подождал в коридоре. Этот первый вечер после ее возвращения и все остальные вечера он провел с ней: подогревал ей суп на керосинке, старался поудобнее ей все устроить, делал все необходимое, а когда она начинала плакать, гладил ее по руке и успокаивал. В один из вечеров автобусы от Си-Пойнта не шли вовсе, и ему пришлось остаться у нее на ночь; он лег спать на тюфяке, накрывшись своим пальто. Среди ночи он проснулся от холода — промерз до костей. Теперь уж заснуть он не мог и уйти тоже не мог — был комендантский час, он до рассвета просидел на стуле, трясясь от холода и слушая стоны и храп матери.

Михаэлу К. было неприятно такое их тесное соседство по вечерам в маленькой комнатке. Вид распухших ног матери очень его тревожил, и он отводил глаза, когда помогал ей слезать с постели. Бока и руки у матери были в расчесах, она иногда даже надевала перчатки на ночь. Но он не уклонялся от выполнения того, что считал своим долгом. Вопрос, над которым он когда-то раздумывал

в приюте «Норениус», спрятавшись за сараем для велосипедов, а именно: зачем он вообще родился, получил ответ — он родился, чтобы ухаживать за своей матерью.

Как ни успокаивал Анну К. сын, она не могла избавиться от мучившего ее страха: что с ней станется, если она лишится комнаты? Ночи среди умирающих в коридорах Сомерсетской больницы ясно ей показали, как безразличны все к старой женщине, страдающей такой неприглядной болезнью, да еще в военное время. Работать она не могла и считала, что только доброта Бёрманнов — но вот надежна ли она? — да преданность не больно-то сообразительного сына могут спасти ее от голода и трупп, а уж на самый крайний случай у нее есть сбережения: в чемодане, под кроватью, в сумочке лежали два кошелька, один с новыми деньгами, другой со старыми: в свое время она поостереглась обменять их, и теперь они ничего не стоили.

Поэтому, когда Михаэл как-то вечером стал рассказывать, что у них в парке сворачивают работу, Анна К. всерьез задумалась над тем, о чем до тех пор лишь смутно мечтала: не покинуть ли им город, который не сулит ей теперь ничего хорошего, и не вернуться ли в тихий край ее детства?

Анна К. родилась на ферме в округе Принс-Альберт. Отец у нее был беспокойный — он пил, и потому, когда она была маленькая, семья переходила с фермы на ферму. Мать стирала и кухарничала; Анна ей помогала. Потом они поселились в маленьком городке Аудсхорн, там Анна какое-то время ходила в школу. А когда она родила своего первенца, то переехала в Кейптаун. Родился второй ребенок, от другого отца, потом третий, который умер, потом Михаэл. Годы до того, как они переселились в Ауд-

схорн, запомнились Анне как самые счастливые в ее жизни — все были добрые и сытые. Она помнила, как, бывало, сидела в пыли в курином загоне, а вокруг нее квохтали и скребли когтями землю куры; помнила, как отыскивала под кустами яйца. И сейчас, зимними вечерами, лежа на постели в душной комнатушке, слушая, как барабанит по ступенькам крыльца дождь, она мечтала укрыться от равнодушной жестокости, от набитых битком автобусов, очередей за продуктами, наглых лавочников, от воров и нищих, сирен среди ночи, комендантского часа, от холода и сырости и возвратиться в сельскую тишь; если ей суждено умереть, пусть она умрет под голубым небом.

В плане, который она изложила Михаэлу, о смерти не было упомянуто. Она предложила ему самому уволиться из парка, покуда его не уволила администрация, и поехать с ней вместе на поезде в Принс-Альберт, где она снимет комнату на то время, пока он не подыщет работу на ферме. Дадут ему там хорошее помещение — она поселится с ним, будет вести хозяйство, нет — он будет приезжать к ней на выходные. А чтобы убедить его в серьезности своих намерений, она вытащила из-под кровати чемодан и на его глазах пересчитала содержимое кошелька с новыми деньгами, заверив, что как раз для этой цели она их и копила.

Она ожидала, что Михаэл спросит: неужели она надеется, что маленький городок в сельской местности примет двух чужаков, из которых одна — большая старуха. У нее даже был наготове ответ. Но Михаэл ни на мгновение не усомнился в ее плане. Так же, как все годы пребывания в «Норениусе», он был убежден, что мать поместила его туда для какой-то особой цели, которая вначале была ему

неясна, и только потом он ее определил, так и сейчас он сразу признал мудрость ее решения и не задал ей ни одного вопроса. Не разложенные на одеяле деньги видел он перед собой, а бескрайний вельд, белый домик, из трубы которого вьется дым, а у раскрытой двери его встречает после долгого трудового дня здоровая и веселая мать.

Утром Михаэл не пошел на работу. Затолкав по пачке банкнот в каждый носок, он отправился на железнодорожный вокзал. В билетной кассе главных линий кассир сказал, что он с удовольствием продаст ему два билета до Принс-Альберт или до ближайшей к нему станции («Принс-Альберт или Принс-Альфред?» — переспросил кассир), однако К. не сможет сесть в поезд, если вдобавок к заказанным билетам не будет иметь разрешение на выезд от своего полицейского участка. Раньше чем на восемнадцатое августа он ему билеты зарезервировать не может, то есть ждать надо два месяца; что же касается разрешения, то его дают только в полиции. К. очень просил его зарезервировать билеты на более близкое число, но напрасно; состояние здоровья его матери не дает ему никаких преимуществ, сказал кассир, напротив, он советует ему вовсе не упоминать о ее болезни.

С вокзала К. отправился на Каледон-сквер, где простоял два часа в очереди позади женщины с хнычущим младенцем. Ему выдали по два бланка — на мать и на него.

— Подколите к голубым бланкам заказ на билеты и отнесите все в комнату Е-пять, — сказала женщина в полицейской форме, сидящая за конторкой.

Когда зарядили дожди, Анна К. подсунула под дверь полотенце, чтобы вода не затекала внутрь. Комнатка пропахла «Деттолем» и тальком.

— Сижу тут, как жаба под камнем, — прошептала Анна К. — До августа мне не дожить.

Она с головой укрылась одеялом и замолчала. Михаэл посидел немного рядом с ней, потом почувствовал, что ему не хватает воздуха. Он пошел на угол в лавку. Хлеба там не было.

— Ни хлеба, ни молока, — сказал продавец, — приходи завтра.

К. взял печенья и сгущенки, потом долго стоял под тентом и смотрел, как сыплетсся с неба дождь. На следующий день он отнес бланки в комнату Е-5. Разрешение будет выслано по почте, сказали ему, после того как полиция в Принс-Альберте просмотрит бланки и даст согласие на въезд.

Он пошел в парк Де Ваал, где, как он и ожидал, ему было сказано, что деньги он получит только в конце месяца.

— Вообще-то это не важно, — сказал он бригадиру, — выплатят, не выплатят, мы с матерью все равно уедем.

Ему вспомнилось, как мать навещала его в «Норениусе». Иногда она привозила ему зефир, иногда шоколадное печенье. Они уходили вдвоем на площадку для игр, а к чаю возвращались в зал. В дни посещений мальчишки надевали парадные рубашки цвета хаки и коричневые сандалии. У некоторых ребят родителей вообще не было, других просто забыли. «Отец у меня умер, а мать работает», — говорил К.

Он расстелил в углу материнской каморки одеяла, положил подушки и сидел там вечерами, прислушиваясь к дыханию матери. Она теперь почти все время спала. Иногда он тоже засыпал, сидя, и пропускал последний автобус. Утром он просыпался с головной болью. Днем бродил по улицам.

Жизнь, казалось, замерла — они ждали разрешения, а оно все не приходило.

В одно из воскресений он побывал в парке Де Вала, сломал там замок на сарае, где хранилось садовое оборудование, взял кое-какие инструменты и тачку и увез все это в Си-Пойнт. Расположившись в проулочке позади дома, он разобрал старую тачку на части, сколотил из досок сиденье и прикрутил к нему проволокой спинку. Затем стал уговаривать мать псехать прогуляться.

— На свежем воздухе тебе сразу станет лучше, — говорил он. — И никто нас не увидит, уже шестой час, на набережной пусто.

— Увидят из окон, — отвечала мать. — Не хочу я быть посмешищем.

На следующий день она сдалась. Надела пальто, шляпу и, с трудом передвигая ноги в шлепанцах, вышла в сгущающиеся серые сумерки и позволила Михаэлу усадить ее на тачку. Он перевез ее на другую сторону Бич-роуд и покатил по променаду. Никого на набережной не было, только какая-то пожилая пара выгуливала пса. Крепко вцепившись в края сиденья, Анна К. вдыхала холодный морской воздух; сын провез ее ярдов сто, постоял немного, чтобы она посмотрела, как плещутся о скалы волны, проехал еще сто ярдов, опять остановился, потом повез мать назад. Тачка оказалась очень шаткой, а мать очень тяжелой, и это его огорчило. Один раз тачка накренилась, и мать чуть не съехала на землю. «Тебе полезно подышать свежим воздухом», — сказал он матери. На следующий день зарядил дождь, и они не выходили из дома.

Он стал обдумывать, как бы ему соорудить коляску на велосипедных колесах, приладив к ним ящик со стенками; вопрос был в том, где достать ось.

В один из последних дней июня, под вечер, мчавшийся на большой скорости по Бич-роуд военный «джип» сбил парнишку, который переходил дорогу: тот пролетел несколько метров и врезался в машины, припаркованные у обочины. «Джип» вильнул в сторону и резко затормозил на газоне у виллы «Лазурный берег», где два его пассажира оказались лицом к лицу с разъяренными приятелями парнишки. Началась драка, вскоре вокруг собралась толпа. Взламывали дверцы автомобилей, которые стояли на стоянке, сами машины валили набок поперек дороги. Сирены оповестили о наступлении комендантского часа, но на это никто не обратил внимания. «Скорая помощь», прибывшая в сопровождении мотоциклиста, чуть не доехав до баррикады, развернулась и помчалась обратно, а вслед ей посыпался град камней. И тут с балкона на четвертом этаже кто-то начал палить из револьвера. Люди с криками бросились врассыпную, ища укрытия в ближних домах, они врывались в коридоры, колотили в двери, разбивали окна и лампочки. Добрались и до стрелявшего, выволокли его из укрытия, забили до бесчувствия и скинули на мостовую. Обитатели квартир выбегали на улицы или сидели в темноте за запертыми дверями. Какую-то женщину настигли в конце коридора и сорвали с нее всю одежду; кто-то поскользнулся на бегу и сломал себе ногу. Двери в квартирах были сорваны с петель, вещи разграблены. В квартире Бёрманнов, над комнатой Анны К., громилы сорвали занавески, навалили на пол груды одежды, разломали мебель и запалили огонь, и оттуда, хотя огонь и не разгорелся, пополз густой дым. Перед виллами «Лазурный берег», «Золотой берег» и «Кобакобана» снова стала собираться толпа; люди складывали награбленные

вещи у своих ног, бросались к декоративным каменным горкам на газонах и швыряли камнями в большие зеркальные стекла окон, выходявших на набережную, покуда не перебили все вдребезги.

На шоссе в пятидесяти ярдах от баррикады остановилась полицейская машина с крутящейся синей мигалкой. Застрочил автоматический пистолет, из-за баррикады раздались ответные выстрелы. Машина резко дала задний ход и исчезла, а толпа с криками повалила в другую сторону, по Бич-роуд. Прошло еще минут двадцать, уже совсем стемнело, и только тогда на место происшествия прибыли полицейские и карательные отряды. Этаж за этажом они захватывали пораженные мятежом дома, не встречая никакого сопротивления со стороны врага, который удирал по всем близлежащим аллеям и переулкам. Одну мятежницу, которая не могла быстро бежать, застрелили. С окрестных улиц полицейские собирали брошенные вещи и складывали их в кучи на газонах. Сюда поздней ночью пришли обитатели квартир и, светя фонариками, стали отыскивать свое имущество. В полночь, когда уже готовились объявить о завершении операции, в коридоре одного из домов, в темном закутке, обнаружили скукожившегося бунтовщика с простреленным легким; его забрали. Выставив на ночь постовых, солдаты и полицейские уехали. К утру задул ветер и пошел сильный дождь; он хлестал в разбитые окна «Лазурного берега», «Золотого берега», «Копакобаны», а также «Эгремонта» и «Высот Малибу», которые солидный проспект рекомендовал пассажирам лайнеров, плывущих вокруг мыса Доброй Надежды; дождь мочил шторы, заливал ковры, на полу собирались лужи.

Все это время Анна К. и ее сын тихо, как мыши, сидели в комнатухе под лестницей и не двину-

лись с места, даже когда почуяли дым, когда по коридору затопали тяжелые башмаки и кто-то заколотил в запертую дверь. Откуда им было знать, что шумят и кричат лишь на их улице, что бьют стекла лишь в нескольких соседних домах. Не смея шепнуть друг другу хоть одно слово, они сидели бок о бок на кровати и все больше утверждались в мысли, что в Си-Пойнт пришла настоящая война. На рассвете мать в конце концов задремала, а Михаэл все сидел и вслушивался, глядя на полоску серого света под дверью, стараясь дышать как можно тише. Едва мать начинала похрапывать, он тряс ее за плечо.

Так он и уснул, сидя на кровати и привалившись спиной к стене. Когда он проснулся, полоска света под дверью стала светлее. Он отпер дверь и, крадучись, шагнул в коридор. Весь пол был усыпан битым стеклом. У входной двери, спиной к нему, сидели в шезлонгах два солдата, глядя на дождь и серое море. К. скользнул обратно в материнскую комнатушку и лег спать на свой тюфяк в углу.

Позднее в тот же день обитатели «Лазурного берега» начали возвращаться и расчищать свои жилища или упаковывать вещи, а то просто стояли и смотрели на учиненный разгром и плакали. Когда перестал дождь, К. отправился в Грин-Пойнт в миссию святого Иосифа, где прежде без всяких расспросов можно было получить миску похлебки и койку на ночь и где он надеялся пристроить ненадолго мать, подальше от разоренного дома. Но гипсовая фигура святого Иосифа с бородой и посохом исчезла, бронзовая дощечка с ворот тоже, окна были закрыты ставнями. Михаэл постучался в соседнюю дверь, и ему послышалось, что скрипнули половицы, однако дверь не открыли.

Проезжая и проходя через город по пути на работу, К. ежедневно наблюдал множество бездомных и нищих, которые в последние годы заполнили центральные улицы; они попрошайничали, воровали, томилась в очередях у бюро по оказанию помощи безработным или просто сидели и грелись в коридорах учреждений, а на ночь укрывались в вонючих пакгаузах, в доках или в трущобах за Бри-стрит, куда полиция не отваживалась заглядывать. Всего за какой-нибудь год, еще до того, как власти установили контроль за передвижением людей, Кейптаун наводнили сельские жители, которые искали хоть какую-нибудь работу. Но ни работы, ни пристанища они не нашли. Если они с матерью вольются в это море голодных, думал К., на что им надеяться? Надолго ли хватит ему сил возить ее на тачке, прося на пропитание? Он бродил по городу весь день и вернулся, когда их комнатуха уже погрузилась во мрак. На ужин он сварил суп, загородив керосинку одеялом, чтобы огонек не привлек чье-нибудь внимание, открыл банку сардин, выложил на стол сухари.

Теперь мать с сыном уповали на разрешение — они сразу же уедут, как только его получат. Но почтовый ящик Бёрманнов, на адрес которых полиция должна была выслать разрешение, если она вообще намеревалась его выслать, был заперт, а самих Бёрманнов наутро после той страшной ночи, потрясенных и растерянных, увезли куда-то друзья; они не оставили даже записки, когда вернуться. Поэтому Анна К. велела сыну подняться к ним в квартиру и взять ключ от почтового ящика.

К. никогда прежде туда не заходил. Все было перевернуто вверх дном. В лужах воды, которую нагнали в окна порывы ветра, валялась опрокинутая и сломанная мебель, вспоротые матрацы, битое

стекло и посуда, горшки с увядшими цветами, вымокшие подушки и одеяла, коврики. На подметки башмаков К. налипла мука, кукурузные хлопья, сахар, кошачий кал, земля. В кухне лежал дверцей вниз холодильник, мотор у него все еще урчал, из петель дверцы сочилась желтая пена — на полу натекла уже большая лужа. Ряды банок и кувшинов будто смели с полок метлой, воняло прокисшим вином. На сверкающем белизной кафеле кто-то написал пастой для чистки духовок: «А шли вы!»

Михаэл уговорил мать пойти взглянуть на разгром. Она вот уже два месяца как не поднималась наверх. Со слезами на глазах мать стояла на хлебной доске, валявшейся в дверях гостиной.

— Почему они это сделали? — прошептала она. В кухню она не захотела заходить. — Такие приятные люди, — шептала она. — Прямо не знаю, как они это переживут.

Михаэл помог ей вернуться в их комнатушку. Она долго не могла успокоиться и все спрашивала, где же теперь Бёрманны и кто все приберет и вымоет, когда они вернутся.

Уложив мать в постель, Михаэл снова поднялся в разгромленную квартиру. Он поставил на место холодильник, вынул из него все, что там было, замел в угол осколки стекла, вытер лужи, сложил мусор в целлофановые пакеты и вынес их за входную дверь. Все, что было съедобного, он сложил отдельно. Гостиную он не стал прибирать, только пришилили занавески поперек зияющих оконных проемов. «Я это делаю не ради Бёрманнов, а ради матери», — сказал он себе.

Пока не вставят стекла, не снимут с пола ковры, от которых уже потянуло плесенью, хозяева не смогут здесь жить, это ясно. И все же до той минуты,

пока он не увидел ванную, ему и в голову не приходило поселиться в квартире.

— На одну-две ночи, не больше, — умолял он мать, — чтобы тебе выспаться спокойно одной. Пока мы не узнаем, как жить дальше. Я передвину кушетку в ванную. А утром поставлю все, как было. Обещаю тебе. Они ничего и не заподозрят.

Он втащил кушетку в ванную, застелил ее простынями и скатертями. Загородил окошко картоном и включил свет. Горячая вода шла, и он принял ванну. Утром он уничтожил все следы своей ночевки. Пришел почтальон. В ящик Бёрманнов он ничего не опустил. Моросил дождь. Михаэл вышел из дома и посидел под навесом автобусной остановки, глядя на дождь. К вечеру, когда стало ясно, что Бёрманны не вернуться и сегодня, он опять поднялся в их квартиру.

День за днем шел дождь. От Бёрманнов не было никаких известий. К. вымел на балкон застоявшуюся воду и прочистил стоки. Комнаты продувало ветром, но запах плесени все усиливался. Он убрал в кухне весь мусор с пола и снес пакеты вниз.

Теперь он проводил в квартире не только ночи, но и дни. В кухонном шкафу он обнаружил стопки журналов. Он лежал на кровати или в ванне и листал их, разглядывая красавиц и аппетитные кушанья. Кушанья привлекали его больше. Он показал матери картинку: поджаристый свиной окорок, обложенный вишнями и кружочками апельсина, а рядом стояла миска с малиной под сливками и пирог с крыжовником.

— Никто так больше не ест, — сказала мать. Он с ней не согласился.

— Свиньи не знают, что идет война, — сказал он. — Апельсины не знают, что идет война. Еда все так же растет. Кто-то должен ее есть.

Он отправился в общежитие, где жил, и заплатил сколько причиталось.

— Я уволился с работы, — сказал он служителю. — Мы с матерью едем в деревню, подальше от всех беспокойств. Вот ждем разрешения.

К. забрал свой велосипед и чемодан. Заехав на свалку, он купил метр стальной проволоки. Тачка с приделанным сиденьем стояла на том месте, где он ее оставил, — в проулке за домом; он все же остановился на первом своем проекте: взять колеса от велосипеда, а к ним приладить ящик — на такой коляске он сможет вывозить мать на прогулки. Колеса крутились хорошо, но слетали, и он никак не мог их закрепить. Он часами возился с ними, накручивал на ось валики из проволоки, делал зажимы, но ничего не получалось. Тогда он бросил эту затею. Что-нибудь со временем придумаю, сказал он себе, и оставил разобранный велосипед на полу в кухне Бёрманнов.

Среди вещей, разбросанных по гостиной, валялся транзистор. Стрелку заело в конце шкалы, батареи почти сели; он повозился с ним и бросил. Однако потом, роясь в кухонных ящиках, он нашел провод и включил транзистор в сеть. Теперь по вечерам он лежал в ванной и слушал музыку, которая доносилась из комнаты. Иногда она его убаюкивала. Утром он просыпался, а музыка все играла, или кто-то звучно говорил на языке, в котором он не понимал ни единого слова, только улавливал названия отдаленных мест: Уэйккерструм, Питерсбург, Кинг-Уильямс-таун. Иногда он ловил себя на том, что сам что-то напевает под музыку.

Журналы ему наскучили, и он начал просматривать газеты, которые были сложены под кухонной раковиной; газеты были такие старые, что он не мог припомнить тех событий, о которых там

сообщалось, хотя и узнавал некоторых футболистов. «КАМИСКРУНСКИЙ УБИЙЦА ПОЙМАН!» — сообщал заголовок в одной из газет, а под ним снимок: между двух застывших полицейских стоит мужчина в наручниках, в разодранной белой рубашке. Под тяжестью наручников он чуть наклонился вперед и опустил плечи, но смотрел в объектив, как показалось Михаэлу, со спокойной улыбкой, будто сделал то, что должен был сделать. Внизу был второй снимок: винтовка на ремне и подпись: «Оружие убийцы». К. приклеил газетную страницу с этой историей к дверце холодильника и потом, когда снова взялся возиться с колесами, нет-нет да поднимал вдруг голову и встречался взглядом с человеком из какого-то Камискруна.

От нечего делать он решил просушить намокшие Бёрманновские книжки, натянул через гостиную веревку, навесил на нее книжки, но они не сохли, и он потерял к ним интерес. Книги он вообще не любил, а эти были про военных и женщин со странными именами — одну, к примеру, звали Лавиния, — его все эти истории совсем не интересовали, но он все-таки разлепил слипшиеся листы нескольких альбомов с видами Ионических островов, Мавританской Испании, Страны Озер — Финляндии, Бали и других стран мира.

Но вот однажды утром дверь со скрипом отворилась, Михаэл К. вскочил и увидел четырех мужчин в комбинезонах; не сказав ни слова, они прошли мимо него и начали выносить из квартиры вещи. Он поскорее убрал с дороги велосипедные части. Мать, еле волоча ноги, в халате, выползла из своей комнатки и спросила у одного из мужчин, когда тот спустился с лестницы:

— А где же хозяин? Где мистер Бёрманн?

Мужчина пожал плечами и ничего не ответил. К. вышел на улицу и заговорил с водителем фургона:

— Вас послал мистер Бёрманн?

— Это ты про что? — удивился водитель.

Михаэл помог матери вернуться в постель.

— Вот чего я не возьму в толк, — сказала мать, — почему они меня-то не извещают? Что мне делать, если вдруг кто-нибудь постучится в дверь и скажет, чтобы я отсюда выметалась, что комната нужна ему для своей прислуги? Куда мне тогда идти?

К. долго сидел возле матери, слушал нескончаемые жалобы и гладил ее по руке. Потом взял велосипедные колеса, проволоку, инструменты, вынес все в проулок и расположился на солнышке — надо было все же что-то придумать, чтобы колеса не слетали с оси. Он провозился весь остаток дня; к вечеру он нанес ножовкой аккуратную резьбу по обжим концам поперечной оси, теперь можно было навесить на ось дюймовые гайки. Он навесил колеса, закрепил их гайками, оставалось лишь закрепить ось потуже проволокой, чтобы гайки держались на одном уровне, и проблема вроде была решена. За ужином он едва притронулся к еде и почти не спал в ту ночь — так не терпелось ему снова взяться за работу. Утром он разобрал настил от старой тачки и соорудил ящик с двумя боковинами и задней стенкой, к боковинам приделал две длинные ручки, ящик приладил на ось и крепко примотал проволокой. Получилось что-то вроде коляски рикши, только пониже и не такая устойчивая, но мать она, пожалуй, должна была выдержать; в тот же вечер, когда с северо-запада задул холодный ветер и на набережной остались только самые заядлые любители прогулок, он снова вывез свою матушку,

закутанную в пальто и одеяло, на прогулку, и на губах ее затеплилась улыбка.

Время пришло. Едва они вернулись домой, как он изложил матери свой план, который вынашивал с того дня, когда построил первую коляску. Они только попусту томятся тут, дожидаясь разрешения. Не придет это разрешение никогда. А без разрешения не посадят в поезд. Из комнаты их могут выдворить в любой день. Неужели же она, зная все это, не позволит ему отвезти ее в Принс-Альберт на коляске? Она ведь сама убедилась, какая коляска удобная. Сырая погода ей во вред, да и бесконечная тревога за будущее тоже не на пользу. В Принс-Альберте она быстро восстановит свое здоровье. Самое большее они будут в дороге два дня. Мир не без добрых людей, посадят в машину, довезут до самого места.

Он часами спорил с ней и так ловко все объяснял, что сам поражался своей находчивости. Как же она среди зимы будет спать под открытым небом? — возражала мать. Если повезет, отвечал он, они за один день доберутся до Принс-Альберта — туда ведь всего пять часов езды на машине. А если польет дождь? — спрашивала она. Он натянет над коляской непромокаемый полог, отвечал он. А если их задержит полиция? Да уж наверное у полиции есть дела поважнее, отвечал он, чем задерживать двух ни в чем не повинных людей, которые хотят всего лишь выбраться из переполненного города. «Да зачем это полиции нужно, чтоб мы прятались на ночевку по чужим верандам, просили милостыню на улицах и всем мешали?» Так убедительно он говорил, что в конце концов Анна К. сдалась, поставив, однако, два условия: он еще раз сходит в полицию и узнает, не пришли ли разрешения, и не будет ее

торопить, она хочет собраться в дорогу без спешки; Михаэл с радостью принял эти условия.

Наутро, вместо того чтобы ждать автобуса, который мог вообще не прийти, он пробежал легкой трусцой по шоссе от Си-Пойнта до самого центра, с удовольствием чувствуя, как крепки его мышцы, как ровно бьется сердце. К столу, где стояла табличка с надписью «Hervesting — Релокация», тянулась длинная очередь, и он только час спустя предстал перед женщиной в полицейской форме с настороженными глазами — инструктором по перемещениям.

К. протянул ей два железнодорожных билета.

— Я хочу узнать, не пришло ли разрешение, — спросил он.

Инспектор подтолкнула к нему два знакомых бланка.

— Заполните их и отдайте в комнату Е-пять. При себе иметь билеты с талонами на заказанные места. — Она перевела взгляд на мужчину, стоявшего за Михаэлом. — Слушаю...

— Погодите, — сказал К., стараясь удержать ее внимание. — Я уже заполнял такие бланки. Я только хочу узнать, не пришло ли уже разрешение?

— Сначала зарезервируйте места, потом получите разрешение! Вы зарезервировали места? На какое число?

— На восемнадцатое августа. Но моя мать...

— До восемнадцатого августа еще целый месяц! Если вы запросили разрешение и оно вам дано, получите его по почте. Следующий!

— Но об этом я и хочу справиться! Потому что, если не дали, мне надо решать по-другому. У меня больная мать...

Инспектор хлопнула ладонью по стойке.

— Не отнимай ты попусту время! В последний раз говорю: если разрешение дано, оно придет! Не видишь, какая очередь? Ты что, не понимаешь? Полоумный, что ли? Следующий!

Она облокотилась на стойку и поверх Михаэлова плеча демонстративно уставилась на очередь.

— Следующий! Да, ты!

Но К. не сдвинулся с места. Он тяжело дышал и не отводил от инспектора пристального взгляда. Она еще раз с неприязнью на него поглядела — жидкие усики не скрывали его вывернутую губу.

— Следующий! — опять крикнула она.

Назавтра, за час до рассвета, К. поднял мать и, куда она одевалась, нагрузил коляску: ящик застелил одеялами, а к спинке и боковинам положил подушки, чемодан подвесил к ручкам. Теперь над коляской был натянут черный пластиковый купол, и она стала похожа на высокую детскую коляску. Увидев ее, мать остановилась и покачала головой. «Не знаю, не знаю», — обронила она. Пришлось ее уговаривать; время шло; наконец она взобралась на сиденье. Коляска оказалась не такая уж большая, он только теперь это понял: мать она выдерживала, но ей приходилось сидеть чуть пригнувшись под куполом, к тому же было тесно, она не могла двинуть ни рукой, ни ногой. На колени ей он положил одеяло, на него — пакет с едой, керосинку, в отдельной коробке бутылку с керосином, а поверх всего еще кое-какую одежду. В окнах соседней квартиры зажегся свет. С шумом бились о скалы волны.

— Всего день-два, — зашептал он матери, — и мы на месте. Старайся поменьше двигаться из стороны в сторону. — Она кивнула, но рук от лица не отняла. Он наклонился к ней. — Ты хочешь остаться, ма? — спросил он. — Если хочешь, останемся.

Она покачала головой. Тогда он нахлобучил кепку, взялся за ручки и выкатил коляску на потонувшую в тумане дорогу.

Он выбрал самый короткий путь: мимо пустыря со старыми цистернами, к которому подступали выгоревшие внутри, разрушающиеся дома, мимо доков, где чернели коробки складов, в которых ютилась теперь городская шпана. Никто их не останавливал, прохожие, повстречавшиеся им в этот ранний час, даже не взглянули в их сторону. Все более и более удивительные повозки и тележки поехали по улицам: грузовая тележка с рулевым управлением; трехколесный велосипед, на задней оси которого один на другом были установлены ящики; ручная тележка с подвешенными под днищем корзинами; упаковочная клетка на колесиках; тачки всевозможных размеров. Осел, который по теперешним временам стоил восемьдесят рандов, с тележкой на резиновом ходу стоимостью в добрую сотню рандов.

К. выдерживал ровный шаг, останавливаясь через каждые полчаса, чтобы растереть занемевшие руки и размять плечи. Как только он усадил мать в коляску, он понял, что из-за тяжести впереди ось сместилась с центра, ушла назад. Теперь чем глубже усаживалась мать, стараясь устроиться поудобнее, тем тяжелее ему было везти коляску. Он старался все время улыбаться, чтобы мать ничего не заподозрила.

— Нам бы только выбраться на шоссе, — с трудом переводя дыхание, говорил он, — а там уже нас обязательно кто-нибудь подсадит.

К полудню они въехали в неприглядный заводской район Паарден-Эйланд. Двое рабочих, сидя на каменной стенке, жевали бутерброды; они молча глядели на проезжавшую мимо коляску. «ОПАСНАЯ

ЗОНА!» — предупреждала полустертая черная надпись на стене. Руки у К. совсем онемели, но он протащил коляску еще с полмили. Перед мостом через Черную речку он помог матери слезть с коляски и усадил ее на зеленый откос. Они позавтракали. Дороги были на удивление пустынные, это его озадачило. И такая вокруг тишина, что слышно, как поют птицы. Он лег навзничь в густой траве и закрыл глаза.

Разбудил его какой-то рокот. Сперва он решил, что это дальние раскаты грома. Однако рокот нарастал, волнами откатываясь от бетонных опор моста. Справа, со стороны города, на небольшой скорости приближались две пары мотоциклистов в полной военной выкладке, с винтовками за плечами, а за ними ехал броневик со стрелком в открытом люке. Далее следовала длинная колонна тяжелых грузовиков, в большинстве порожних. К. подполз по откосу повыше и сел рядом с матерью; они сидели бок о бок в страшном грохоте, от которого, казалось, затвердел воздух, и смотрели на машины. А они все ехали и ехали. В хвосте потянулись легковые автомобили, фургоны и пикапы, за ними проехал зеленый армейский грузовик с брезентовым верхом, под которым они разглядели сидящих в два ряда солдат в касках, потом еще четверка мотоциклистов.

Один из них — из первой пары — повернул голову и внимательно посмотрел на К. и его мать. И тут два замыкающих мотоциклиста отклонились от колонны и подъехали к обочине. Один остался у обочины, другой поднялся на откос.

— На трассе останавливаться запрещено, — подняв щиток шлема, сказал он и заглянул в коляску. — Ваша?

К. кивнул.

— Куда направляетесь? — спросил мотоциклист. К. хотел ответить, но из горла вырвался какой-то шепот, ему пришлось прокашляться и повторить:

— В Принс-Альберт. Это в Кару.

Мотоциклист присвистнул, легонько катнул коляску и что-то крикнул своему напарнику. Потом опять повернулся к К.

— Тут дальше по шоссе контрольный пункт. Остановишься и покажешь разрешение. У вас есть разрешение на выезд из города?

— Да.

— Выезд без разрешения запрещен. Отправляйся на контрольный пункт, предъявишь там разрешение и документы. И слушай меня внимательно: если вам захочется остановиться, отъезжай на пятьдесят метров в сторону. Можешь вправо, можешь влево, куда захочешь. Остановитесь ближе — будут стрелять без предупреждения. Понятно?

Михаэл кивнул.

Мотоциклисты вскочили в седла своих машин и с ревом умчались вдогонку за колонной. К. не отваживался взглянуть на мать.

— Надо было нам выбрать дорогу поспокойнее, — наконец сказал он.

Ему бы сразу повернуть обратно, но, страшась еще одного унижения, он помог матери усесться в коляске и докатил ее до старых ангаров, где и в самом деле стоял у дороги «джип», а три солдата кипятили на походной печке чай. Однако его просьбы были напрасны.

— Есть у тебя разрешение или нет? — допытывался капрал. — Плевать мне, кто ты такой и что с твоей матерью. Нет разрешения — выезд запрещен, и точка.

К. повернулся к матери. Она безучастно смотрела на молодого солдата из-под черного купола.

Капрал замахал на них руками.

— Не нужны мне из-за вас неприятности! — закричал он. — Сначала получите разрешение, тогда пропущу!

К. взялся за ручки коляски и покатил ее под арку; капрал проводил их взглядом. Одно колесо на коляске начало вихляться.

Уже опустилась ночь, когда они миновали светофор, от которого начиналась Бич-роуд. Автомобили, перегораживавшие шоссе во время недавних событий, оттащили на газоны. В двери комнатки под лестницей все еще торчал ключ. В ней все было так, как они оставили: тщательно прибранная, чистая, готовая к въезду нового жильца. Не сняв пальто и шлепанцев, Анна К. рухнула на голый матрац; Михаэл втащил их пожитки. Подушки намокли под дождем.

— Через день-другой мы попробуем снова, ма, — тихо сказал Михаэл.

Она качнула головой.

— Ма, разрешение не придет! — добавил он. — Попробуем еще раз, только теперь мы двинемся окольными дорогами. Не могут же они перекрыть все дороги.

Михаэл присел на краешек матраца, положил руку ей на плечо и сидел так, пока она не заснула; потом он поднялся наверх и проспал ночь в квартире Бёрманнов.

Два дня спустя, задолго до рассвета, они выехали с Си-Пойнта и двинулись дальше. Правда, уже не в том приподнятом настроении, что в первый раз. Теперь К. понимал, что им, может статься, придется провести в дороге не одну ночь. А мать и вовсе потеряла всякую охоту к дальним путешествиям. Она жаловалась на боли в груди и хмурая, точно застыв, сидела под пластиковым пологом, который К. при-

крепил спереди, чтобы дождь не заливал ей колени. Коляска ходко катилась по мокрому гудрону, только поскрипывали шины; на сей раз Михаэл выбрал другой маршрут: через центр, по Сэр Лаури-роуд, по Мейн-роуд, через пригород, по железнодорожному мосту через Моубрей, мимо бывшей детской больницы и дальше по старой Клипфонтейн-роуд. Здесь, возле поля для игры в гольф, у смятой провололочной изгороди, за которой лепились крытые жестью фанерные хибары, они сделали первую остановку. Когда они псели, К. стал на обочине, рядом с коляской, в надежде остановить попутную машину. Движенья на дороге почти не было. Проехали один за другим три грузовичка, с затянутыми сеткой фарами и стеклами. Потом запряженная гнедыми лошадьми с колокольцами в сбруе красивая повозка, полная детишек; они принялись хохотать и строить рожи, показывая пальцами на одиноких путников. Довольно долго не ехал никто, но вот наконец возле них притормозил грузовик, и шофер не только предложил подбросить их до цементного завода, но и помог К. погрузить в кузов коляску. Сидя в теплой, сухой кабине и следя краем глаза, как мелькают километровые знаки, К. тронул локтем мать, и она слабо улыбнулась ему в ответ.

Однако на этом и кончилось их везение в тот день. У цементного завода они простояли больше часа: пешеходы и велосипедисты текли волной, но машина проехала всего лишь одна — городской мусоровоз. Солнце клонилось к закату, ветер все большее сек лицо; К. выкатил коляску на дорогу и снова пустился в путь. «Может, так и лучше, — думал он, — ни от кого не зависеть». После первой поездки он сдвинул ось на два дюйма вперед, и теперь на ходу коляска была легче перышка. Вскоре

он обогнал человека с тачкой, нагруженной хворостом, и тот приветственно ему кивнул, когда они поравнялись. Мать сидела в своей маленькой темной кабинке, сдавленная высокими бортами, глаза у нее были закрыты, голова поникла.

За полмили до большой автострады К. остановился, помог матери выбраться из коляски и, оставив ее на обочине, углубился в заросли кустарника поискать место для ночевки. Сквозь облака проглядывала туманная луна. В этом первозданном хаосе сплетенных корней, влажной земли и гнилостных запахов не было даже малого клочка, защищенного от сырости и холода. Дрожа, он вернулся к дороге.

— Знаешь, там не очень приятно, — сказал он матери, — но что поделаешь, придется одну ночь перетерпеть.

Он спрятал в кусты коляску и, одной рукой поддерживая мать, а в другую взяв чемодан, повел ее в заросли. Они съели холодные бутерброды и расположились на подстилке из листьев, сквозь которую их одежду постепенно пропитывала сырость. В полночь заморосил дождь. Они прижались друг к другу под чахлым деревцем, подняв над головами одеяло, а дождик все шел и шел. Когда одеяло намокло, Михаэл пополз на четвереньках к коляске и стянул с нее пластиковый пол. Он приклонил голову матери на свое плечо — она дышала с трудом, частыми хриплыми вздохами. Только теперь он понял, почему она перестала жаловаться: она, видно, совсем измучилась или ей стало все безразлично.

Он намеревался пуститься в дорогу пораньше, до того, как рассветет, чтобы дойти до поворота на Стелленбос и Парл. Но на рассвете мать все еще спала, привалившись к его боку, и ему не захотелось ее будить. Потеплело, и он сам не мог одолеть дре-

моту. Когда он наконец вывел мать к дороге, было уже часов десять. Здесь, пока они укладывали в коляску намокшие одеяла, к ним пристали двое прохожих; наткнувшись в пустынном месте на искудавшего парня и старуху, эти двое решили, что их можно безнаказанно обобрать. Чтобы все было ясно, один из грабителей показал К. большой нож, вытряхнув его из рукава на ладонь, а второй в это время уже схватился за чемодан. Но в то мгновение, когда блеснул нож, К. понял, что он снова будет сейчас унижен на глазах у матери, он представил себе, как потащится с коляской назад, в комнатенку на Си-Пойнте, и будет сидеть там на матраце в углу день за днем, заткнув уши, чтобы не слышать молчания матери. Он сунул руку в коляску и выхватил оттуда свое единственное оружие — обрезок от оси длиной в полметра. Размахивая им над головой и прикрыв левой рукой лицо, он шагнул к парню с ножом, и тот отпрянул назад, а мать оглашала воздух пронзительными криками. Грабители отступили. Молча, с пылающими яростью глазами, не выпуская из руки обрезок оси, К. водворил на место чемодан, помог трясущейся матери взобраться на коляску; грабители выжидали метрах в двадцати. Но вот он выкатил коляску на шоссе и постепенно стал отдаляться от них. Какое-то время парни еще преследовали их, и тот, что был с ножом, выкрикивал угрозы и ругательства. Потом, так же неожиданно, как и появились, они исчезли в кустах.

Машин на шоссе не было, но по его середине, там, где обычно никто не ходит, шло много нарядно одетых людей. По обочинам тянулись густые заросли высоких, в рост человека, сорняков; асфальт на дороге потрескался, в трещинах пробивалась трава. К. поравнялся с тремя девочками, сестричками,

одетыми в одинаковые розовые платьица, — они шли в церковь. Девочки заглянули в коляску к миссис К. и завели с ней разговор. До самого поворота на Стелленбос старшая девочка шла рядом с коляской и держала миссис К. за руку. Прощаясь, миссис К. вынула кошелек и дала каждой девочке по монетке.

Девочки рассказали им, что по воскресеньям военные колонны не ездят, однако на Стелленбосском шоссе мимо них потянулась вереница фермерских грузовиков во главе с затянутым тяжелой ячеистой сеткой фургоном, у заднего борта которого, в открытом проеме, стояли два солдата с автоматами наперевес.

К. поспешно съехал на обочину. Люди с любопытством глазели на коляску, а дети показывали пальцами и что-то выкрикивали. К. не расслышал, что они кричали.

По обе стороны от шоссе раскинулись пустые, с оголенными лозами виноградники. В небе вдруг возникла стайка воробьев, словно материализовалась из воздуха, и расселась по кустикам вокруг, потом воробьи так же разом вспорхнули и унеслись. Издалека донесся колокольный звон.

Михаэлу почему-то вспомнился приют: он сидит на койке в лазарете, шлепает ладонью по подушке и смотрит, как пляшут в солнечном луче пылинки.

Уже стемнело, когда он на исходе сил дотащился до Стелленбоса. Улицы были пусты, задул холодный порывистый ветер. Он не представлял себе, где они устроятся на ночь. Мать кашляла и после приступа никак не могла отдышаться. Он остановился у первого же кафе и купил пирожков с мясом. Съел сразу три, мать один. Она совсем потеряла аппетит.

— Может, обратиться к врачу? — спросил он.

Она покачала головой и похлопала себя по груди.

— Горло совсем пересохло, — сказала она, — а так ничего.

Похоже, она рассчитывала завтра или послезавтра добраться до Принс-Альберта, и он не стал ее разочаровывать.

— Запомню я, как называлась наша ферма, — сказала она, — но можно поспрашивать, люди ведь помнят. Там был длинный загон у курятника, а на взгорке — насос. Жили мы в домике на косогоре. У заднего крыльца росла дикая груша. Это место ты и ищи.

На ночь они устроились в каком-то проулочке; Михаил расправил картонные коробки и постелил их на земле. Одной длинной полосой загородил их ложе с подветренной стороны, но ветер задувал поверх картона. Мать кашляла всю ночь напролет, и он совсем не спал. Один раз по улице медленно проехала патрульная машина, и ему пришлось зажать матери рот рукой.

Едва рассвело, он усадил мать в коляску. Голова у нее совсем поникла, и, видно, она не понимала, где находится.

Михаэл остановил первого попавшегося прохожего и спросил, как проехать в больницу. Анна К. уже не могла держаться прямо, она валилась вперед, и Михаил с трудом удерживал коляску.

— Ужасно пересохло горло, — еле слышно шептала она, а сама то и дело отхаркивалась.

В больнице он посадил мать на скамью, сам сел рядом и держал ее, покуда до них не дошла очередь и ее не увезли. Когда он отыскал ее немного погодя, она лежала на каталке, посреди целого моря каталок, без сознания, с трубкой в носу. Не зная, что предпринять, он ходил взад-вперед по коридору, пока его

не выдворили. Вторую половину дня он провел на больничном дворе, греясь в слабых лучах зимнего солнышка. Дважды он прокрадывался в коридор, где стояли каталки, посмотреть, не увезли ли мать. На третий раз он на цыпочках подошел к матери и склонился над ней. Ему показалось, что она не дышит. Сердце у него сжалось от страха, он подбежал к сестре за столиком и потянул ее за рукав.

— Скорее, прошу вас! Посмотрите на нее! — срывающимся голосом проговорил он.

Сестра стряхнула его руку.

— Это еще что! — прошипела она.

Но все-таки пошла за ним к каталке и, глядя куда-то в пространство, стала прощупывать у матери пульс. Потом, без единого слова, вернулась за столик. К. стоял возле нее, как безгласный пес, покуда она что-то записывала. Наконец она повернулась к нему.

— А теперь послушай меня, — сдавленным шепотом заговорила она. — Видишь ты, сколько здесь людей? — Она показала на коридор и палаты. — И все ждут, когда я к ним подойду. Мы по двадцать четыре часа в сутки тут с ними возимся. А когда я сдаю дежурство... нет, ты не уходи, ты выслушай меня! — Теперь она тянула его за рукав и почти кричала ему в лицо, а в глазах ее стояли слезы: — Когда я сдаю смену, я такая вымотанная, что даже есть не могу, валюсь спать, не сняв туфель. Ты видишь — я тут одна! Не двое, не трое — одна. Понимаешь ты? Неужели это так трудно понять?

К. отвел глаза.

— Извините, — пробормотал он, не найдясь, что ответить; он снова побрел во двор.

Чемодан остался при матери. Денег у него не было, только какая-то мелочь — сдача от вчерашних пирожков. Он купил пончик и напился воды из-под

крана. Потом побрел по улицам, разгребая ногами толстый слой опавшей листвы. Зашел в парк и посидел на скамейке. Сквозь голые ветви просвечивало бледно-голубое небо. Белка заверещала у него над головой, и он вскочил. Он вдруг забеспокоился, как бы не украли коляску, и заспешил обратно в больницу. Коляска стояла на том месте, где он ее оставил. Он вынул из нее одеяла, подушки и керосинку, потом сложил все обратно — девать их было некуда.

В шесть заступила новая смена, и он решил проникнуть в отделение. Матери в коридоре не было. Он спросил у дежурной сестры, где она, и та направила его в дальнее крыло больницы, но там никто не мог ему ничего сказать. Он вернулся к дежурной, и она велела ему прийти утром. Он спросил, можно ли ему переночевать на скамейке в холле, и получил отказ.

Спал он в проулке, сунув голову в картонную коробку. Ему приснился сон: с большим пакетом гостинцев мать приехала навестить его в приют «Норениус». «Коляска катится так медленно, — сказала она ему во сне, — принц Альберт вышел навстречу, он заберет меня». Пакет был на удивление легким. Михаэл проснулся такой заледеневший, что не мог шевельнуть ногой. Часы вдалеке пробили три, а может, четыре удара. На ясном небе сияли звезды. Как ни странно, сон не оставил тяжести у него на душе. Завернувшись в одеяло, он сперва походил по проулку, потом вышел на улицу и стал разглядывать затененные витрины магазинов, где за ромбовидными ячейками решетки манекены демонстрировали весеннюю моду.

Когда наконец его впустили в больницу, мать — уже не в черном пальто, а в белой больничной рубашке — лежала в женской палате. Глаза у нее

были закрыты, из ноздри тянулась вчерашняя трубка. Рот у матери запах, лицо заострилось, даже кожа на руках, казалось, покрылась морщинами. Он сжал ее руку, но она не шевельнулась в ответ. Койки в палате стояли в четыре ряда, так тесно, что между ними едва можно было протиснуться; сесть было не на что.

В одиннадцать санитарка принесла чай и галету на блюдечке и поставила возле материнской койки. Михаэл приподнял матери голову и приложил кружку к губам, но она не стала пить. Он долго ждал, чай стыл, в животе у него урчало. Потом, когда санитарка стала собирать кружки, залпом выпил чай и проглотил галету. На спинке койки висел температурный лист; Михаэл долго его разглядывал, но так и не понял, относятся эти цифры к его матери или к кому-то другому.

Он вышел в коридор, остановил мужчину в белом халате и спросил, не найдется ли для него в больнице какая-нибудь работа.

— Денег мне не нужно, — сказал он, — просто хочу что-то делать. Подметать полы или еще что. Убирать в саду.

— Спроси в канцелярии на первом этаже, — ответил мужчина и прошел мимо. К. так и не нашел эту канцелярию.

Во дворе с ним заговорил какой-то больной.

— Лег сюда заячью губу зашивать? — спросил он.

К. покачал головой. Больной с сомнением посмотрел на него. Потом рассказал ему длинную историю про то, как на него наехал трактор и раздробил ему ногу и бедро, а доктора вставили ему в кости гвозди, серебряные гвозди, которые никогда не заржавеют. Ходил он, опираясь на странно изогнутую алюминиевую палку.

— Где бы мне поесть? — спросил К. — Со вчерашнего дня не ел.

— Слушай, приятель, — живо откликнулся мужчина, — купи-ка ты нам обоим по пирогу. — И дал К. монету.

К. сходил в булочную и принес два горячих пирога с курятиной. Он сел на скамейку рядом со своим новым другом и начал есть. Пирог был такой вкусный, что у К. выступили слезы на глазах. Человек с палкой рассказывал, какая вдруг на его сестру нападает трясушка. К. слушал, как поют птицы в ветвях, и все пытался вспомнить, было ли ему когда-нибудь в жизни так хорошо, как сейчас.

Он провел возле матери час днем и еще один час вечером. Лицо у нее посерело, дыхание еле теплилось. Один раз челюсть у нее двинулась: К. смотрел, как загипнотизированный, на струйку слюны, которая вытекла из ее сморщенных раздвинувшихся губ. Мать как будто что-то шептала, но он не мог разобрать. Сестра, которая пришла его выпроваживать, сказала, что матери впрыскивают снотворное.

— Зачем это? — спросил К.

Едва сестра отошла, К. выпил чай, который стоял возле матери и возле старухи на соседней койке, — залпом, как шkodливый пес.

Придя в проулок, где он проспал прошлую ночь, он обнаружил, что его картонные коробки исчезли, — видно, кто-то их выбросил. Этой ночью он спал в подъезде какого-то дома, у двери. На медной дощечке над своей головой он прочел: «Ле Ру и Хаттинг — юристы». Проехавшая мимо полицейская машина разбудила его, но он заснул снова. Озяб он меньше, чем прошлой ночью.

На койке, где вчера лежала его мать, он увидел другую женщину, с забинтованной головой. К. стоял

в ногах и глядел на нее. Может быть, я спутал палату, подумал он. Он подошел к сестре.

— Моя мать... она вчера тут лежала...

— Спроси вон за тем столом, — сказала сестра.

— Ваша мать этой ночью скончалась, — сказала ему женщина-врач. — Мы сделали все, что могли, чтобы спасти ее, но она была очень слаба. Вы не оставили номера вашего телефона — мы хотели с вами связаться.

Михаэл бессильно опустился на стул в углу.

— Вы сделаете вызов по телефону? — спросила докторша.

Это, конечно, что-то означало, но Михаэл не понял, что именно. Он покачал головой.

Кто-то принес ему кружку с чаем, и он выпил. Над ним склонялись какие-то люди, и от этого он нервничал. Сжав ладони, он устался на свои ноги. Должен ли он что-то сказать? Он разнял руки, снова их сжал, опять разнял, опять сжал.

Его повели вниз посмотреть на мать. Она лежала, вытянув руки по бокам, в больничной рубашке с надписью на груди. Трубку из носа убрали. Он смотрел на нее, потом стал мучительно соображать, куда ему отвести взгляд.

— Еще какие-то родственники у нее есть? — спросила дежурная сестра. — Хочешь им позвонить? Или хочешь, чтоб позвонили мы?

— Ничего не нужно, — ответил К. Он отошел от стола и опять сел на стул в углу.

Его оставили в покое, а в обед принесли поднос с больничной едой, и он ее съел.

Потом к нему подошел мужчина в костюме и галстуке и заговорил с ним. Он должен сообщить полное имя матери, ее возраст, местожитительство, вероисповедание. По какому делу она приехала

в Стелленбос? У него ли находится разрешение на выезд?

— Я вез ее на родину, — ответил К. — Она жила в Кейптауне, там холодно, все время дождь, это было вредно для ее здоровья. Я вез ее туда, где ей стало бы лучше. Мы не собирались останавливаться в Стелленбосе. — Тут он забеспокоился, что говорит много лишнего, и больше на вопросы не отвечал. В конце концов мужчина перестал спрашивать и ушел. Потом немного погодя возвратился, присел перед ним на корточки и спросил:

— А ты сам находился когда-нибудь в психиатрической больнице, или в заведении для дефективных, или в каком-нибудь приюте? Тебе когда-нибудь платили жалованье?

К. не отвечал.

— Подпишись вот здесь, — сказал мужчина и протянул бумагу, указывая место, где поставить подпись.

Но К. покачал головой, и мужчина подписал бумагу сам.

Застушила ночная смена, и К. побрел на автостоянку. Он ходил взад-вперед и смотрел на ясное ночное небо. Потом вернулся в больницу и сел на свой стул в углу. Никто его не выгонял. Позднее, когда все ушли, он спустился вниз, чтобы найти мать. Но не смог ее найти, а может, дверь в то помещение была закрыта. Он забрался в большой проволочный ящик, где лежало грязное белье, свернулся калачиком и проспал там до утра.

На второй день после смерти матери к нему подошла медсестра, которую он прежде никогда не видел.

— Пойдем, Михаэл, все готово, — сказала она.

Он последовал за ней к столу в холле. Там его дожидался материн чемодан и два коричневых свертка.

— Одежда и все вещи твоей покойной матери в этом чемодане, — сказала незнакомая сестра. — Можешь его забрать. — Она была в очках и говорила таким ровным голосом, будто читала по бумажке. К. заметил, что девушка, которая сидела за столом, краем глаза следит за ними. — Вот в этом свертке, — продолжала сестра, — прах твоей матери. Сегодня утром ее кремировали, Михаэл. Мы можем захоронить прах или выдать тебе — решай сам. — Она вопросительно коснулась ногтем свертка, в котором был прах. Оба свертка были аккуратно перевязаны коричневой тесемкой; тот, что с прахом, был поменьше. — Хочешь, чтоб мы взяли это на себя? — спросила она и легонько провела по свертку пальцем.

К. покачал головой.

— А вот сюда, — продолжала сестра, решительно подвинув к нему второй свертки, — мы положили кое-какие вещи, которые могут тебе пригодиться, — одежду и бритвенные принадлежности.

Она ласково посмотрела ему в глаза и улыбнулась. Девушка за столом снова застучала на машинке.

Значит, здесь есть место, где сжигают, подумал К. Он представил старух из палаты, которых одну за другой суют в огнедышащую печь: глаза у них закрыты, губы сжаты, руки вытянуты по бокам. Сначала занимают волосы — вспыхивают ярким венцом, а чуть погодя и все остальное, все горит, рассыпается в прах. Печь пылает, и туда все время кого-то суют.

— Но откуда я знаю? — сказал он.

— Что знаешь? — спросила сестра.

Он резким движением руки указал на свертки.

— Откуда я знаю? — с вызовом повторил он.

Она не захотела ему ответить или не поняла, что он от нее добивается.

Выйдя во двор, он развязал сверток, тот, что побольше. В нем лежали безопасная бритва, кусок мыла, полотенце, белая куртка с нашивками на плечах, черные брюки и черный берет с блестящей кокардой, на которой было написано: «Св. Иоанн. Скорая помощь».

Он протянул одежду девушке за столом. Сестра в очках куда-то исчезла.

— Почему вы мне это даете? — спросил он.

— А что вы меня спрашиваете? — сказала девушка. — Наверно, кто-то оставил... — Она не смотрела ему в лицо.

Он выбросил мыло и бритву, хотел было выбросить и куртку с брюками, но раздумал. Его собственная одежда начала пахнуть.

Ничто его теперь здесь не держало, но он никак не мог заставить себя уйти из больницы. Днем он бродил со своей коляской по соседним улицам. Ночью спал под мостами, под живыми изгородями в проулках. Ему было странно видеть, как дети катят на велосипедах домой из школы, трезвоня что есть силы, обгоняя друг друга; странно видеть, что люди едят и пьют, как обычно. Он пробовал искать работу, походил поспрашивал по соседним домам, не нужен ли садовник, но скоро потерял всякую охоту, он весь сжимался, когда хозяйева открывали перед ним дверь — с такой безразличностью они смотрели на него; впрочем, разве они обязаны его жалеть? Если шел дождь, он забирался под коляску. В иные дни он подолгу сидел и разглядывал свои руки, без единой мысли в голове.

Потом прибил к группе мужчин и женщин, которые спали под железнодорожным мостом,

а днем обретались на пустыре за винной лавкой на Андринга-стрит. Случалось, он одалживал им коляску. В порыве великодушия давал даже пользоваться керосинкой. Потом, ночью, когда он спал, кто-то попытался вытащить у него из-под головы чемодан. Он бросился на вора с кулаками, а наутро ушел от этих людей.

Как-то возле него остановилась полицейская машина, и двое полицейских обыскали его коляску. Раскрыли чемодан и стали в нем рыться. Потом развязали тесемку на свертке. В нем была коробка, а внутри нее полиэтиленовый пакет с темным, серым пеплом. К. увидел его впервые. Он отвел глаза в сторону.

— Что это? — спросил полицейский.

— Прах моей матери, — сказал К.

Полицейский с сомнением перебросил пакет из одной руки в другую и сказал что-то своему напарнику. К. не разобрал что.

В иные дни он часами стоял на тротуаре против больницы. Теперь она казалась ему меньше, чем прежде, просто длинное низкое строение с красной черепичной крышей.

Он перестал следить за комендантским часом. Что они с ним сделают? А хоть и сделают, не все ли равно? В новой одежде — белая куртка, черные брюки и берет — он расхаживал со своей коляской всюду, где хотел. Временами у него начинала кружиться голова. Он чувствовал себя слабее, чем прежде, но это была не болезнь. Ел он один раз в день, покупал булочку или пирожок, беря деньги из материнского кошелька. Приятно было тратить деньги, не зарабатывая их; его не заботило, что они исчезают так быстро.

Он оторвал черную полосу от подкладки материнского пальто, обвязал ею рукав куртки. Но он

не тосковал по матери, он это понял, во всяком случае, не больше, чем всю свою жизнь.

Заняться было нечем, и он все больше и больше спал. Он обнаружил, что может спать где угодно, в любое время и в любом положении: среди бела дня на тротуаре, когда люди шли мимо и переступали через него; стоя, прислонившись к стене, зажав чемодан между ног. Сон окутывал его голову милосердным туманом: у него не было никакого желания бодрствовать. Сны ему не снились вовсе — никто не снился и ничего не снилось.

Однажды исчезла коляска. Он тут же о ней забыл.

Так надо было — он должен был прожить в Стелленбосе какой-то срок. И его никак нельзя было уменьшить. День тянулся за днем, он брел по ним и не знал, куда бредет.

Одним хмурым туманным утром он, как не раз бывало, с чемоданом в руке шел по Банхук-роуд. Позади зацокали копыта, пахнуло конским навозом, и его медленно нагнала телега — старая зеленая муниципальная телега, на которой стояли мусорные контейнеры без крышек; телегу тянул старый битюг, а правил старик в черном клеенчатом плаще. Какое-то время они двигались рядом. Старик кивнул К., и тот, поколебавшись с минуту, взгляделся в туманную даль и, поняв, что ничего его больше здесь не удерживает, взобрался на телегу и сел рядом со стариком.

— Спасибо, — сказал К. — Может, вам нужно помочь — я помогу.

Но старик не нуждался в помощи, да и разговаривать был не склонен. Они выехали из города и проехали еще целую милю, потом старик ссадил К., а сам свернул на грязный проселок. К. шел весь день, а ночь проспал в эвкалиптовой роще; высоко

над его головой шумел в ветвях ветер. К середине следующего дня он вышел к Паарлу, обогнул его стороной и двинулся по шоссе на север. Остановился он только, когда увидел первый контрольный пункт, и подождал в укрытии, пока не убедился, что пешеходов не задерживают.

Несколько раз мимо него проезжали автоколонны с вооруженной охраной. Он сходил с дороги и стоял на виду, даже не делая попытки укрыться, выставив напоказ руки, как, он видел, делали другие путники.

Ночь он проспал на обочине и проснулся весь мокрый от росы. Дорога впереди поднималась в гору, теряясь в тумане. Порхая с ветки на ветку, негромко щебетали птицы. Он нашел палку, повесил на нее чемодан и перекинул через плечо. Два дня он ничего не ел; похоже, он мог голодать бесконечно.

Он прошел примерно с милю, и вот в тумане замерцал огонек и послышались чьи-то голоса. Подойдя поближе, почуял запах жарившегося бекона, и у него засосало под ложечкой. Несколько мужчин грелись у костра. Когда он подошел поближе, они смолкли и уставились на него. Он коснулся рукой берета, приветствуя их, но никто ему не ответил. Он прошел дальше, миновал второй придорожный костер, машины, которые стояли с зажженными фарами, утыкаясь одна в другую, и только тогда ему открылась причина остановки. Поперек дороги лежал на боку небесно-голубого цвета фургон с прицепом, задние его колеса повисли над краем кювета. Кабина у него была выжжена изнутри, кузов почернел от копоти. На фургон налетел грузовик, груженный мешками с мукой — на дороге белели мучные горки. За поворотом, сколько хватал глаз, тянулся хвост колонны. Громко играли два радио-

приемника, будто станции старались перекричать друг друга; откуда-то издалека доносилось жалобное бляение овец. К. хотел было набить карманы просыпавшейся мукой, но потом подумал: а что он с ней будет делать? Он шел мимо машин, прошел мимо тягача с овцами — их так плотно набили, что некоторые вздыбились на задних ногах; прошел мимо группы солдат, расположившихся вокруг костра; они и не посмотрели в его сторону. За последней машиной ярко горели два сигнальных огня, а еще дальше на середине дороги без всякого присмотра пылал в бочке деготь.

Колонна осталась позади, и К. облегченно вздохнул, радуясь, что никто его не задержал, однако за следующим поворотом из кустов выступил солдат в маскировочной одежде и устави́л ему в грудь автомат. К. остановился. Солдат опустил автомат, закурил сигарету, затянулся и снова вскинул автомат. «Теперь, — подумал К., — он целится мне в лицо или в горло».

— Ты кто такой? — спросил солдат. — И куда это ты направляешься?

К. хотел ответить, но солдат оборвал его.

— А ну давай показывай, — крикнул солдат. — Ну-ка, покажи, что там у тебя?

От колонны их не было видно, хотя музыка сюда доносилась. К. снял чемодан с плеча и раскрыл его. Солдат махнул ему, чтобы он отошел, затушил сигарету и одним рывком перевернул чемодан. Все вывалилось на дорогу: голубые войлочные шлепанцы, белое трико, розовая бутылочка с лосьоном, коричневый флакон с пилюлями, желтовато-коричневая пластмассовая сумочка, цветастый шарф, шарфик с фестонами, черное шерстяное пальто, шкатулка с украшениями, коричневая юбка, зеленая блузка,

туфли, еще белье, бумажные пакеты, белый полиэтиленовый пакет, жестянка из-под кофе, в которой что-то звякнуло, тальк, носовые платки, письма, фотографии, коробка с пеплом. К. не шевельнулся.

— Где ты все это украл? — спросил солдат. — Ты ворюга, да? Наворовал и удираешь в горы? — Он ткнул башмаком в сумочку. — А ну, открой! — сказал он. Потом ткнул в шкатулку, в кофейную жестянку и в коробку. — Давай, давай, показывай, — сказал он и отступил в сторону.

К. открыл кофейную жестянку. Там лежали кольца от занавесок. Он подержал их на ладони, потом ссыпал обратно в жестянку и закрыл ее. Открыл шкатулку и протянул ее солдату. Сердце у К. громко забилося в груди. Солдат порывлся там, вынул брошку и отступил. К. закрыл шкатулку. Он раскрыл сумочку и протянул ее солдату. Тот знаком показал ему, чтоб он высыпал все на землю. В сумочке были носовой платок, расческа и зеркальце, прессованная пудра и два кошелька. Солдат показал на них, и К. отдал ему кошельки. Солдат сунул их в карман куртки.

К. облизнул губы.

— Это не мои деньги, — хрипло сказал он. — Это деньги моей матери, она их заработала. — Он сказал неправду: мать его умерла, она уже не нуждалась в деньгах. И все же... Солдат ничего не ответил. — Зачем война идет, как ты считаешь? — спросил К. — Чтобы отбирать у людей деньги?

— Зачем война идет, как ты считаешь? — кривя рот, передразнил его солдат. — Поосторожнее, ворюга! Думай, что говоришь. Ты Бога благодари, а то валяться бы тебе в кустах на радость мухам. А еще толкуешь тут про войну! — Он ткнул дулом автомата в коробку с пеплом. — Открывай! — приказал он.

К. отодвинул на коробке крышку и протянул коробку солдату.

Тот уставился на полиэтиленовый пакет.

— Это что такое? — спросил он.

— Пепел, — ответил К. Голос у него стал спокойнее.

— Раскрой его, — сказал солдат.

К. раскрыл пакет. Солдат взял щепотку пепла и осторожно понюхал.

— Господи помилуй! — сказал он. Глаза его встретились с глазами К.

К. опустил на колени и сложил материнские вещи обратно в чемодан. Солдат стоял рядом.

— Теперь мне можно идти? — спросил К.

— Документы в порядке, — можешь идти, — сказал солдат.

К. вскинул палку с чемоданом на плечо.

— Минутку, — сказал солдат. — Ты что, работаешь на скорой помощи?

К. покачал головой.

— Эй, погоди-ка, — сказал солдат. Он достал из кармана один кошелек, вытянул из пачки денег коричневую десятку и швырнул ее К. — Вот тебе чаевые, — сказал он. — купишь себе мороженого.

К. шагнул назад и подобрал бумажку. Потом пошел по дороге. Через минуту-другую солдат растаял в тумане.

Нет, он не струсил, думал он. Но все же немного погодя его осенило, что теперь ему нет смысла тащить чемодан. Он поднялся на откос и спрятал чемодан в кустах, оставив у себя только черное пальто, чтобы укрываться им, и коробку с пеплом; крышку чемодана он закрывать не стал — пусть льет туда дождь, пусть палит солнце, пусть, если хотят, заползает насекомые.

Встречные транспорты, как видно, придержали — на шоссе, кроме него, никого не было. Под вечер вдали показался туннель, уводящий дорогу под гору; у входа в туннель стоял постовой. Сойдя с дороги, Михаэл поднялся на откос и стал пробираться сквозь мокрый густой кустарник; в сумерки он оказался на высокой седловине, откуда открывался вид на Эланд-ривер и шоссе, идущее на север. Где-то вдалеке перекликались обезьяны. Ночь он проспал под выступом скалы, завернувшись в материнское пальто и положив рядом с собой палку. На рассвете он снова тронулся в путь и сделал большую петлю на спуске в долину, чтобы обойти стороной мост. По шоссе проехала первая колонна.

Весь день он шел, держась по возможности в стороне от дороги. Переночевал в бунгало у поросшей высокой травой площадки для игры в регби, отгороженной от дороги шеренгой эвкалиптов. Окна в бунгало были разбиты, дверь сорвана. Пол был усеян битым стеклом, валялись старые газеты, на них лежали опавшие листья; в щели стен проросла бледно-желтая трава, под трубами водопровода лепились улитки; но крыша оказалась целой. Он сгреб в угол листья, постелил на них газеты, но спал беспокойно — порывы ветра и ливень будили его.

Когда он поднялся, дождь все еще шел. От голода кружилась голова. Он встал на пороге и обвел взглядом напитанные влагой зеленые луга и мокрые деревья, туманные седые холмы вдали. С час он ждал, не утихнет ли дождь, потом поднял воротник пальто и выскочил прямо под ливень. В дальнем конце площадки он перелез через изгородь из колючей проволоки и вступил в яблоневый сад, заросший травой и бурьяном. Под ногами валялись источенные червяком яблоки, а те, что висели на

ветках, перезрели и подгнили. Черное пальто облепило его точно кожа, берет размок и сполз на уши, а он все стоял под яблонями, выкусывал чистую мякоть и, глядя перед собой невидящим взглядом, быстро, как кролик, жевал.

Он уходил все глубже и глубже в сад. Повсюду царило запустение. Ему уже начало казаться, что это — покинутая всеми земля, но тут яблони кончились, и перед ним открылся возделанный участок земли, за которым он разглядел кирпичные строения и рядом тростниковую крышу и белые стены фермерского дома. По участку тянулись аккуратные ряды овощей: цветная капуста, морковь, картофель. Он вышел под проливной дождь и, опустившись на четвереньки, стал дергать из размякшей земли желтую мелкую морковку. «Это божья земля, я не вор», — думал он. И ждал: вот-вот из заднего окна дома щелкнет выстрел и к нему помчится огромная овчарка. Набив карманы морковкой, он со страхом выпрямился. Он хотел было забрать ботву с собой и разбросать под деревьями, но оставил ее на грядке.

Ночью дождь перестал. Утром, в промокшей насквозь одежде, К. снова тронулся в путь; живот у него от яблок и моркови вздулся и болел. Заслышав шум моторов, он скрывался в кустах, хотя ему казалось, что теперь, в грязной одежде, исхудавший, он стал похож на бродягу из глубинки, который и понятия не имеет, что нужны какие-то документы; безразличный, вялый бродяга, кому он страшен? Одна из колонн, сопровождаемая эскортом мотоциклов — броневики и грузовики с молодыми солдатами в касках, — ехала мимо него целых пять минут. Он, затаясь, смотрел из своего укрытия; пулеметчик с последней машины, закутанный в шарф, в защитных очках и шерстяной кепке, казалось,

на мгновение заглянул ему прямо в глаза, но машина покатила его дальше в Боланд, в ту сторону, откуда шел Михаэл. Спал он под мостом. Утром впереди показались трубы Вустера. Теперь он был не один на шоссе — рядом, в одиночку и группами, шли люди. Быстрым шагом его обогнали три молодых парня, оставляя за собой белые облачка дыхания.

На окраине города дорогу перекрыл полицейский патруль — первый после Паарла; вокруг полицейских машин толпились люди. На мгновение К. заколебался. Слева начинались дома, справа был кирпичный завод. Единственный путь к спасению — назад; он шагнул вперед.

— Что им надо? — шепотом спросил он женщину впереди него.

Она поглядела на него и, не ответив ни слова, отвернулась.

Подошла его очередь. Он протянул свою зеленую карточку.

Впереди, там, где стояли два грузовика, он видел тех, кто уже прошел проверку, но сбоку стояла группа мужчин — одни мужчины, — которых охранял полицейский с собакой. «Если я прикинусь дурачком, — подумал он, — может, меня пропустят».

— Откуда?

— Из Принс-Альберта. — Во рту у него пересохло. — Иду домой в Принс-Альберт.

— Разрешение.

— Я его потерял.

— Ясно. Подожди вот тут. — Полицейский показал дубинкой в сторону.

— Мне нельзя ждать, я тороплюсь, — прошептал К.

Может, они учуяли его страх? Кто-то схватил его за руку. Он уперся, как бык перед бойней. Рука из

очереди позади него протянула зеленую карточку. Никто его не слушал. Полицейский с собакой нетерпеливо замахал на него, кто-то толкнул его в спину. Последние шаги К. прошел сам и вступил в неволю; его товарищи по несчастью подались в стороны, как будто боялись об него замараться. Он прижал к груди коробку и, оглянувшись, уперся взглядом в желтые собачьи глаза.

Вместе с полусотней других задержанных К. отвели к железнодорожной станции, дали им холодную овсянку и чай и загнали в стоявший на запасных путях вагон. Двери в вагоне замкнули на засовы, и люди сидели и ждали под охраной вооруженных железнодорожных полицейских в коричневых и черных формах, покуда не прибыло еще тридцать заключенных, которых тоже загнали в вагон.

Рядом с К., у окошка, сидел старик в костюме. К. тронул его за рукав.

— Куда нас повезут? — спросил он.

Старик окинул его взглядом и пожал плечами.

— Какая разница куда, — сказал он. — Или вперед, или назад, больше некуда. Поезда по-другому не ходят. — Он вынул пакетик леденцов и предложил один К.

На запасной путь, свистя, подкатил задним ходом паровичок и, лязгая и дергаясь, сцепился с вагоном.

— Едем на север, — сказал старик. — Тоус-ривер.

К. ничего не ответил, и старик потерял к нему интерес.

Паровик вывел вагон с запасных путей, и они поехали по окраине Вустера, где женщины развешивали белье, а дети сидели на заборе и махали им вслед, паровик понемногу набирал скорость. К. смотрел, как поднимаются и повисают, поднима-

ются и повисают телеграфные провода. Миля за милей тянулись голые, брошенные виноградники, над ними кружились стаи ворон; паровозик нутжно запыхтел — они въехали в горы. К. пробирала дрожь. В нос лез затхлый запах его одежды, сквозь него пробивался резкий запах пота.

Паровозик остановился; охранник отомкнул двери, и едва они вышли из вагона, стала ясна причина остановки. Дальше паровозик двигаться не мог: на дороге впереди громоздилась целая гора камней и красной глины, которые сползли по склону, прочертив в нем глубокую рытвину. Кто-то по этому поводу высказался, и раздался взрыв смеха.

Они взобрались на оползень и по другую его сторону, далеко внизу, увидели другой поезд; у открытой платформы, точно муравьи, возились люди, скатывая на землю экскаватор.

К. определили в команду, которая работала на дороге неподалеку от завала.

Весь оставшийся день, под надзором бригадира и охранника, К. и его товарищи снимали погнутые рельсы, укрепляли полотно и укладывали шпалы. К вечеру уложили новые рельсы, по которым порожний состав мог приблизиться к языку оползня. Им позволили немного передохнуть и дали на ужин хлеба с джемом и чаю. Потом в луче паровозного прожектора люди поднялись на завал и стали его раскапывать. Сначала сбрасывали сверху глину и камни прямо на платформу, потом завал поуменьшился, и пришлось поднимать лопату и закидывать камни через борт. Когда платформу нагрузили, локомотив оттащил ее назад, и те же люди в крошечной тьме разгрузили ее.

Во время перерыва на ужин К. немного пришел в себя, потом опять сдал. Он с трудом поднимал ло-

пату, и, когда выпрямлялся, в спину вступала такая острая боль, что все плыло перед глазами. Он все медленнее и медленнее двигал лопатой, потом сел на насыпь и уронил голову между колен. Он все сидел, не отдавая себе отчета, сколько прошло времени. Уши словно заложило ватой.

Кто-то постукал его по колену.

— Вставай! — произнес чей-то голос.

К. с трудом поднялся на ноги и в слабом свете разглядел прораба в черном плаще и кепке.

— Почему я должен тут работать? — сказал К. Голова у него кружилась; слова долетали откуда-то издалека, как эхо.

Прораб пожал плечами.

— Делай что тебе велят, — сказал он и ткнул К. палкой в грудь. К. взял лопату.

До поздней ночи они разгребали завал, двигаясь точно лунатики. Наконец их загнали в вагон, они закрыли окна от холодного горного ветра и тут же заснули, привалясь друг к другу на скамьях или растянувшись на голом полу, а в тамбурах тряслись от холода и проклинали все на свете охранники и по очереди лезли в будку машиниста погреть руки.

Обессиленный и продрогший К. лежал, держа в руках коробку. Сосед прижался к нему и обнял его во сне. «Думает, что я его жена, — подумал К., — жена, в постели которой он спал прошлой ночью». К. смотрел в темное окошко, и в голове билась лишь одна мысль: скорее бы прошла ночь! Потом он все-таки заснул; когда утром охранники отворили дверь, он так заоченел, что еле поднялся на ноги.

Опять им дали овсянку и чай. К. оказался рядом со стариком.

— Ты заболел? — спросил старик.

К. покачал головой.

— Ты не разговариваешь, — сказал старик. — Я думал, ты заболел.

— Нет, я не заболел.

— Чего же у тебя такой убитый вид? Это ведь не тюрьма, не пожизненное заключение. Рабочая команда, только и всего. Подумаешь!

К. не мог доесть вязкую как клей овсяную кашу. Охранники и два прораба уже ходили между людей, хлопая в ладоши и тыча в них палками.

— Ничего особенного с тобой не случилось, — сказал старик. — Ни с кем ничего не случилось.

И он обвел рукой их всех: рабочих, охранников, прорабов. К. соскреб несъеденную кашу на землю, и они поднялись.

Похлопывая тростью по поле плаща, мимо прошел горбоносый прораб.

— А ну, выше нос, — улыбнувшись, сказал старик К. и легонько хлопнул его по плечу. — Скоро опять будешь сам себе хозяин.

По другую сторону завала наконец-то заработал экскаватор. К середине дня расчистили проход трехметровой ширины, теперь ремонтная бригада из Тоус-ривер могла поднимать и укладывать рельсы. Паровозик с северной стороны начал раздувать пары. В измызганной белой форменной куртке, держа в руке пальто и коробку, К. вместе с другими такими же молчаливыми, измученными людьми вскарабкался в вагон. Никто его не остановил. Состав медленно тронулся по однопутной колежке на север; в тамбуре стояли два вооруженных охранника и смотрели на убегающие вдаль рельсы.

Все два часа дороги К. притворялся, что спит. Один раз мужчина, который сидел напротив, осторожно выдвинул ногой коробку и открыл — видно, искал что поесть. Увидев пепел, он закрыл коробку

и задвинул обратно под ноги К. Тот наблюдал за ним из-под полуприкрытых век, но не пошевелился.

В пять вечера их высадили в Тоус-ривер. К. в нерешительности стоял на платформе. Они могут обнаружить, что он сел на другой поезд, и отправят его обратно в Вустер или упрячут в тюрьму, в этом холодном, открытом всем ветрам городишке, за то, что у него нет разрешения на въезд, а может, тут у них на линии все время оползни, и разрыв путей, и взрывы по ночам, и развороченные рельсы, и им все время нужна такая рабочая команда из пятидесяти человек, чтобы возить ее туда-сюда неизвестно сколько лет, кормить кашей и чаем, чтобы люди не околели, и ничего им не платить. Однако охранники свели их с платформы, молча повернулись и ушли, оставив их на припорошенных угольной крошкой запасных путях; теперь им разрешалось вернуться к их прежней жизни.

Ни минуты не мешкая, К. перешел пути, нырнул в дыру в заборе и пошел по тропинке, которая вела от станции к оазису бензоколонок, придорожных закусовых и детских площадок у шоссе. Когда-то яркие раскрашенные кони-качалки и карусели облупились, бензоколонки давно не работали, но лавчонка с фирменным знаком кока-колы над входом и корзиной с пожухлыми апельсинами в витрине как будто торговала.

К. подошел к двери и уже перешагнул порог, но ему навстречу вдруг кинулась старушонка в черном. Не успел он опомниться, как она вытолкала его за порог и с лязгом заперла перед его носом дверь. Он заглянул в дверное стекло, постучал и показал десятку, но старуха даже не взглянула и скрылась за высоким прилавком. Двое его недавних спутников, которые шли за ним следом, видели, как его вытолкали из

лавки. Один из них набрал в горсть гравия и со злобой швырнул в окно лавчонки; потом они ушли.

К. остался. За стеллажом с книгами в бумажных обложках, между корзинок с конфетами он и теперь видел край черного платья. Он прикрыл глаза ладонями и стал ждать. Стояла тишина, только ветер свистел в вельде да поскрипывала вывеска над головой. Немного погодя старуха приподняла голову над прилавком и встретила с ним взглядом. На ней были очки в массивной черной оправе, серебряные волосы гладко зачесаны назад и туго стянуты на затылке. На полках позади нее К. разглядел консервные банки, пакеты с мукой и сахаром, стиральные порошки. На полу перед прилавком стояла корзина с лимонами. Он опять поднял над головой десятку и прижал ее к стеклу. Старуха не двинулась с места.

Он отвернул водопроводный кран возле бензонасоса, но вода не шла. Тогда он напился из крана за лавочкой. На пустыре за бензоколонкой стояло десятка два-три старых машин. Он подергал дверцы одной, другой, потом нашел незапертый кузов, заднее сиденье в нем было снято, но у К. не было сил искать дальше. За горы садилось солнце, и облака засветились оранжевым светом. К. захлопнул дверцу, лег на пыльный выгнутый пол, положил под голову коробку с прахом и сразу же заснул.

Утром лавчонка открылась. За прилавком теперь стоял высокий мужчина в костюме цвета хаки, и К. без всяких помех купил у него три банки фасоли в томате, пакет сухого молока и спички. Он зашел за бензоколонку и развел костер; покуда разогревалась банка с фасолью, он насыпал на ладонь молочного порошка и слизал его.

Поев, он пошел по автостраде, солнце было у него справа. Он шел ровным шагом весь день. Спря-

таться здесь было негде — вокруг раскинулась поросшая редким кустарником каменистая равнина, колонны машин проезжали и в ту и в другую сторону, но он не обращал на них внимания. Когда стемнело, он свернул с дороги, перелез через изгородь и расположился на ночлег в высохшем русле реки. Развел костер и съел вторую банку фасоли. Придвинувшись поближе к тлеющим уголькам, он заснул; в ветвях деревьев возились птицы, по камням пробегали чьи-то лапки, но он ничего не слышал.

Попав в вельд, он понял, что идти тут спокойнее. Он шел весь день. Под вечер ему повезло — он сбил камнем дикого голубя, когда тот в сумерках усаживался на ветку в терновнике. Он свернул ему шею, ощипал, зажарил, насадив на кусок проволоки, и съел вместе с последней банкой фасоли.

Утром его грубо разбудил старик крестьянин в рваном военном кителе. Непонятно, почему он так злобно орал на него.

— Да я только спал тут, я же ничего не сделал, — защищался К.

— Не нарывайся на беду! — кричал старик. — Найдут тебя в вельде — убьют! Сам на рожон лезешь! Уходи!

К. спросил, куда ведет шоссе, но старик замахал на него руками и начал забрасывать землей остатки костра. К. ушел и около часа шагал по шоссе, но вокруг все было спокойно, и он опять перелез через изгородь.

В кормушке у запруды он нашел остатки еды и наскреб полжестянки маиса и костяной муки, развел их в воде, сварил и съел скрипевшее на зубах месиво. Потом собрал в берет все, что еще оставалось у запруды. «Наконец-то меня кормит земля», — подумал он.

Тишина была такая, что он слышал, как хлопают одна о другую штанины. И пустота — от горизонта до горизонта. Он поднялся на холм и лег на спину, вслушиваясь в тишину, чувствуя, как солнечное тепло проникает в его кости.

Из кустов выбежали какие-то странные существа — маленькие собачки с огромными ушами, и тут же умчались прочь.

Я могу жить здесь всегда, думал он, до самой смерти. Никаких событий не будет происходить, каждый новый день будет таким же, как вчера, не о чем даже будет рассказывать. Беспокойство, которое владело им на шоссе, постепенно утихло. Иногда он шагал и думал: сплю я или бодрствую? — и не мог ответить на этот вопрос. Теперь он понял, почему люди бегут от шума городов и загораживаются милями тишины; он понял, что им, наверное, хочется навсегда завещать эту тишину своим детям (хотя не был уверен, есть ли у них на это право); а может, тут остались какие-то забытые уголки или полоски меж оградами, думал он, которые еще никому не принадлежат. И, если высоко взлететь, их можно увидеть.

В небе, с юга на север, пролетели два самолета, оставляя за собой волны шума и белые хвосты, которые медленно блекли в небе.

В закатных лучах солнца он поднялся на последние холмы, подступавшие к Лайнсбургу; когда он перешел мост и ступил на широкую главную улицу, небо стало темно-фиолетовым. Он шел мимо заправочных станций, магазинов, закусокных — все было закрыто. Затявкала собачонка и уже не могла остановиться. Другие собаки тоже подняли лай. Уличные фонари не горели.

Он стоял перед полутемной витриной, где была выставлена детская одежда, и тут прохожий, миновавший его, остановился и вернулся назад.

— Сейчас зазвонит колокол — начнется комендантский час, — раздался голос у него за спиной. — Лучше вам уйти отсюда.

К. обернулся.

Мужчина, стоявший перед ним, был моложе его, в зеленой с золотыми позументами форменной куртке, в руках деревянный чемоданчик с инструментами.

Что увидел перед собой незнакомец, он не знал.

— Вам плохо? — спросил молодой человек.

— Я не хочу делать остановку, — сказал К. — Я иду в Принс-Альберт, путь далекий.

Но он все же пошел с незнакомцем к нему домой и, поужинав супом с хлебом, проспал ночь под его крышей. В семье было трое детей. Пока К. ел, младшенькая девочка сидела у матери на коленях и не сводила с него глаз, хотя мать время от времени что-то шептала ей на ухо. Двое постарше уткнулись в тарелки. К. долго не мог решиться, потом наконец заговорил о своем путешествии.

— Недавно я встретил старика, — начал он, — так он мне сказал, тут убивают людей. Увидят кого на своей земле и стреляют.

Его друг покачал головой.

— Никогда о таком не слышал, — сказал он. — Люди должны помогать друг другу, я так считаю.

Эти слова запали ему в голову. «А я в это верю — что люди должны помогать друг другу?» — размышлял он. Сам он может помочь, а может и не помочь, заранее сказать трудно, и так и сяк может случиться. Похоже, у него нет никаких убеждений, во всяком случае, насчет помощи людям. «Может, я каменный», — подумал он.

Когда выключили свет, К. долго лежал, слушая возню ребятишек; он занял их кровать, и они улеглись

на матрасе на полу. Один раз он проснулся — ему показалось, что он говорил во сне; но, судя по всему, никто ничего не слышал. Когда он проснулся в следующий раз, уже горел свет — родители собирали детей в школу и шикали на них, чтоб не разбудили гостя. Застеснявшись, он натянул брюки под одеялом и вышел за дверь. На небе еще светились звезды; на востоке небо заалело.

Мальчик позвал его завтракать. За столом ему снова неудержимо захотелось что-то сказать. Он стиснул пальцами край стола и напряженно выпрямился. Сердце его было переполнено благодарностью, и ему хотелось высказать ее, но нужные слова никак не шли. Дети смотрели на него во все глаза; все молчали, родители отвели глаза.

Двум старшим детям поручили проводить его до поворота на Сьюикспорт. Там, прежде чем проститься, мальчик заговорил.

— А здесь пепел? — спросил он.

К. кивнул.

— Хочешь поглядеть? — предложил он.

Он открыл коробку, отстегнул пластиковый пакет. Первым понюхал пепел мальчик, за ним его сестричка.

— Что ты с ним будешь делать? — спросил мальчик.

— Я несусь его в те места, где когда-то давно-давно родилась моя мать, — сказал К. — Так она хотела.

— Ее сожгли? — спросил мальчик.

Перед глазами К. запылал огненный нимб.

— Она ничего не почувствовала, — сказал он, — она к тому времени уже обратилась в дух.

Расстояние от Лайнсбурга до Принс-Альберта он покрыл за три дня, шагая на небольшом расстоянии от проселочной дороги и далеко обходя фер-

мы; он надеялся, что вельд подкормит его, однако бóльшую часть пути прошел голодным. Однажды днем, когда воздух прогрелся, он стащил с себя одежду и по горло погрузился в повстречавшийся ему в пустынном месте водоем. Однажды его окликнул фермер, проезжавший мимо на грузовике. Фермер поинтересовался, куда он держит путь.

— В Принс-Альберт, — ответил он. — Иду повидать родню.

Но говорил он не по-здешнему, и было ясно, что фермер что-то заподозрил.

— Лезь в машину, — сказал он.

К. покачал головой.

— Влезай, подкину, — повторил приглашение фермер.

— Я не устал, — сказал К. и пошел дальше.

Грузовик скрылся в облаке пыли, а К., не мешкая, сошел с дороги, спустился в сухое русло реки и прятался там до самой темноты,

Потом, когда он думал об этом фермере, ему вспоминались лишь фетровая шляпа, толстые, точно обрубки, пальцы, подманивающие его. И на суставах — рыжая щетина. Память всегда высвечивала какие-то отдельные куски, не всю картину целиком.

На четвертый день, утром, он присел на корточках на вершине холма, глядя, как всходит солнце над городом, — по его расчетам это и должен был быть Принс-Альберт. Горланили петухи; поблескивали в лучах солнца окна домов; по главной улице мальчишка гнал двух ослов. Воздух был неподвижен. Спускаясь с холма к городу, Михаэл обратил внимание на доносящийся откуда-то мужской голос: он лился ему навстречу бесконечным монотонным речитативом. Михаэл в недоумении остановился и стал прислушиваться. Может, это голос

принца Альберта? — мелькнула в голове мысль. А я-то думал, принц Альберт умер. Он старался разобрать слова, но при том, что голос наполнил воздух словно туман или запах, слова, если они были, если голос не просто выводил какую-то мелодию, — слова были не слышны или так невняты, что разобрать их было невозможно. Потом голос оборвался, и вместо него заиграл далекий духовой оркестр.

К. ступил на дорогу, которая подходила к городу с юга. Миновал мельницу, огороженные сады. Две темно-каштановые охотничьи собаки кинулись на него и с лаем понеслись вдоль изгороди. Несколькими домами дальше молодая женщина мыла у колонки миску. Она оглянулась на него через плечо; он коснулся берета; она отвела взгляд в сторону.

Теперь по обе стороны улицы тянулись магазины и другие заведения: булочная, кафе, магазин одежды, банк, слесарная мастерская, хозяйственная лавка, гаражи. Стальная решетка перед лавкой была заперта. К. сел на крыльцо, прислоняясь спиной к решетке, подставил лицо солнцу и закрыл глаза. «Я пришел, — думал он. — Наконец-то».

Спустя час К. все еще сидел на крыльце, с приоткрытым ртом — он спал. Вокруг него, хихикая и пересмеиваясь, собрались дети. Какой-то мальчишка осторожно снял берет с его головы, нахлобучил на себя и скривил рот, изображая К. Его дружки прыгнули со смеха. Мальчишка с маху накинул берет на голову К. — косо, на одно ухо, и попытался вытянуть у него из рук коробку, но Михаэл крепко ее держал.

Пришел хозяин лавки с ключами; дети отступили в сторону, лавочник стал отводить решетку, и К. проснулся.

Внутри, в полумраке, стояли, висели, лежали всевозможные товары. Оцинкованные железные ван-

ны загоразживали проход, с потолка свисали велосипедные колеса, под ними стояли вентиляторы и отопительные батареи; были тут и ящики с гвоздями, и пирамиды пластмассовых ведер; на полках различные консервы, патентованные лекарства, конфеты, детская одежда, прохладительные напитки.

К. подошел к прилавку.

— Мне нужен мистер Вослоо или мистер Виссер, — сказал он. То были имена, которые помнила его мать. — Я ищу мистера Вослоо или мистера Виссера. Этот мистер — фермер.

— Может, ты про миссис Вослоо говоришь? Про ту, что работала в отеле? А мистер Вослоо тут не проживает.

— Мистер Вослоо или мистер Виссер, когда-то давно этот мистер был фермером, вот его я ищу. Точного имени я не знаю, но если я найду ферму, я ее узнаю.

— Таких фермеров тут нет, ни Вослоо, ни Виссера. Может быть, Висаги? Зачем он тебе понадобился?

— Мне нужно кое-что доставить на его ферму. — Он показал коробку.

— Тогда ты зря проделал такой долгий путь. На ферме Висаги никого нет, она уже много лет пустует. А ты уверен, что ищешь именно Висаги? Они ведь давно отсюда уехали...

К. купил пачку имбирного печенья.

— Кто тебя сюда послал? — спросил лавочник. К. сделал вид, что не понял вопроса. — Надо бы им послать кого-нибудь попонятливее, чтобы знал, кого ищет. Передай им это, когда вернешься.

К. пробормотал что-то невнятное и вышел. Он шел по улице и думал, где бы ему еще попробовать спросить, когда его нагнал один из мальчишек.

— Мистер, я вам покажу, где ферма Висаги! — крикнул он. К. остановился. — Только там никого нет. Пусто.

Мальчишка объяснил, как идти: сначала на север, по дороге на Крейdfонтейн, потом на восток, по проселочной дороге в долине реки Морденаарс.

— Далеко это от шоссе? — спросил К. — Долго идти или нет?

Ни мальчишка, ни его дружки точно не знали.

— Свернете там, где знак, — там палец нарисован, — сказал мальчишка. — Висаги под горой, там горы начинаются; если пешком, далеко идти.

К. дал им мелочь на конфеты.

В середине дня он дошел до указующего пальца и свернул на проселок, который повел его по пустынным унылым равнинам; солнце клонилось к закату, когда, поднявшись на пригорок, он увидел вдали низкий белый дом; дальше равнина переходила в волнистое предгорье, а за ним поднимались крутые уступы темных гор. Он приблизился к дому и обошел его вокруг. Ставни были закрыты: сизый голубь юркнул в щель под крышу — там, где разломался щипец; железные листы крыши загнулись. Один наполовину сполз с крыши и уныло хлопал на ветру. За домом был огород, в котором ничего не росло. Он представлял себе, что увидит здесь старый хлев, а вместо него стоял деревянный, крытый железом сарай, к которому примыкал пустой загон для кур; концы продетых сквозь сетку желтых пластиковых полос трепались на ветру. На взгорке за домом виднелся насос. Вдали, в вельде, блестело на солнце колесо второго насоса.

Двери в доме были заперты — и передняя, и задняя. Он подергал ставень и сорвал его с внутреннего крючка. Потом приставил ладони ко-

зырьком к глазам и приник к стеклу, но разглядеть ничего не смог.

Вошел в сарай. Пара испуганных ласточек метнулась в дверь и умчалась прочь. Борона покрылась толстым слоем пыли, паутиной. Почти ничего не видя в темноте, вдыхая запах керосина и дегтя, он начал копаться среди мотыг и лопат, обрезков труб и шлангов, витков проволоки, коробок с пустыми бутылками, пока не нашел груды пустых мешков, которые он вытащил во двор, вытряс и соорудил из них постель на веранде.

Он съел остаток печенья, которое купил в Принс-Альберте. Половина денег у него сохранилась, но теперь они были бесполезны. Свет угасал. Под застрехой сновали летучие мыши. Он лежал на своей постели и слушал ночные звуки; воздух, казалось, стал плотнее, чем днем. «Ну вот я и пришел домой, — думал он. — Или хотя бы куда-то». Он заснул.

Первое, что он обнаружил утром, — на ферме есть козы. Стадо примерно из пятнадцати коз появилось из-за дома и, ведомое старым козлом с витыми рогами, легкой иноходью потянулось наискосок по двору. К. встал во весь рост на своей постели — козы испуганно порскнули на дорогу и, стуча копытами, помчались к руслу реки. В одно мгновение они скрылись из виду. Он сел на мешки и начал лениво затягивать шнурки на ботинках, и тут вдруг до него дошло, что, если он надеется выжить, ему придется ловить этих фырчащих косматых животных, убивать их, разрезать на куски и есть. Зажав в руке свое единственное оружие — перочинный нож, он устремился вслед за ними. Весь день он охотился за козами. Поначалу они уносились прочь, потом начали привыкать к человеку, который то бежал, то шел за ними вслед; солнце припекало все

жарче, и они нет-нет да останавливались, сбившись в кучу, и позволяли ему приблизиться на расстояние нескольких шагов, но тут вдруг опять взбрыкивали и уносились. В такие минуты, подобравшись к ним совсем близко, К. чувствовал, как его начинает бить дрожь. Он не узнавал себя: так одичал, что крадется с ножом в руке, и в то же время не мог избавиться от страха: а что, если лезвие подастся назад и поранит ему руку, когда он всадит нож в пятнистую, коричневую с белым, шею козла. Но тут козы трусили рысцой дальше, и, чтобы не впасть в уныние, он говорил себе: они, наверно, сейчас про многое думают, а я только об одном, и в конце концов эта моя одна мысль одолеет все их мысли. Он все пытался подогнать стадо к ограде, но каждый раз козы ускользали перед самым его носом.

Он заметил, что они ведут его по широкому кругу, огибая насос и водоем, на которые он смотрел с крыльца дома вчера вечером. Подойдя поближе, он увидел, что забетонированный квадратный водоем переполнен, вокруг него поблескивали мутные лужи и буйно росла болотная трава; лягушки при его приближении с плеском шлепались в воду. Только напившись, он сообразил, что все это очень странно, и спросил себя, как же насос работает и кто следит, чтобы водоем был полон? Во второй половине дня он ответил себе на этот вопрос: он по-прежнему не отступал от цели, а козы трусили впереди, перебегая из одного пятна тени в другое, но вот дунул ветер, колесо скрипнуло и начало вращаться, в трубе что-то звякнуло, и из нее потекла прерывистая струйка воды.

Оголодавший, измученный, он не сдавался, слишком он втянулся в эту охоту; опасаясь, что ночью упустит стадо, он притащил от сарая мешки и устроил себе ложе прямо на земле, поближе к козам,

и забьлся тревожным сном. Светила полная луна. В середине ночи его разбудили всплески и фырканье: козы пили. Он поднялся, чувствуя, что несколько не отдохнул, и, спотыкаясь, двинулся к ним. Стоя по колено в воде, они сбились в кучу и повернули к нему морды и тут же, когда он кинулся на них, в страхе бросились врассыпную. Прямо перед ним одно животное поскользнулось, осело назад и, точно рыбина, забилося в грязи, пытаясь подняться на ноги. К. всем телом навалился на него. Как это ни будет тяжело, мелькнуло у него в голове, надо жать на него что есть силы, до самого конца. Козий зад ходил под ним ходуном; животное в ужасе бляло, туловище его дергалось в судорогах. К. оседлал его, сдавил ему руками горло и изо всех сил стал пригибать вниз козью башку, затолкав ее сначала под воду, а затем и в толстый слой донного ила. Козий зад рывками вздымался вверх, он зажал его коленями, как тисками. Коза начала слабеть и уже почти не брыкалась, и он чуть было не ослабил хватку, но все же поборол это желание. Он все вдавливал голову козы в ил, хотя давно уже стих ее предсмертный хрип и по хребту прошла последняя судорога. И только когда руки и ноги начали неметь в холодной воде, К. поднялся и выпустил козу из рук.

Остаток ночи, покуда луна обходила небосклон, он, стуча зубами, топтался у водоема. Когда рассвело и можно было разглядеть, куда ступать, он пошел к дому и без всяких раздумий высадил локтем стекло. Отзвенел последний осколок, и опять сомкнулась тишина, такая же бездонная, как и прежде. Он поднял шпингалет и растворил раму. Обошел весь дом. Если не считать громоздкой мебели — буфетов, кроватей, гардеробов, — комнаты были пусты. На пыльном полу отпечатывались его следы. В кухне

забились в панике птицы и устремились к дыре под крышей. Пол, столы — все было заляпано птичьим пометом; у стены, против двери, в том месте, где разрушился щипец, высилась горка кирпичного крошева; на нем уже успело вырасти какое-то хилое растеньице.

К кухне примыкала небольшая кладовка. К. раскрыв в ней окно и ставни. Вдоль одной стены стояли в ряд деревянные бочонки, все пустые, кроме одного, в котором было непонятно что, скорее всего песок вперемешку с мышинным пометом. На полке в пыли и паутине стояли остатки кухонной утвари: пластмассовые миски и чашки, стеклянные банки. На другой полке — несколько бутылок с остатками масла и уксуса, банки с сахарной пудрой и сухим молоком, три банки варенья. К. открыл одну, отковырял восковую заливку и с жадностью съел, как ему показалось, абрикосы. Его тут же замутило: в сладость и аромат плодов проник тяжелый дух, исходивший от его одежды. Он вынес банку наружу и остатки доел уже не столь поспешно.

Потом вернулся к водоему. Воздух прогрелся, но К. по-прежнему дрожал.

Грязно-коричневый козий бок бугром выпирал из воды. Он вошел в водоем, ухватил козу за задние ноги и с трудом выволок на землю. Зубы у нее были оскалены, желтые глаза вылезли из орбит; изо рта текла струйка воды. Нестерпимый голод, который одолевал его вчера, стих. Неужели он сейчас расчленит и начнет пожирать это мерзкое чудовище с мокрой свалявшейся шерстью? Одна мысль об этом вызывала у него омерзение. Остальные козы, наострив уши, стояли неподалеку на пригорке. Ему не верилось, что вчера он целый день гонялся за ними с ножом, точно сумасшедший. Перед глазами, как наяву,

возникло вдруг видение: все вокруг залито лунным светом, и он, верхом на козе, втискивает ее в грязь. К. содрогнулся. Похоронить бы ее где-нибудь и забыть об этом кошмаре; а еще лучше — поддать ей под зад, чтобы она вскочила на ноги и умчалась прочь. Он бесконечно долго волочил ее к дому. Отомкнуть двери оказалось невозможно, и он поднял тушу и протиснул в кухонное окно. Потом до него дошло, что глупо разделявать ее в доме, даже в кухне, где летают птицы и растет трава. Тогда он выволок козу обратно. Его вдруг охватило странное чувство: будто что-то ушло от него — та сила, что вела его все эти сотни миль; он спрятал лицо в ладони и стал медленно ходить взад-вперед; ему стало немного лучше.

Никогда прежде ему не приходилось свежевать тушу. Кроме перочинного ножа, у него ничего не было. Он сделал продольный разрез на брюхе и запустил в него руку; он ожидал, что внутренности в козьем брюхе будут теплые, но там был тот же холод липкой болотной тины. Рванув, он вывалил внутренности к своим ногам — сизо-багровый ворох; после этого пришлось оттащить тушу подальше, только тогда он снова взялся за нож. С трудом содрал шкуру, он понял, что голову и ноги ножом ему не отрезать, тогда он отыскал в сарае лучковую пилу. Освежеванная туша, которую он подвесил к потолку в кладовке, показалась ему совсем маленькой, куда меньше целой груды того, что он вынул, содрал и отрезал, а потом положил в мешок и захоронил в верхнем ярусе огорода. На руках и на рукавах у него запеклась кровь, а воды поблизости не было; он стал оттирать их песком, и все же мухи не отставали от него даже дома.

Он почистил плиту и развел огонь. Не было ни кастрюли, ни сковородки. Он отрезал заднюю ногу

и держал ее над огнем, покуда она не запеклась со всех сторон и не начал капать сок. Ел он без всякого удовольствия и только думал: «Что же я буду делать, когда доем козу?»

Конечно, он простудился. Он весь горел, голова болела, глотал он с трудом. Взяв стеклянные банки, он пошел за водой. На обратном пути он вдруг совсем обессилел, и ему пришлось сесть на землю. Он сидел, свесив голову меж колен, и ему казалось, что он лежит в чистой постели, в хрустящих белых простынях. Он закашлялся, и у него вырвался какой-то странный звук, точно ухнула сова; звук отлетел, не отдавшись эхом. Хоть и саднило горло, он повторил этот звук. После Принс-Альберта он впервые слышал свой голос. Он подумал: «Теперь я могу даже кричать, теперь все можно».

К вечеру его начало лихорадить. Он втащил свою постель из мешков в гостиную и провел ночь там. Ему приснился сон, что он лежит в крошечной тьме в уютном дортуаре. Протянув руку, он коснулся железной спинки кровати; от матраца пахло застарелой мочой. Он боялся пошевелиться, — а то проснутся мальчишки, спящие вокруг, — и лежал с открытыми глазами, чтобы опять не провалиться в омут сна. Сейчас четыре утра, в шесть рассветет. Как он ни вглядывался, он не мог различить, где окно. Веки отяжелели. «Я куда-то лечу», — подумал он.

Утром он почувствовал себя лучше. Он обулся и обошел дом. На платяном шкафу стоял чемодан, но в нем были только сломанные игрушки и разрозненные карточки складных картинок. Ничего полезного он нигде не нашел и не нашел ничего, что дало бы ему ключ к разгадке, почему Висаги, которые жили здесь когда-то, покинули ферму.

В кухне и кладовке жужжали мухи. Есть ему не хотелось, но он разжег огонь и сварил немного мяса в жестянке из-под джема. В кладовке, в одной из банок, он нашел немного чая, заварил чай и снова лег на мешки. Его начал мучить кашель.

Коробка с пеплом ждала своего часа в уголке гостиной. Он надеялся, что его мать, которая вроде бы была в этой коробке и в то же время не была, поскольку душа ее освободилась и рассеялась в воздухе, здесь, на родной земле, обрела наконец покой.

Было даже приятно отдаться болезни. Он раскрыл окна и лежал, слушая воркующих голубей, а может быть, тишину. Дремал, просыпался. Когда в окно ярко засветило послеполуденное солнце, он закрыл ставни.

Вечером снова начался бред. Он хотел пересечь окаменевшую равнину, но она кренилась под его ногами, грозила сбросить за край. Он лег плашмя, вцепился пальцами в землю и полетел куда-то сквозь тьму.

Через два дня приступы лихорадки кончились; еще через день он начал выздоравливать. Коза в кладовке завоняла. Урок из этого — если только можно счесть за уроки все, что случается, — пожалуй, был прост: не надо убивать таких больших животных. Он обстругал сучок и с помощью язычка от старого ботинка и резиновой трубки сделал рогатку — теперь он мог сбивать с деревьев птиц. Остатки козьей туши он зарыл в землю.

Он обследовал однокомнатные домишки на склоне холма позади фермы. Они были кирпичные, с цементным полом и железной крышей. Вряд ли они простояли здесь полвека. Но в нескольких ярдах от них выступал из земли замшелый прямоугольник фундамента. Может, здесь, посреди сада, и родилась

его мать? Он принес из дома коробку с пеплом, поставил ее в центре прямоугольника и стал ждать. Что должно было произойти, он не знал, но не произошло ничего. Прополз по земле жук. Подул ветер. В лучах солнца на иссохшей земле стояла картонная коробка, и все. Наверно, надо что-то еще сделать, только он не представлял себе что.

Он прошел вдоль всей изгороди вокруг фермы — никаких признаков, что кто-то из соседей живет поблизости. В накрытой листом железа кормушке лежал заплесневевший корм для овец; он захватил горсть и опустил в карман. Потом пошел к насосу и возился с ним, покуда не разобрался, почему течет вода. Он соединил разорванную цепь и остановил вращение колеса.

Он продолжал спать в доме, но ему было там неприятно. В воздухе витало что-то неуловимое. Он пел, бродя по пустым комнатам, и слушал эхо, отдававшееся от стен и потолка. Потом перетащил свою постель на кухню — через дыру в потолке можно было хотя бы смотреть на звезды.

Дни он проводил у водоема. Как-то утром он снял с себя всю одежду и, стоя по грудь в воде, долго тер ее и шмякал о бетонную стенку: остаток дня, покуда одежда сохла, он подремал в тени под деревом.

Пришло время вернуть мать земле. Он хотел выкопать яму на гребне холма к западу от водоема, но едва он копнул, лопата стукнулась о камень. Тогда он перешел к водоему, спустился на край участка, который когда-то возделывался, и выкопал ямку по локоть глубиной. Он уложил туда пакет с пеплом и ссыпал на него первую лопату земли. Но что-то остановило его. Он закрыл глаза и сосредоточился, надеясь, что сейчас услышит голос, который скажет, что он делает все правильно, — голос матери, если

у нее еще есть голос, или какой-то голос, неизвестно чей, или даже свой собственный голос, случалось, он подсказывал ему, как поступить. Но голоса он не услышал. Тогда он взял решение на себя: вынул пакет из ямки и начал вскапывать большой квадрат в середине поля. Там, низко склоняясь к земле, чтобы ветер не снес пепел, он рассыпал тонкие серые хлопья и, лопата за лопатой, стал забрасывать их землей.

Для него это стало началом другой жизни — жизни земледельца. На полке в сарае он еще в первые дни нашел пакетик с семенами тыквы, поджарил сколько-то на плите и съел; у него также сохранилось немного зерен маиса; на полу в кладовке он подобрал одну-единственную фасолину. За неделю он вскопал участок у водоема и восстановил систему оросительных канав. На одной небольшой полосе он посадил тыкву, на другой — маис; а поодаль, на берегу высохшей речки, хотя воду туда надо было носить, посадил фасолину, чтобы она, если прорастет, смогла виться по прибрежному кустарнику.

Питался он в основном птицами, которых убивал из рогатки. Он охотился за птицами неподалеку от дома и работал на земле — так проходили дни. А потом наступали счастливые минуты — на закате он поднимал заслонку в стене водоема и с глубочайшим удовольствием смотрел, как бежит по канавам вода и желтоватая почва становится темно-коричневой. «Я радуюсь, потому что я садовник, — думал он, — потому что так уж я устроен». Он отточил лопату о камень, чтобы приятнее было смотреть, как она вонзается в землю. В нем пробудился земледelec, прошло две-три недели, и он почувствовал, что жизнь его накрепко связана с клочком земли, который он начал возделывать, с семенами, которые он там посадил.

Иногда, особенно по утрам, его вдруг охватывал восторг при мысли, что он, одинокий, никому не ведомый человек, преображает эту заброшенную ферму. Но душевный подъем часто сменялся болью, которая приходила вместе с мыслью о будущем, и тогда только работа спасала его от мрака и уныния.

Скоро он чуть не досуха выкачал скважину — из крана сочилась лишь слабая прерывистая струйка. Теперь все помыслы и желания сосредоточивались для К. в одном — восстановить запас воды в земле. Он брал воды ровно столько, сколько необходимо было огороду; он позволил уровню воды в водоеме упасть до нескольких дюймов и равнодушно наблюдал, как сохнет вокруг топь, трескается земля, вянет трава и лягушки шлепаются навзничь и подымают. Он не знал, как пополняются почвенные воды, но знал, что быть расточительным плохо. Что там у него под ногами: озеро, или быстрый поток, или огромное внутреннее море, или бездонная заводь — об этом он мог лишь гадать. Каждый раз, как он отвязывал цепь и начинало вертеться колесо и течь вода, — это было чудом; он наклонялся над стенкой водоема и, подставив пальцы под струю, закрывал глаза.

Он жил от восхода солнца до заката, другого времени не было. Кейптаун, война, его путь к ферме все глубже и глубже погружались в забвение.

Но однажды он подошел в полдень к дому и увидел, что парадная дверь широко распахнута; он остановился как вкопанный, и в эту минуту из дома на освещенное солнцем крыльцо вышел бледный плотноватый парень в хаки.

— Ты здесь работаешь? — были его первые слова.

Парень стоял на верхней ступеньке крыльца с таким видом, будто он здесь хозяин. К. ничего не оставалось как кивнуть.

— Никогда тебя тут раньше не видел, — сказал незнакомец. — Приглядываешь за фермой?

К. кивнул.

— Когда же это провалился потолок в кухне? — спросил парень.

К. хотел ответить и не мог выговорить ни слова. Парень не отводил взгляда от его изуродованной губы. Потом заговорил снова.

— Небось не знаешь, кто я такой? — спросил он. — Я внук хозяина, внук Висаги.

К. перенес свои мешки в один из домишек на холме, предоставив дом молодому Висаги. Он чувствовал, как им овладевает прежняя тупая безнадежность, и старался ее отогнать. Может, этот внук пробудет тут день или два и уйдет, думал он; увидит, что ничего хорошего тут нет, и уйдет; может, это он уйдет, а я останусь.

Но внук, как оказалось, не мог уйти. В тот же вечер, не успел К. развести на склоне холма костер и поставить варить к ужину пару диких голубей, из сумерек возникла плотная фигура внука, и он так долго топтался у костра, что К. пришлось пригласить его поужинать. Внук ел с жадностью голодного мальчишки. На двоих еды было мало. И тут все открылось.

— Когда пойдешь в Принс-Альберт, — начал внук, — не рассказывай никому, что я здесь.

Он дезертировал из армии вчера вечером, удрал из воинского эшелона в Крейдфонтейне и всю ночь шел через вельд. Дошел-таки до фермы, он помнит ее со школьных лет.

— На рождество сюда съезжалось все наше семейство, — рассказывал он. — Ехали и ехали — конца-краю не было, как только дом всех вмещал. А как мы тут пировали — с тех пор я такой еды и не видывал. Стол прямо ломился от всякой всячины,

и все вкусное, деревенское, подъедали все дочиста. Жареный ягненок — пальчики оближешь.

К. сидел на корточках, ворошил костер и слушал вполуха. «Я поддался соблазну и поверил, что этот островок без хозяина. Теперь я узнал правду. Вот мне еще один урок», — думал он.

А внук совсем разоткровенничался. У него малокровие и сердце слабое, говорил он, это засвидетельствовано, и все же его отправили на фронт. Они снимают с работы служащих и отправляют на фронт. Как же они обойдутся без служащих? Может, они решили, что в войну не надо платить деньги и не нужны кассиры? Если они сюда заявятся, военная полиция или гражданская, чтоб забрать его и устроить показательный суд, пусть К. притворится немым. Притворится дурачком, лишь бы они ничего не вывели. А он тем временем оборудует себе убежище. Ферму он знает и отыщет такое местечко, куда им и в голову не придет заглянуть. К. лучше об этом месте не знать. Где пила? Пусть К. найдет пилу. Ему очень нужна пила, завтра утром он начнет работать. К. сказал, что поищет. Внук помолчал, потом спросил:

— Ты только это и ешь?

К. кивнул.

— Надо посадить овощи, — сказал внук. — Картошку, лук, маис — если поливать, растет тут все хорошо. Земля плодородная. Удивляюсь, как ты не вырастил хоть что-то для себя у водоема.

Сердце у К. болезненно сжалось: даже и о водоеме ему все известно!

— Повезло моим старикам, — продолжал внук. — Теперь работников днем с огнем не сыщешь. Как тебя звать?

— Михаэл, — ответил К.

Совсем стемнело. Внук в нерешительности поднялся.

— У тебя фонарика нет? — спросил он.

— Нет, — ответил К. и долго смотрел вслед внуку, пока тот осторожно спускался по освещенному луной склону.

Настало утро, но заняться К. теперь было нечем. К водоему не пойдешь — выдашь свой огородик. Он сидел на корточках у стены дома, чувствуя, как солнышко прогревает его тело, как течет мимо время, но вот на косогоре опять появился внук. «Он лет на десять моложе меня», — подумал К. От подъема на взгорок внук разругнулся.

— Михаэл, а есть-то нечего, — пожаловался внук. — Ты в магазины ходишь?

Не дожидаясь ответа, он распахнул дверь и заглянул в комнату. Он, похоже, хотел что-то сказать, но осекся.

— Сколько же тебе платят, Михаэл? — спросил он.

«Он думает, что я дурачок, — понял К. — Думает, что я идиот, что я сплю, как зверь, на полу, питаюсь птицами и ящерицами и не знаю, что есть такая штука — деньги. Смотрит на значок на моем берете и спрашивает себя: Санта-Клаус, что ли, ему это подарил?»

— Два ранда, — сказал К. — Два ранда в неделю.

— А от них есть какие-нибудь вести? Сюда они не приезжают?

К. молчал.

— Ты сюда откуда приехал? Ты ведь не местный, нет?

— Я много где побывал, — сказал К. — И в Кейптауне тоже.

— А овцы на ферме есть? — спросил внук. — Козы есть? Вчера за водоемом я видел целое стадо,

десять или двенадцать коз. Мне не померещилось? — Он взглянул на часы. — Пойдем-ка отыщем коз.

К. представилась козья туша в жидкой грязи.

— Они одичали, — сказал он. — Их не поймать.

— Мы их поймаем у водоема. Вдвоем справимся.

— Они туда приходят ночью, — сказал К. — Днем они в вельде. — Про себя он подумал: «Солдат без оружия. Любитель приключений. Он и на ферме ищет приключений». А вслух сказал: — Бог с ними, с козами, я вам добуду еды.

К. взял рогатку, спустился к реке и за час убил три воробья и голубя. Он принес птиц к двери и постучал. Из дома доносился звук пилы. К нему вышел внук — голый по пояс, потный.

— Отлично, — сказал он. — Очисть-ка их побыстрее! Я тебя отблагодарю.

Сжав в кулаке лапки, К. держал четырех птиц. На клюве одного воробушка запеклась бусинка крови.

— Они маленькие, проглотите и не почувствуете, — сказал он. — Запачкаться боитесь, пальчики замарать?

— Чего ты городишь? — оцетинился внук Висаги. — Какого черта? Хочешь что-то сказать, так говори. Положи их, я сам все сделаю!

К. положил четырех птичек на веранде и ушел.

Первые мясистые ростки тыкв пробивались сквозь землю, один здесь, другой там. К. в последний раз поднял заслонку и стал смотреть, как вода неспешно обтекает огород, как темнеет земля. Сейчас я нужен своим первенцам больше всего, а я покидаю их. Он опустил заслонку и стал отгибать кран в сторону корыта, из которого пили козы.

Он принес четыре кувшина воды и поставил их на ступеньки крыльца.

Внук, уже в рубашке, стоял, засунув руки в карманы, и смотрел вдаль. Он долго молчал, потом заговорил.

— Не я тебе плачу, Михаэл, — сказал он, — я не могу тебя прогнать с фермы. Но нам надо держаться вместе, вместе работать, иначе... — Он перевел взгляд на Михаэла.

Что бы ни было в этих словах: обвинение, угроза, упрек, но они смягчили К. Это у него просто такая манера, сказал он себе, не нервничай. И все же почувствовал, как на него, точно туман, наплывает отупение. Опять он не знал, что ему делать со своим лицом. Он тер рот и, глядя на коричневые ботинки внука, думал: теперь уж ты не купишь в лавке таких ботинок! Он сосредоточился на этой мысли, стараясь успокоиться.

— Мне нужно, чтобы ты сходил в Принс-Альберт, Михаэл, — сказал внук. — Я дам тебе список что купить и деньги. И для тебя самого сколько-то дам. Только ни с кем не разговаривай. Не говори, что видел меня, не говори, что покупаешь для меня. Вообще не говори, для кого покупаешь. Не покупай все в одной лавке. Возьми половину у Ван Рейна, а половину в кафе. Не останавливайся и ни с кем не разговаривай — сделай вид, что очень спешишь. Понял?

«Только бы мне не сорваться», — думал К. Он кивнул. Внук продолжал:

— Я тебе начистоту все выкладываю, Михаэл. Идет война, люди гибнут. А я ни с кем не хочу воевать. Я выбрал для себя мир. Ты понимаешь? Я хочу мира со всеми. Тут, на ферме, нет войны. Мы с тобой можем тут тихо жить, пока всюду не настанет мир. Никто нас тут не потревожит. Еще немного — и войне конец. Я был казначеем, Михаэл, я знаю, что творится. Знаю, сколько людей убегают каждый

месяц: местонахождение неизвестно, выплата жалованья прекращается, открывается судебное дело. Понимаешь, о чем я говорю? Могу назвать тебе цифры — ты поразишься! Не один я сбежал. Скоро им не хватит людей, чтобы разыскивать беглецов, поверь мне! Страна-то вон какая огромная! Ты только погляди вокруг. Валяй на все четыре стороны! Прячься где пожелаешь! Мне только надо какое-то время не попадаться им на глаза. Долго они искать не станут. Что я для них — рыбешка в океане! Но ты мне нужен, Михаэл. Ты должен мне помочь. Иначе конец и мне, и тебе. Понимаешь?

К. ушел к воротам, зажав в руке список вещей, которые нужно было купить внуку, и сорок рандов. По пути он подобрал старую консервную банку, положил туда деньги и спрятал банку под камень у ворот фермы. Потом пошел по вельду к горам, следя, чтобы солнце было слева, и обходя фермы. Холмы становились все круче, он поднимался все выше, и к исходу дня, далеко внизу, его взгляду открылись аккуратные белые домики Принс-Альберта. Он обошел их стороной по окрестным холмам, потом вышел на дорогу к Свартбергу. Кутаясь от холода в материнское пальто, он поднимался все выше и выше в горы.

Город теперь виднелся далеко внизу; он начал искать место для ночлега и наткнулся на пещеру, которая недавно служила кому-то пристанищем. В ней был сложен из камней очаг, на полу лежала подстилка из душистого сухого тимьяна. Он развел огонь и зажарил ящерицу, которую убил камнем. Небесный купол стал темно-синим, высыпали звезды. Он свернулся в клубок, засунул руки в рукава и медленно поплыл в сон. Теперь уже трудно было поверить, что он встретил человека, который назвался внуком Висаги и хотел превратить его в своего слугу. Еще

день-другой, сказал себе К., и я совсем забуду этого парня, в памяти останется только ферма.

Он думал о ростках, пробивающихся сквозь землю. Завтра они ещё будут живы, думал он, послезавтра поникнут, а на третий день умрут, пока я скрываюсь в горах. Быть может, если встать на заре и бежать бегом весь день, еще можно успеть их спасти. Их и другие семена, которым суждено погибнуть в земле; они и не подозревают, что так и не увидят солнечного света. Из его сердца тянулся росток нежности к тому клочку земли у водоема — теперь этот росток придется вырвать. Сколько же можно вырывать из сердца нежность? Ведь оно в конце концов окаменеет.

Он провел день в праздности, сидя у входа в пещеру и глядя на дальние вершины, где еще лежали островки снега. Хотелось есть, но он не двинулся с места. Вместо того чтобы прислушаться к просьбе своей плоти, он внимал обступившей его огромной тишине. Заснул он спокойно и легко, и ему приснился сон: быстрее ветра он бежал по пустой дороге, а за ним, едва касаясь резиновыми шинами земли, летела, словно по воздуху, коляска.

Склоны так круто уходили вниз, что солнце не показывалось до полудня и очень скоро зашло за западные вершины. Он все время мерз. Тогда, петля зигзагами по склону, он стал подниматься выше, пока куда совсем не скрылась из виду дорога через перевал; теперь обширное плато Кару проглядывалось на все четыре стороны и где-то далеко-далеко внизу белел Принс-Альберт. Он нашел новую пещеру и наломал веток, чтобы постелить на каменный пол. Он думал: выше забраться невозможно, ни один человек в здравом рассудке не пустится за мной в погоню через все эти равнины, не ползет

в горы, не станет рыскать по скалам и искать меня; теперь, когда я один во всем свете знаю, где я, можно считать, что я в безопасности.

Все осталось позади. Просыпаясь утром, он видел перед собой лишь огромную глыбу дня — сразу день. К. представлялось, что он термит, пробивающий себе путь сквозь скалу. Нужно только жить, больше ничего. Он сидел тихо-тихо, так тихо, что ничуть бы не удивился, если бы птицы вдруг спланировали вниз и уселись ему на плечи.

Иногда, если он пристально вглядывался, то мог различить точку машины, ползущей по главной улице игрушечного городка на равнине; но даже в самые тихие дни к нему не долетало ни единого звука, если не считать возни насекомых и жужжания мух, — они его не забыли, да биения собственного сердца, которое, казалось, стучало в ушах.

Что будет с ним дальше, он не мог себе представить. В жизни его ни разу не случилось ничего интересного, и всегда кто-то говорил ему, что надо делать дальше; сейчас же рядом никого не было, значит, лучше всего просто ждать.

Он мысленно перенесся в парк Винберг — один из парков, где он прежде работал. Вспомнил молодых матерей, которые приводили своих детишек покачаться на качелях, вспомнил парочки, расположившиеся в тени деревьев, коричнево-зеленых уток в пруду. Пусть идет война, но трава там и сейчас растет и опадают с деревьев листья. И всегда будут нужны люди, чтобы подстригать траву и сметать листья. Однако теперь он не был уверен, что предпочел бы жить среди дубов и зеленых газонов. Когда он думал о парке Винберг, ему представлялось, что земля состоит не столько из минеральных веществ, сколько из органических — из истлевших прошлогодних ли-

ствьев, и позапрошлогодних, и всех тех лет, что прошли с сотворения мира; земля такая мягкая, что можно ее копать и копать, а она все будет мягкая; можно докопать из парка Винберг до самой середины земли, и она все будет прохладная, черная, влажная, мягкая. Я разлюбил такую землю, думал он, мне не хочется больше держать ее в руках, сыпать меж пальцами. Не хочу больше, чтобы земля была коричневая, поросшая зеленой травой, пусть будет желтая и красная; не влажная, а сухая; не темная, а светлая; не мягкая, а твердая. Я становлюсь человеком другой породы, думал он, если только есть разные породы людей. Если мне рассечь вену, думал он, глядя на свои запястья, кровь не хлынет струей, а засочится тоненькой струйкой и очень скоро перестанет, и ранка зарубцуется. С каждым днем я становлюсь тоньше, и жестче, и суше. Если мне суждено умереть здесь, сидя в зеве этой пещеры, упершись подбородком в колени и глядя на равнину, ветер за один день иссушит меня, и я сохранюсь целиком, как сохраняются погребенные в песке.

В первые дни жизни в горах он совершал недальние прогулки, переворачивал камни, грыз корни и клубни растений. Однажды он разворошил муравейник и съел личинки. По вкусу они напоминали рыбу. Потом прекратил отыскивать еду и питье. Он не разведывал свой новый мир. Не обустроив пещеру, не вел счет проходящим дням. Ему нечего было ждать, разве что следить по утрам, как все четче очерчивается темным ободом верхушка горы — и вот он уже купается в солнечном свете. Он недвижно сидел или лежал у входа в пещеру, не в силах или не желая сделать хотя бы малейшее движение. Случалось, он спал день напролет. Может, это и есть блаженство, думал он. После одного

пасмурного, дождливого дня весь склон покрылся крохотными розовыми цветочками без листьев. Он стал их есть горстями, и у него заболел живот. Дни становились все жарче, ручьи бежали быстрее. В студеной горной воде ему не доставало терпкости ключевой. Десны кровоточили, он глотал кровь.

Ребенком К., как и все дети в приюте, постоянно голодал. От голода они превращались в хищных зверьков: хватали еду друг у друга с тарелок, вытаскивали кости и очистки из мусорных ящиков, стоявших в загородке при кухне. Потом он стал старше, и голод перестал его терзать. Зверь, что рычал и выл у него внутри, стих, он совсем его заморил. Последние годы в «Норениусе» были самыми хорошими: над ним уже не было старших мальчишек и никто его не мучил; он незаметно ускользал за сарай, в свое любимое местечко, и наслаждался одиночеством. Один из учителей то и дело приказывал ученикам заложить руки на затылок, плотно сжать губы, закрыть глаза и так сидеть, а сам в это время ходил по рядам со своей длинной линейкой. Со временем эта поза для К. перестала связываться с наказанием — приняв ее, он отдавался мечтам; и сейчас он вспоминал, как жаркими днями, борясь с блаженной дремотой, сидел, закинув руки за голову, — в ветвях эвкалиптов ворковали голуби, в соседних классах ребята хором твердили таблицу умножения. И теперь, застыв перед своей пещерой, он иной раз сцеплял пальцы на затылке, закрывал глаза и изгонял все мысли из головы; он ничего не желал и ничего не ждал.

А в иные дни мысли его обращались к молодому Висаги, и он представлял себе, как Висаги прячется где-то там, быть может, в подполье, в темноте, посреди мышинных катышков, или в шкафу на

чердаке, или в кустарнике за дедовым полем. Он думал о его красивых башмаках: зачем они ему теперь, если он залез в какую-то нору?

Теперь он с трудом заставлял себя не закрывать глаза при свете солнца. В висках, ни на минуту не отпуская, стучала кровь; иглы света пронзали голову. Он уже ничего не мог есть, даже вода вызывала рвоту. Наступил день, когда он не смог подняться со своего ложа в пещере; черное пальто больше не грело, и он непрерывно дрожал. Он может умереть, дошло вдруг до него, он или его тело, это одно и то же; он будет лежать здесь, покуда лишайник на своде не потемнеет у него перед глазами, и здесь, в этой далекой пещере, останутся только его белые кости.

Он полз вниз по склону весь день. Ноги не держали его, в голове стучало, каждый раз, когда он глядел вниз, перед глазами начинало все плыть, и он хватался за землю и выжидал, пока не остановится это кружение. Он добрался до дороги, когда долину окутала тень, а к тому времени, как он вступил в город, угас последний свет. Аромат цветущих деревьев хлынул на него из сада. И голос — он звучал со всех сторон, спокойный ровный голос, тот самый, что он слышал в первый свой день в Принс-Альберте. Он стоял в начале Хай-стрит, среди зеленеющих садов, и как ни вслушивался, не мог различить слов, только далекий монотонный звук, который немного погодя слился с птичьим щебетом в ветвях деревьев, а потом заиграла музыка.

На улицах никого не было. Он пристроился в подъезде у входа в банк, подложил под голову резиновый коврик. Скоро его тело остыло, и он начал дрожать. Он то проваливался в сон, то просыпался, стискивая челюсти от боли в голове. Луч фонарика разбудил его, но ему показалось, что это сон. В ответ

на вопросы полицейских он бормотал что-то невнятное, вскрикивал, задыхался. «Нет!.. Нет!» — повторял он, словно выкашливая из себя это слово. Ничего не понимая, зажав носы от смрада, который от него исходил, полицейские затолкали его в фургон и отвезли в полицейский участок, где заперли в камеру вместе с пятью другими бродягами; он бредил, его била дрожь.

Утром, когда узников вывели умыться, а потом повели завтракать, К. был в сознании, но стоять не мог. Он извинился перед охранником. «Меня ноги не держат, но это пройдет», — сказал он. Охранник позвал дежурного офицера. Минуту-другую они разглядывали живой скелет, который сидел, привалившись к стенке и скреб голые икры, потом вдвоем подхватили его и вынесли во двор, где он съежился от сияющего солнца; полицейский знаком приказал другому узнику дать ему еду. К. взял тарелку вязкой маисовой каши, но не донес ложку до рта — его начало рвать.

Полицейские никак не могли разобраться, откуда он. Документов при нем не было, даже зеленой карточки. В полицейском протоколе он был записан как «Михаэл Висаги — безработный» и обвинен в том, что без разрешения властей покинул свой административный округ, что у него нет удостоверения личности, что нарушил комендантский час, а также был пьян и ходил по городу в неподобающем виде. Приписав его слабость и бессвязную речь алкогольному отравлению, они оставили его во дворе, а всех других узников снова загнали в камеры; днем К. посадили в полицейский фургон и отвезли в больницу. Там с него сняли всю одежду, и он лежал голый на резиновой подстилке, а молоденькая санитарка мыла и брила его, потом наде-

ла на него белую рубаху. Он не испытывал никакого стыда.

— Скажите, пожалуйста, мне всегда хотелось узнать, кто это такой — принц Альберт? — спросил он санитарку. Она вроде бы не услышала его вопроса. — И кто такой принц Альфред? Ведь принц Альфред тоже есть? — Закрыв глаза, он с удовольствием ждал, когда мягкая влажная губка еще раз коснется его лица.

И вот он опять лежит в чистых простынях; поместили его не в главный корпус, а в длинную деревянную, крытую железом пристройку, где были, насколько он видел, только дети и старики. С голых стропил свисали на длинных проводах голые лампочки, они все время раскачивались. От бутылки, установленной на штативе, к его руке тянулась резиновая трубка; краем глаза он при желании мог наблюдать, как час за часом понижается уровень жидкости в бутылки.

Один раз, очнувшись от забытья, он увидел в дверях медсестру и полицейского: они смотрели в его сторону и что-то говорили шепотом. Фуражку полицейский держал под мышкой.

Под вечер в окно заглянуло солнце. На губу ему села муха. Он смахнул ее. Она покружилась у него над головой и снова опустилась на губу. Он смирился: тонкий хоботок принялся обследовать его губу.

Санитар вкатил в палату раздаточный столик с обедом. Все, кроме К., получили подносы. По палате поплыл запах еды, и он почувствовал, как рот его наполняется слюной. В первый раз за долгое время ему захотелось есть. Неужели голод снова затянет его в рабство? Впрочем, это ведь больница, здесь лечат тело, оно здесь вступает в свои права.

Сгустились сумерки, потом наступила темнота. Кто-то включил свет. К. закрыл глаза и заснул. Когда

он снова открыл их, свет все еще горел. Потом он стал меркнуть и потух. В четыре окна протянулись лунные полосы. Где-то поблизости глухо стучал мотор. Он заснул.

Утром он позавтракал детской кашкой и молоком, и его не вырвало. Он чувствовал, что ему достанет сил подняться, но стеснялся, покуда не увидел, как какой-то старик, закутавшись в длинный халат поверх пижамы, вышел из палаты. Тогда он встал и походил туда-обратно возле своей койки, чувствуя себя очень неловко в длинной рубашке.

На соседней койке лежал мальчик, вместо одной руки у него была забинтованная культия.

— Что с тобой случилось? — спросил К.

Мальчик, не ответив, отвернулся.

«Найти бы мне мою одежду, — думал К., — и я бы ушел». Но тумбочка возле его койки была пуста.

Днем он снова поел.

— Ешь, пока дают, — сказал ему санитар, который привез еду, — еще успеешь наголодаться. — И двинулся дальше, толкая перед собой столик на колесиках.

Странно он это сказал. К. все смотрел на санитаря, пока тот объезжал больных с обедом. Почувствовав на себе его взгляд, санитар улыбнулся ему с другого конца палаты загадочной улыбкой, но когда вернулся забрать поднос, ничего больше не сказал.

Солнце напекло железную крышу, и палата превратилась в раскаленную печь. К. лежал, раскинув ноги, и дремал. Очнувшись в очередной раз от забывтья, он увидел над собой того же полицейского и ту же медсестру. Он закрыл глаза, а когда снова открыл, их уже не было. Наступила ночь.

Утром за ним пришла сестра и отвела к скамье в коридоре главного здания, где он целый час дожидался своей очереди.

— Как ты себя чувствуешь сегодня? — спросил доктор.

К. замялся, не зная, что сказать, и доктор, не дождавшись ответа, переключился на осмотр. Он велел К. глубоко дышать и прослушал его грудь. Он осмотрел его, нет ли венерического заболевания. Все было закончено в две минуты. Доктор начал что-то писать в коричневом блокноте.

— Ты когда-нибудь обращался к врачам по поводу губы? — спросил он, не переставая писать.

— Нет, — ответил К.

— Тебе могут ее поправить, — сказал доктор, но сам не предложил это сделать.

К. вернулся в палату и лег на свою койку, подложив руки под голову. Сестра принесла ему одежду: белье, защитного цвета рубашку и шорты, все тщательно отглаженное.

— Надевай, — сказала она и перешла к другой койке.

К. сел на койке и надел все это на себя. Шорты были ему велики. Когда он встал, пришлось ухватить их за пояс, чтобы не свалились. И тут он опять увидел в дверях того полицейского.

— Они мне велики, — сказал он сестре. — Дайте мне, пожалуйста, мою собственную одежду.

— Получишь свою одежду на выходе, — ответила сестра.

Полицейский повел его по коридору к столу дежурной и сам забрал сверток в оберточной бумаге. Оба молчали. На стоянке ждала синяя полицейская машина. К., пританцовывая на месте — так жег раскаленный гудрон его босые ступни, — ждал, пока полицейский отопрет заднюю дверцу.

Он думал, что его отвезут обратно в полицейский участок, но вместо этого его провезли через

весь город, потом машина тряслась еще километров пять по проселочной дороге и подъехала к лагерю, огороженному посреди пустынного вельда. От своей пещеры в горах К. видел желтый прямоугольник Яккалсдрифа, но принял его за строительную площадку. Ему и в голову не пришло, что это один из трудовых лагерей, что в палатках и в некрашенных деревянных строениях с железными крышами живут люди, а поверх забора в три метра высотой натянута колючая проволока. Поддерживая шорты, он вылез из машины и попал под обстрел любопытствующих взглядов десятков взрослых и детей, облепивших забор по обе стороны от ворот.

У входа стояла караулка с крытой верандой, на которой в двух кадках росли два одинаковых серо-зеленых кактуса. На веранде их поджидал толстяк в военной форме. К. узнал синий берет добровольческих отрядов. Сопровождавший К. полицейский поздоровался с толстяком, и они ушли в караулку. К., со свертком под мышкой, остался стоять перед воротами на обозрение толпы. Сначала он смотрел вдаль, потом перевел взгляд на свои ноги; он не знал, какое выражение придать своему лицу.

— Где спер штаны, друг? — крикнул кто-то.

— По всему видать — у нашего сержанта! — ответил другой голос, и послышался смех.

Из домика вышел второй охранник. Он отпер лагерные ворота, провел К. через толпу и зашагал по утоптанному плацу к одному из деревянных барачков. Внутри барака было темно — ни одного окошка. Охранник показал незанятые нары.

— Теперь твой дом тут, — сказал охранник. — Держи его в чистоте, другого у тебя нет. — К. взобрался на нары и лег на обтрепанную поролоновую подстилку; до железной кровли можно было

достать рукой. Задыхаясь от жары, он ждал, когда уйдет охранник.

Остаток дня он пролежал на нарах, вслушиваясь в звуки лагерной жизни за стенами барака. В дверь ворвалась стайка мальчишек, они с гиканьем носились друг за дружкой, вскакивали на нары и прятались под ними, а когда убежали, плотно захлопнули дверь. Он старался уснуть и не мог. В горле у него пересохло. Он думал о прохладной пещере в горах, о полноводных ручьях. Тут как в приюте, думал он: я опять попал в приют «Норениус», только теперь я уже старый, я не вынесу. Он стянул с себя рубашку и шорты и развернул сверток; но запах пота, который пропитал его одежду, за эти дни стал затхлым, тяжелым и казался чужим. В одних трусах, распластавшись на нагретой подстилке, он ждал, когда кончится день.

Кто-то отворил дверь и на цыпочках приблизился к его закутку. К. притворился спящим. Его голые руки коснулись чьи-то пальцы. Он вздрогнул.

— Тебе плохо? — спросил человек.

К. не мог разглядеть лицо мужчины — тот стоял против света, падающего из дверного проема.

— В порядке, — ответил К. Слова, казалось, долетали откуда-то издалека.

Незнакомец все так же на цыпочках вышел из барака. К. подумал: я не знал, мне не сказали, что отвезут обратно к людям.

Немного погодя он оделся и вышел из барака. Солнце припекало, воздух был неподвижен — ни дуновения ветерка. В тени палатки на одеяле лежали две женщины. Одна спала, другая прижимала к груди спящего младенца. Она улыбнулась К.; он кивнул и прошел мимо. Отыскав цистерну с водой, он долго пил. На обратном пути он заговорил с женщиной.

— Можно тут где-нибудь постирать? — спросил он.

Она показала, где душевая.

— Мыло у тебя есть? — спросила она.

— Есть, — соврал он.

В душевой было два таза и два душа. Он хотел принять душ, но вода из крана не лилась. Он постирал белую куртку с нашивкой «Св. Иоанн», черные брюки, желтую рубашку и трусы, резинка в которых совсем растянулась; приятно было погружать одежду в воду, тереть и отжимать ее, стоя с закрытыми глазами, погрузив по локоть руки в холодную воду. Он надел башмаки. Позже, когда он развешивал одежду на веревке, он заметил надпись на стене: «Яккалсдрифский лагерь для эвакуированных. Душ работает: для мужчин от 6 до 7 веч.; для женщин от 7.30 до 8.30. Соблюдайте очередь. Экономьте воду». Он проследил, куда идет труба от цистерны: она ныряла под забор, потом поднималась к пригорку, на котором стояла водокачка.

Женщина с ребенком остановила его, когда он проходил мимо.

— Ты развесил там одежду, — сказала она, — так учти — утром ее не будет.

Тогда он все снял и расстелил вещи на своей койке.

Солнце клонилось к закату; людей вокруг стало больше, и куда ни посмотри — дети. У соседнего барака играли в карты три старика. Он постоял, поглядел.

Он насчитал тридцать палаток, они были расставлены по всей территории на равном расстоянии одна от другой, и семь барачных; а еще душевые и уборные. Фундаменты для второго ряда барачных были уже заложены, из цемента торчали ржавые железяки.

Он пошел к воротам. На крыльце караулки дремал в шезлонге один из охранников, рубашка на нем была расстегнута до самого пояса. К. приткнулся лицом к решетке, ему хотелось разбудить охранника. «Почему меня сюда привезли? — хотел он спросить. — Сколько мне тут сидеть?» Но охранник не открывал глаза, и у К. не хватило храбрости его окликнуть.

Он побрел назад к бараку, а от барака к цистерне. Он не знал, куда себя деть. Какая-то девчушка с ведром направилась было к цистерне, но, увидев его, повернула обратно. Он ушел к задней изгороди и стал смотреть на пустынный вельд за лагерем.

В двух-трех каменных очагах, сложенных между палатками, загорелся огонь; лагерь оживился, слышался говор, люди переходили с места на место.

В клубах пыли, к воротам подкатил синий полицейский пикап, за ним открытый грузовик, набитый людьми. Ребятишки гурьбой бросились к воротам. Охранник пропустил пикап в ворота, и он медленно поехал к четвертому бараку, на крыше которого виднелась труба. Из пикапа вышли две женщины, шофер втащил в барак большую коробку. В пикапе играло радио — К. слышал, хоть и стоял вдалеке у забора. Вскоре из трубы на крыше выплыло первое облачко дыма.

Мужчины, приехавшие на грузовике, сгружали вязанки дров и складывали их во дворе.

Шофер-полицейский вернулся в кабину и начал причесываться. Одна из женщин, рослая, мощная, в брюках, вышла из барака и стала бить в железный треугольник. Еще не замер последний удар, а к бараку уже сбегалась толпа ребятишек с мисками, кружками и консервными банками в руках, подошли матери с грудными младенцами. Женщина в брюках оттеснила ребятишек от двери и начала

впускать их по двое в барак. К. подошел и встал позади всех. Первые ребята уже выходили из барака, К. увидел у них в руках суп и ломти хлеба.

Какой-то мальш споткнулся и выплеснул суп себе под ноги. Сконфузившись, словно он обмочился, мальш снова занял очередь. Кое-кто из ребят съедал суп прямо возле барака, сев на голую землю, другие уносили к себе в палатки.

К. подошел к женщине в дверях.

— Извините, — сказал он, — а можно мне получить еду? У меня нет миски. Я из больницы.

— Это только для детей, — ответила женщина и отвела взгляд.

Он пошел в свой барак и надел черные брюки, хотя они были еще влажные. Шорты он засунул под подстилку.

— Где я могу поесть? — спросил он полицейского в пикапе. — Я сюда не просился. А теперь вот не знаю, где мне взять еду?

— Это не тюрьма, — сказал полицейский, — это лагерь, тут все сами зарабатывают себе на еду. И ты работай.

— Как же мне работать, когда я тут заперт? Какую работу я должен делать?

— Катись ты, — огрызнулся полицейский. — Спроси у своих дружков. Тоже мне нашелся, буду я тебя задаром кормить!

В горах было лучше, думал К. Было лучше на ферме, на дорогах. В Кейптауне было лучше. Он подумал о раскаленном темном бараке, о незнакомых чужих людях на койках, об их насмешках. Как будто я вернулся в детство, подумал он, как будто мне снится кошмар.

Теперь во многих местах разожгли очаги, по лагерю поплыл запах еды, где-то даже жарили мясо.

Рослая женщина в брюках поманила его рукой и сунула ему в руку пластиковое ведро.

— Вот вымой, — сказала она, — потом поставишь сюда. А дверь запри. Умеешь запирать такой замок?

К. кивнул. На дне ведра осел слой гущи от супа. Женщины сели в пикап рядом с полицейским; когда машина тронулась, К. обратил внимание, что все трое уставились прямо перед собой и не смотрят по сторонам, как будто все им тут давно известно.

Стемнело. Вокруг очагов люди ели и разговаривали; потом кто-то заиграл на гитаре, начались танцы. Сначала К., держась в тени, смотрел на отдыхающих людей; потом ему стало неловко, он ушел в пустой барак и лег на койку.

Кто-то вошел в барак; когда темная фигура приблизилась к нему, он повернулся.

— Хочешь сигарету? — спросил голос.

К. взял сигарету и сел, прислонившись к стене. Чиркнула спичка, мужчина, стоящий перед ним, судя по виду, был старше его.

— Ты откуда сюда прибыл? — спросил мужчина.

— Я сегодня походил вдоль заднего забора, — сказал К. — Перелезть его ничего не стоит. Ребенок и тот мигом перелезет. Почему люди не уходят?

— Это не тюрьма, — сказал мужчина. — Слышал, тебе полицейский объяснял? Это Яккалсдриф. Лагерь. Знаешь, что такое лагерь? Это для людей, у которых нет работы. Для всех тех, кто ходит с фермы на ферму и просит работы, потому что им нечего есть и нет крыши над головой. Таких они забирают сюда, чтоб не бродили и не попрошайничали. Ты спрашиваешь, почему я не убегаю? Да потому что бежать мне некуда и зачем лишаться такой приятной жизни? Здесь мягкие постели, даровое топливо

и охранник с ружьем, который не даст вора́м тебя ограбить. Ты что, с луны свалился?

К. молчал. Он не очень понял, кого этот человек упрекает.

— Перелезешь через загородку, — сказал мужчина, — и лишишься дома. Теперь твой дом — Яккалсдриф. Добро пожаловать! Убежишь отсюда — и они тебя схватят, потому что ты станешь бродягой. Ты бездомный. Первый раз тебя отвозят в Яккалсдриф. Второй раз — Брандвлей. Хочешь в Брандвлей? Там каторга — каменные разработки, охранники с кнута́ми. Перелезешь забор, схватят тебя — это у тебя ведь второе нарушение, отправят в Брандвлей. Ты это все запомни. Выбирать не из чего. Да и куда ты хочешь податься? — он понизил голос. — В горы?

«Чего ему от меня надо», — думал К. Советчик тем временем шлепнул его по колену.

— Пошли к нам, — сказал он. — Видел, как они обыскивают людей в воротах? Ищут спиртное. В лагере спиртное запрещено. Идем к нам, выпьем.

И он отвел К. в компанию, собравшуюся вокруг гитариста. Тот оборвал игру.

— Это Михаэл, — сказал его новый знакомый. — Не чаял, как сюда попасть, уж больно отдохнуть захотелось. Примем его в нашу компанию?

К. усадили, дали ему глотнуть вина из бутылки, обернутой в грубую бумагу, забросали вопросами: откуда он пришел? что делал в Принс-Альберте? где его забрали? Никто не мог уразуметь, зачем он ушел из Кейптауна, зачем отправился в такую даль, в места, где нет работы, где целые семьи покидают родные фермы.

— Я вез в Принс-Альберт свою мать, мы хотели там поселиться, — пытался объяснить К. —

Мать болела, ноги у нее совсем не ходили. Она хотела переехать в деревню, подальше от дождей. Там, где мы жили, все время идут дожди. Только мать умерла по дороге, в Стелленбосе, в тамошней больнице. Так и не увидела Принс-Альберта. А она в здешних местах родилась.

— Бедняжка, — сказала какая-то женщина. — Да разве вы не получали пособия в Кейпе? — спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Здесь-то пособия не дают. Вот оно, наше пособие. — И она обвела рукой лагерь.

К. торопился досказать:

— Потом я работал на железной дороге. Помогал расчищать пути от завала. А потом попал сюда.

Наступила тишина. «Теперь нужно рассказывать про пепел, — подумал К., — чтобы они всё знали, всё до конца». Но он почувствовал, что не может, видно, не настало еще время. Парень с гитарой начал пощипывать струны и заиграл что-то новое. Внимание собравшихся переключилось на песню.

— В Кейптауне тоже не платят пособия, — сказал К. — Теперь нигде нет пособия.

В соседней палатке горела свеча, по ее освещенным стенам двигались огромные тени. К. откинулся на локоть и стал смотреть на звезды.

— Мы тут уже пять месяцев, — произнес голос рядом с ним. Говорил мужчина, который жил в этой палатке. Звали его Роберт. — Жена, дети — три девочки и мальчик, да еще сестра с детьми. Я работал на ферме неподалеку от Клаарструма. Долго работал — двенадцать лет. И вдруг — на тебе! — нет спроса на шерсть. Тогда ввели норму — столько-то на одного фермера, и не больше. Потом закрыли одну дорогу на Аудсхорн, а за ней и другую, потом обе открыли, потом окончательно закрыли обе. Тогда

пришел ко мне хозяин и говорит: «Не могу я тебя больше держать. Больно много ртов, не накормишь. Самому не хватает». — «Куда же мне податься? — спрашиваю. — Вы знаете, работы сейчас не найти». — «Прости, говорит, я против тебя ничего не имею, просто самому не хватает». Ну и выпроводил меня вместе со всем семейством, а одинокого молодого парня, который и работал-то у него без году неделя, оставил. Одного он мог прокормить. Я ему сказал: «А как я свою семью прокормлю? Теперь ведь я без работы». Ну что там говорить, собрали мы пожитки и ушли; и только вышли на дорогу — вот честное слово, не вру! — только вышли, полиция нас и забрала; он им позвонил, они забрали нас, и в ту же ночь мы оказались здесь, в Яккалсдрифе, за колочей проволокой. «Не имею места проживания? — сказал я им. — Но прошлой ночью оно у меня было, как это вы успели узнать, что сегодня ночью у меня не будет места проживания?» А они в ответ: «Где вам лучше спать: в вельде, под кустом, точно звери, или в лагере, где есть постели и водопровод?» — «А я могу выбирать?» — спросил я. «Ты уже выбрал, говорят. Яккалсдриф выбрал. Нечего тут шляться по дорогам и беспокоить людей». Но я тебе точно скажу, в чем тут дело, почему они нас тут же схватили. Не хотят они, чтобы люди скрывались в горах, а потом вернулись однажды ночью, поломали изгороди и угнали их скот. Знаешь, сколько тут в лагере мужчин, молодых мужчин? — Он склонился к К. и понизил голос: — Тридцать. С тобой тридцать один. А сколько женщин, детей и стариков? Оглянись вокруг и посчитай. Вот я тебя и спрашиваю: где же мужчины, которых тут нет, а семьи их тут?

— Я был в горах, — сказал К. — Я никого не видел.

— Но ты спроси любую из этих женщин, где ее муж, она тебе скажет: «Он работает и каждый месяц посылает мне деньги», или: «Он убежал, бросил меня». Поди разберись!

Они долго молчали. Маленький огонек наискось прочертил небо. К. показал на него пальцем.

— Звезда упала, — сказал он.

На следующее утро К. вышел на работу. Первая заявка на рабочую силу поступила от железнодорожной администрации, вторая — от окружного совета Принс-Альберта, дальше пошли запросы от местных фермеров. Грузовик пришел за ними в шесть тридцать, а в семь тридцать они уже работали к северу от Леу-Гамки: расчищали от травы и кустарника русло реки у железнодорожного моста, вверх и вниз по течению, копали ямы и размещивали цемент для придорожной ограды. Работа была тяжелая; к полудню К. совсем выдохся. «В горах я стал стариком», — думал он.

Возле него остановился Роберт.

— Чего ты надрываешься, приятель, — сказал он. — Ты вспомни, сколько нам платят. Всем одинаково — один ранд в день. Я получаю полтора ранда, потому что у меня семья. Так что умерь свой пыл. Сходи хоть по нужде. Ты ведь из больницы, не больно крепкий.

Позже, во время перерыва, он дал К. один из своих бутербродов и лег возле него в тени под деревом.

— На пять-шесть рандов, что ты получишь в неделю, — объяснил он ему, — ты должен себя кормить. В лагере только ночуют. Те две теткы, что ты видел вчера, приезжают три раза в неделю, но кормят они детей, это благотворительность. Моя жена работает в городе прислугой, три раза в неделю по полдня. Маленького берет с собой, за остальными

смотрит сестра. Так что мы, может, выбиваем и двенадцать рандов в неделю. На них надо прокормить девять человек: троих взрослых и шестерых ребятшек. Другим еще хуже. А когда работы нет, совсем плохо — сидим за колючей проволокой и затягиваем потуже ремни.

А деньги, что ты заработал, можно потратить только в одном месте — в Принс-Альберте. Но и тут неладно: не успеешь войти в какую-нибудь лавчонку, как цены уже подскочили. Почему же это? Да потому, что ты из лагеря. Не хотят они, чтобы рядом с их городом был лагерь. И всегда не хотели. Они тут сначала такое подняли! Рассадник болезней, говорят. Антисанитарные условия, распутство. Настоящий вертеп — мужчин и женщин согнали вместе. Послушать их, так выходит, что посредине лагеря нужно перегородку поставить: мужчины по одну сторону, женщины по другую, а ночью чтоб вдоль этой перегородки собаки бегали. Им, я думаю, чего бы хотелось? Загнать лагерь подальше в пустыню, с глаз долой. В полночь мы, как эльфы, на цыпочках прибегаем и делаем всю работу: перекапываем их сады, моем посуду, а утро пришло — повсюду чистота, а нас нет.

Ты, конечно, спросишь: кому же он понадобился, этот лагерь? Я тебе отвечу. Во-первых, железной дороге. Дай им волю, они бы через каждые десять миль таких лагерей нагородили. Во-вторых, фермерам. Потому что это дешевле некуда — вызвать на день бригаду из Яккалсдрифа, а вечером придет грузовик, и их как не бывало, никаких тебе беспокойств, и о семьях не надо думать, что дети замерзнут или передохнут с голода; хозяин знать ничего не знает, не его забота.

Неподалеку, но все же на достаточном расстоянии, так что слышать он их не мог, сидел на склад-

ной скамеечке бригадир К. смотрел, как он наливает кофе из термоса. Его длинные плоские пальцы никак не могли ухватить ручку кружки. Потом он поднял ее двумя пальцами и стал пить. Глаза его над краем кружки встретились со взглядом К. «Что он увидел? Каким я ему представляюсь?» — подумал К. Бригадир поставил на землю кружку, поднес к губам свисток и, не вставая со скамеечки, дунул в него.

Под вечер, когда К. вырубал корни терновника, тот же бригадир подошел и встал за его спиной. К. посмотрел из-под руки, увидел два черных башмака и пальмовую трость, глухо постукивающую по пыли, почувствовал, как его охватывает знакомая дрожь. Он продолжал рубить, но сила ушла из рук. Только когда бригадир двинулся дальше, он начал приходить в себя.

К вечеру он так устал, что не мог даже есть. Он вынес свой матрац наружу, лег и стал смотреть, как одна за другой на фиолетовом небе появляются звезды. Потом кто-то на пути в нужник споткнулся об него. Он поскорее унес матрац обратно в барак и лег в темноте на свои нары.

В субботу им выплатили деньги и приехала лавка. В воскресенье лагерь посетил пастор, который отслужил службу, после чего лагерные ворота раскрыли до комендантского часа. К. пошел на богослужение. Он стоял среди женщин и детей и пел. Затем пастор склонил голову и начал читать молитву: «Пусть мир снова войдет в наши сердца, о господи, и сделай так, чтобы вернулись мы в наши дома, не тая зла ни на кого, исполни нас решимостью жить всем вместе в дружбе во имя твое, следуя твоим заповедям». Кончив молитву, он поговорил с несколькими стариками, затем сел в синий пикап, который дожидался его у ворот, и укатил.

Теперь они могли отправляться в Принс-Альберт, в гости к друзьям или просто погулять по вельду. Мимо К. проследовало целое семейство, восемь человек: отец и мать в скромных черных одеждах, девочки в розовых и белых платьицах и в белых шляпках, мальчики в серых костюмчиках и в галстуках, ноги втиснуты в начищенные до блеска черные ботинки — они вышли за ворота и пустились в неблизкий путь до города. За ними последовали другие обитатели лагеря: стайка девочек — идут, взявшись за руки, смеются; гитарист с сестрой и своей девушкой.

— Может, и нам в город? — обратился К. к Роберту.

— Пусть молодежь идет, коли им хочется, — сказал Роберт. — Чего там такого особенного, в Принс-Альберте, в воскресенье? Я сколько раз был, ничего интересного. А ты иди с ними, если хочешь. Купи чего-нибудь прохладительного, посиди за столиком перед кафе, почешись — ведь, поди, блохи тебя здорово начкалили. Больше там делать нечего. Я тебе вот что скажу: если мы в тюрьме, пусть это и будет тюрьма, и нечего делать вид, будто ты на воле.

И все же К. вышел за ворота. Он медленно брел по берегу речки Яккалс, покуда не скрылись из виду колючая проволока, и палатки, и насосный ветряк. Тогда он лег на теплый серый песок, надвинул берет на лицо и заснул. Проснулся он весь в поту. Он сдвинул с лица берет и сразу сощурился. Огромное — во весь небосвод — солнце ударило ему в веки всеми цветами радуги. «Я как муравей, который потерял лаз», — подумал он. Он запустил обе руки в песок и стал снова и снова просыпать его меж пальцев.

В больнице ему сбрили усы, но теперь они стали отрастать и прикрыли верхнюю губу. И все ж ему было нелегко сидеть у костра вместе с Робертом и его семейством — дети не сводили с него глаз. Особенно один мальш, он прямо-таки впивался в него глазами и не отводил взгляда, куда бы К. ни пересел. Смущенная мать тащила его в палатку, но он хныкал и вырывался, а К. не знал, что ему делать, куда смотреть. Он подозревал, что девчонки постарше смеются за его спиной. Он никогда не знал, как себя вести с женщинами. Благотворительницы, что привозили суп, оттого ли что он такой худой, а может, просто считали его дурачком, постоянно разрешали ему подчищать остатки из бачков с супом: три раза в неделю это была его еда. Половину своего заработка он отдавал Роберту, остальные деньги носил в кармане. Покупать ему ничего не хотелось: в город он не сходил ни разу. Роберт по-прежнему приглядывал за ним и давал советы, но про лагерь говорить перестал.

— Таких сонуль, как ты, я сроду не видел, — сказал как-то Роберт.

— И верно, — согласился К. Он поразился, что Роберт это заметил.

Работы у моста закончились. Два дня все мужчины оставались в лагере, потом приехал муниципальный грузовик и отвез их на дорожные работы. К. стоял в очереди у ворот вместе со всеми, но в последний момент отошел в сторону и не полез в кузов.

— Я болен, не могу работать, — сказал он охраннику.

— Решай, как знаешь, — сказал тот, — но платить тебе не будут.

К. вынес тюфяк и лег в тени барака, прикрыв лицо согнутой в локте рукой; лагерь жил вокруг него

своей жизнью. Он лежал так неподвижно, что малыши, которые сначала держались на расстоянии, стали его тормозить и поднимать, но так и не подняли и тогда включили его тело в свои игры. Они карабкались на него, валились плашмя, как будто он был просто бугорком на земле. Все так же закрывая лицо, он перекатился на живот и обнаружил, что может дремать, даже когда маленькие чертенята сидят на нем верхом. Ему было приятно. Ребячьи прикосновения будто вливали в него здоровье; он огорчился, когда приехала санитарная служба и двое мужчин стали засыпать известью отхожие места, отогнав К. и ребяташек подалее.

К. подошел к загородке и спросил охранника:

— Можно мне выйти?

— Ты ведь, кажется, болен? Утром ты сказал мне, что болен.

— Я не хочу работать. Почему я должен работать? Это не тюрьма.

— Работать не хочешь, а чтобы тебя кто-то кормил, хочешь?

— Мне не нужно все время есть. Когда захочу есть, пойду работать.

Охранник сидел в качалке на крыльце караулки, прислонив ружье к стене возле себя. Он улыбнулся, глядя куда-то вдаль.

— Так ты откроешь ворота? — спросил К.

— Кроме как с рабочей бригадой ты отсюда не выйдешь, — сказал охранник.

— А если я перелезу через загородку? Ты что сделаешь?

— Если ты перелезешь через загородку, я тебя застрелю и раздумывать не стану, уж ты мне поверь, так что не пытайся.

К. погладил рукой проволоку, точно решая, рискнуть или нет.

— Хочу кое-что объяснить тебе, друг ты любезный, — сказал охранник, — для твоей же пользы, поскольку ты здесь новичок. Ну выпущу я тебя отсюда, да ведь через три дня ты придешь и умолять будешь, чтобы я тебя впустил обратно. Я-то знаю. Через три дня. Будешь стоять вот тут у ворот и плакать и умолять, чтоб я тебя впустил. Ты сам поразмысли, ну зачем тебе бежать отсюда? Тут крыша над головой, и койка, и еда. И работа. Людям ведь как трудно сейчас живется, сам видишь, не мне тебе рассказывать. Так чего тебе надо?

— Не хочу жить в лагере, вот и все, — сказал К. — Позволь мне перелезть через загородку и уйти. Повернись ко мне спиной. Никто и не заметит, что я ушел. Вы ведь даже не знаете, сколько тут у вас людей.

— Влезешь на загородку, я тебя застрелю, мистер. И нисколечко не пожалею. Предупреждаю тебя.

На следующее утро К. не вставал, куда все не уехали на работу. Позже он опять подошел к воротам. Дежурил все тот же охранник. Они поговорили про футбол.

— У меня диабет, — сказал охранник. — Поэтому меня и не отправили на север. Три года уж служу, то писарем был, то в каптерке, то вот охранником. Ты говоришь, в лагере плохо, а попробовал бы ты высиживать тут двенадцать часов подряд — сиди да смотри вон на те кусты! И все же, друг, скажу тебе кое-что, как на духу скажу: в тот день, когда я получу предписание ехать на север, я смоюсь. И больше они меня не увидят. Это не моя война. Пусть сами воюют.

Он поинтересовался, что у К. со ртом («Просто любопытно», — сказал он), и К. ему объяснил. Он кивнул.

— Я так и думал, — сказал он. — А потом подумал, может, кто тебя порезал.

В караулке у него стоял маленький холодильник. Он вынес хлеб и холодную курятину и поделился с К., просунув ему бутерброд сквозь проволоку.

— Мы тут, знаешь ли, неплохо живем, — сказал он, — если иметь в виду, что сейчас война. — И хитровато ухмыльнулся.

Рассказал о лагерных женщинах, как они приходят по ночам к нему и к другим охранникам.

— Томятся они тут без мужиков, — сказал он. Потом зевнул и уселся в качалку.

На следующее утро пришел Роберт и разбудил К.

— Одевайся, — сказал Роберт, — надо выходить на работу.

К. скинул его руку.

— Не дури. Сегодня все должны быть на месте, никаких болезней, никаких объяснений. Надо идти.

Через десять минут К. уже стоял за воротами в ожидании грузовика. Их провезли по улицам Принс-Альберта, потом грузовик выехал из города и взял направление на Кларструм; они свернули на проселок, проехали мимо большой тенистой усадьбы и остановились у поля зеленой сочной люцерны; их ждали два полицейских-резервиста с повязками на рукаве и с ружьями. Спрыгнув на землю, каждый получал серп; работник, который раздавал серпы, ничего не говорил и не смотрел им в глаза. Появился высокий мужчина в свежееотглаженных брюках цвета хаки. Он поднял вверх серп.

— Все вы знаете, как им работать! — крикнул он. — Сожнете вот это поле, тут два моргана. Начинайте!

Растянувшись в линию, в трех шагах друг от дружки, жнецы двинулись по полю: наклон — пу-

чок в руке, сечет серп, полшага вперед — работа пошла в таком ритме, что К. тут же вспотел и у него закружилась голова.

— Чище режь, чище! — рявкнул голос у него за спиной. К. обернулся — это был фермер в хаки; он почувствовал запах дорогого дезодоранта. — Где тебя учили жать, обезьяна? — заорал фермер. — Ниже бери, ниже! — Он отнял у К. серп, оттолкнул его в сторону, захватил в руку пук люцерны и чисто и низко срезал его. — Видал? — рявкнул он. К. кивнул. — Вот так давай, так! — К. наклонился и срезал следующий пучок почти у самой земли. — Где они только набирают такую дохлятину? — сказал фермер одному из резервистов. — Он же полумертвый! Скоро они трупы повывкапывают!

— Не могу я больше, — с трудом ворочая языком, сказал К. Роберту в первом перерыве. — Спи-на прямо раскалывается, и каждый раз, когда выпрямляюсь, перед глазами все плывет.

— А ты помедленней, — посоветовал Роберт. — Сил у тебя нет, а заставить они тебя не могут.

К. смотрел на неровный валок, который он сжал.

— Знаешь, кто этот крикун? — зашептал Роберт. — Зять капитана полиции Остхейзена, у него жнейка отказала, а он поднял телефонную трубку, позвонил в полицейский участок и, пожалуйста, получайте: утром тридцать пар рук уже жнут тебе люцерну. Вот она, наша система!

Уже темнело, когда они дошли до конца поля, завтра предстояло сгребать траву в копны. К. еле держался на ногах. В грузовике он закрыл глаза, и его будто швырнуло куда-то и закружило в бездне. В бараке он повалился на койку и заснул мертвым сном. А глубокой ночью проснулся от плача младенца. Вокруг слышался недовольный ропот:

похоже, все проснулись. Казалось, прошел уже не один час, а они все лежали и слушали, как где-то в палатке то всхлипывал, то заходился в крике ребенок. К. лежал, сжав на груди кулаки, не было мочи — так хотелось спать; пусть он сгинет, лишь бы замолчал!

Утром в грузовике, под воющим ветром, К. упомянул об этом ночном плаче.

— Хочешь знать, как они его в конце концов утихомирили? — сказал Роберт. — Бренди. Бренди и аспирин. Другого лечения здесь нет. В лагере нет врача, даже медсестры нет. — Он помолчал, потом снова заговорил: — Я тебе расскажу, что тут было, когда они открыли этот лагерь, открыли «новый дом», который они, видите ли, построили для всех бездомных, для переселенцев из Бонтискраала и Ондердорпа, для уличных нищих, бродяг, что ютятся в горах, для тех, кого выгнали с ферм. Не прошло и месяца с того дня, как они отворили ворота лагеря, а все тут заболели. Дизентерия, корь, грипп — одно за другим. Потому что заперли всех как скотину в загоне. Приехала окружная фельдшерица, и знаешь, что с ней было? Спроси тут каждого, кто тогда был, они тебе скажут. Она стояла посередине лагеря, у всех на виду, и плакала. Плядела на детишек, на эти скелетики, и не знала, что ей делать, — стояла и плакала. Большая, сильная женщина! Окружная фельдшерица.

Ну, в общем, они перепугались. Стали бросать какие-то таблетки в воду, выкопали сортиры, стали прыскать чем-то от мух и привозить бачки с супом. Только, думаешь, из любви к нам? Ни черта подобного! Им так легче, чтобы мы были живы, потому что уж больно страшно на это смотреть, когда мы заболеваем и умираем. Если бы просто все усыхали и превращались в бумагу, а потом в пепел

и его куда-то уносило, они бы и пальцем ради нас не шевельнули! Но они не хотят расстраиваться. Хотят ложиться спать в хорошем настроении.

— Не знаю, не знаю, — сказал К.

— Ты не вглядывался, — сказал Роберт. — Загляни поглубже в их души — сам увидишь.

К. пожал плечами.

— Ты ребенок, — сказал Роберт. — Всю жизнь спишь. Пора бы и проснуться. Как ты думаешь, почему они тебя тут подкармливают? Тебя и детей? Да потому что считают тебя безвредным, считают, что ты не замечаешь ничего вокруг.

Через два дня младенец, что кричал ночью, умер. Поскольку власти установили железное правило ни под каким видом не устраивать кладбищ ни на территории лагерей, ни поблизости от них, младенца похоронили на отдаленном участке городского кладбища. Мать, молоденькая восемнадцатилетняя женщина, вернувшись с похорон, отказалась от еды. Она не плакала, просто сидела возле палатки и смотрела в ту сторону, где раскинулся Принс-Альберт. Друзей, которые подходили утешать ее, она не слышала; когда они прикасались к ней, она отталкивала их руки. К. долго стоял в сторонке у изгороди, чтоб ей не было видно, и смотрел на нее. «Значит, вот так я прохожу науку? — спрашивал он себя. — Так я узнаю хоть про то, как живут в лагере?» Картины жизни одна за другой мелькали перед ним, и все они, казалось ему, были связаны. Наверно, во всем этом один смысл, тревожно думал он, все сходится к одному или грозит сойтись, но только вот к чему — это еще было ему неясно.

Женщина просидела у палатки всю ночь и еще день, потом ушла в палатку. Она так и не заплакала и, как говорили, не брала в рот ни крошки. Каждое

утро К. просыпался с одной мыслью: увижу ли я ее сегодня? Она была низенькая и толстая: никто в лагере точно не знал, кто отец ребенка, ходили слухи, что он скрывается в горах. К. думал: может, я наконец влюбился? Затем, три дня спустя, она вышла из палатки и все пошло по-прежнему. Наблюдая за ней издали, К. не находил в ней никакого отличия от других. Он так и не заговорил с ней.

Однажды ночью, в декабре, разбуженные взволнованными криками люди повскакали с коек и увидели, как в темном небе, в той стороне, где находится Принс-Альберт, распускается огромный оранжевый цветок. Люди замерли, зашептались, кто-то свистнул.

— Голову даю на отсечение, это полицейский участок! — крикнул кто-то.

Они целый час стояли и смотрели, как огонь взлетал фонтаном вверх, опадал и взлетал снова. Порой казалось, что крики и рев пламени доносятся сюда через пустынные пространства вельда. Потом постепенно цветок стал краснеть и тускнеть, фонтан совсем опал, детишки заснули у матерей на руках, а те, что постарше, терли слипающиеся глаза, и когда на горизонте осталось одно лишь дымное облако, люди начали расходиться.

Полиция нагрянула на рассвете. Отряд из двадцати человек, кадровые полицейские и молоденькие резервисты, с ружьями, собаками; под команды офицера, который стоял на крыше полицейской машины и беспрерывно кричал в мегафон, они двинулись по рядам палаток, вырывая опорные колья, спуская палатки, обрушивая удары на запутавшихся в складках парусины людей. Полицейские врывались внутрь палаток и избивали спящих. Убежавшего было парнишку они загнали в угол за отхожим местом и зако-

лотили до беспамятства; страшно кричал мальчик — собака сбила его с ног, разодрала голову, по лицу его текла кровь. Полуодетых мужчин и женщин с детьми выгнали на открытые площадки перед палатками и приказали всем сесть на землю; женщины плакали, молились, другие сидели молча, оцепенев от страха. Окруженные собаками и полицейскими с винтовками на изготовку, люди смотрели, как другие полицейские набрасываются, точно стая саранчи, на палатки, выволакивая из них пожитки, вытряхивая на землю чемоданы и коробки; вскоре на месте палаток громоздились груды одежды, матрацы, постельное белье и одеяла, продукты, кастрюли и посуда, тазы, кувшины; покончив с палатками, полицейские двинулись в бараки и там тоже перевернули все вверх дном.

Все это время К. сидел на земле, натянув на уши берет, — дул порывистый утренний ветер. Рядом, на руках у матери, плакал ребенок, в одной распашонке, с голым задиком, а в оба ее плеча крепко вцепились две маленькие девчушки.

— Иди, сядь ко мне, — шепнул он младшенькой.

Не отводя глаз от раскиданных по земле вещей, она переступила через его ноги и встала в защитное кольцо его рук, все так же посасывая большой палец. Сестричка последовала ее примеру. Девочки стояли, прижавшись друг к другу; младенец выкручивался из материнских рук и плакал.

Людей построили в ряд и начали одного за другим пропускать в ворота. Все, что было при них, приказали складывать перед воротами, даже одеяла, в которые кое-кто завернулся поверх рубах. Полицейский с собакой выбил маленький транзистор из рук женщины, что шла впереди К., он швырнул его на землю и раздавил ногой.

— Никаких транзисторов! — крикнул он.

За воротами мужчин погнали налево, женщин и детей направо. Заперли ворота пустого лагеря. Потом капитан, тот самый высокий блондин, который выкрикивал команды в мегафон, привел двух охранников и поставил их перед выстроившимися вдоль забора мужчинами. Охранники были без автоматов, волосы всклокочены. «Интересно, что произошло в караулке?» — подумал К.

— А теперь перечислите, кого не хватает, — потребовал капитан.

Не хватало троих, они жили в другом бараке, К. с ними ни разу и словом не перемолвился.

Охранники стояли навытяжку перед капитаном, а капитан орал на них. Сначала К. подумал, что он просто призыв к мегафону, потому и кричит, но скоро увидел, что капитан клокочет от ярости.

— Кого мы пригрели на своей груди? — надрылся он. — Преступников! Преступников, саботажников и лентяев! А что делаете вы, вы двое? Жрите, дрызнете, вон какие ряжи себе наели. И знать не знаете, где находятся люди, которых вы поставлены охранять! Может, вы думаете, что этот лагерь — курорт? Нет, черт возьми, это трудовой лагерь! Здесь учат лентяев работать! Работать! А если они не будут работать, мы закроем лагерь! Закроем, и пусть все эти бродяги убираются. Катитесь к чертовой матери, чтоб духу вашего здесь не было! Довольно мы тут с вами возились! — Он повернулся к выстроенным в ряд мужчинам. — Я о вас говорю, неблагодарные твари, слышите — о вас! — срал он. — Разве вы цените добро? Кто дает вам кров, когда вам негде жить? Кто дает вам палатки и одеяла, когда вы дрожите от холода? Кто ухаживает за вами, кто заботится о вас, кто каждый день привозит

вам еду? И чем вы оплатили нам? Все, конец, можете теперь подышать с голода!

Он тяжело перевел дух. Из-за его плеча, словно огненный шар, появилось солнце.

— Слышали, что я сказал? — снова закричал он. — Не слышали — повторю! Захотели войны — будет вам война! Теперь вас будут охранять мои люди, эти дерьмовые солдаты ни хрена не стоят, я поставлю моих людей охранять вас, запру ворота, и если кто-нибудь из вас выйдет за ограду — мужчина, ребенок или женщина, не важно, — они будут стрелять без предупреждения, таков приказ! Вы выходите из лагеря только на работу. Никаких гостей, никаких прогулок, никаких пикников. Утром и вечером проверка, всех присутствующих отмечают. Довольно мы с вами нянчились. А этих обезьян я запру вместе с вами! — Он вскинул руку и театральным жестом указал на двух охранников, которые стояли все так же навтыжку. — Пусть знают, кто здесь хозяин! Вы, двое! Я давно за вами слежу! Думаете, я не знаю, какую райскую жизнь вы себе здесь устроили? Путаетесь с бабами вместо того, чтобы следить за порядком! Мне все известно!.. — Тут он совсем разъярился: бросился к караулке, ворвался в нее и через минуту снова показался в дверях с прижатым к животу маленьким белым эмалированным холодильником. Лицо его от напряжения налилось кровью, берет свалился. Он шагнул за порог, поднял холодильник сколько хватило сил и швырнул с крыльца. Холодильник хрястнулся о землю, из мотора потекла темная маслянистая жидкость.

— Видели? — просипел он и пинком перевернул холодильник набок. Дверца открылась, вывалились бутылка лимонада, пачка маргарина, кольцо колбасы, несколько персиков и луковиц, пластмассовая

фляга для воды, пять бутылок пива. — Вот, глядите! — торжественно просипел он.

Все утро они просидели на солнце, а двое молодых полицейских и их помощник в синей майке с надписью «Штат Сан-Хосе» на груди и на спине медленно и методично обыскивали разгромленный лагерь. Спрятанное в бараках вино выливали на землю. Сложили в кучу все найденное оружие: klerie*, железный ломик, кусок трубы, ножницы для стрижки овец, несколько складных ножей. В полдень объявили, что обыск закончен. Полицейские снова загнали людей в лагерь, заперли ворота и уехали, оставив двоих охранять Яккалсдриф. Эти двое полицейских сели под тент и до вечера наблюдали, как заключенные роются в обломках, пытаясь отыскать свои пожитки.

Потом они узнали от одного из новых охранников, из-за чего на них обрушилась ярость Остхейзена. Ночью в сварочной мастерской на Хай-стрит произошел взрыв и начался пожар, который перекинулся на соседний дом, а с него на городской краеведческий музей. Крытый соломой музей с деревянным потолком и полами сгорел за час, хотя часть старинного сельскохозяйственного инвентаря, который был выставлен во дворе, удалось спасти. Осматривая при свете карманных фонариков дымящиеся развалины сварочной мастерской, полицейские обнаружили, что дверь взломана; а когда один из водителей вспомнил, что вечером остановил у поворота к Яккалсдрифу троих мужчин на двух велосипедах (он предупредил их, что скоро наступит комендантский час, они могут оказаться нарушителями, но они ответили, что успеют доехать до дома, они живут в Ондердорпе, и полицейский

* Палка (африкаанс).

о них забыл), то всем стало ясно, что и взрыв, и поджог дело рук обитателей лагеря.

К. без труда нашел те несколько вещей, что ему принадлежали, но другие, у которых были здесь сундуки и чемоданы, с убитым видом бродили по лагерю, отыскивая свое добро. Ссорились из-за такой мелочи, как пластмассовая гребенка. К. ушел от них.

Была среда, но суп им не привезли. Несколько женщин подошли к воротам и попросили у полицейских позволения приготовить еду в лагерной кухне, но полицейские заявили, что у них нет ключа. Кто-то бросил камень в кухонное окно — наверное, дети.

Настало утро, но грузовик, который возил людей на работу, тоже не приехал. Часов в десять охранники-полицейские сменились.

— Решили уморить нас голодом, — громко сказал Роберт, чтобы все вокруг слышали. — Пожар для них только предлог. Они это давно задумали — запереть нас и ждать, пока мы все перемрем.

К. стоял у колючей проволоки, глядел на раскинувшийся перед ним вельд и думал над словами Роберта. Ему уже не казалось странным, что лагерь — это место, куда людей сгоняют, чтобы о них забыть. Не случайно же лагерь находится так далеко от города и дальше дороги нет. Но он все еще не мог поверить, что двое молодых полицейских будут сидеть на крыльце караулки и спокойно наблюдать, как на их глазах умирают люди, что они будут курить, зевать, уходить в помещение вздремнуть. Когда человек умирает, остается труп. Пусть даже он умер от голода, труп все равно остается. Вид трупа может быть так же оскорбителен, как вид живого человека, если только вид живого человека вообще может быть оскорбителен. Если эти люди и в самом деле хотят от нас избавиться, думал он, с любопытством

наблюдая, как эта мысль растет и развивается в его мозгу, словно растение, если они в самом деле хотят забыть о нас навсегда, пусть дадут нам кирки и лопаты и прикажут рыть огромную яму посреди лагерь, а когда мы из последних сил ее выроем, пусть скомандуют нам спуститься в нее и лечь; мы ляжем, все до единого, а они разрушат бараки, сорвут палатки, снесут забор и бросят все это на нас, бросят все, что принадлежало нам в этой жизни, и потом засыпят землей, а засыпав, разровняют землю. Тогда, может быть, им когда-нибудь удастся забыть нас. Но кто может вырыть такую большую могилу? Нас всего тридцать мужчин, остальные женщины, старики и дети, все едва держатся на ногах от голода, и у нас нет ничего, кроме кирок и лопат, а земля здесь твердая как камень.

Он удивился этим мыслям, они больше подходили Роберту, чем ему. Может быть, они пришли в голову Роберту, а он просто отозвался на них, или можно сказать по-другому: эти мысли Роберта оказались семенем, которое запало ему в душу, проросло и овладело им. Ответа он не знал.

А в понедельник утром как всегда приехал армейский грузовик и повез их на работу. Перед погрузкой охранники проверили их имена по списку, в остальном все было как обычно. Их развезли по разным фермам согласно разнарядке, которая была у водителя. К. с двумя товарищами досталось чинить ограду. Работа подвигалась медленно, потому что проволока была старая, короткие куски то и дело приходилось скручивать, они путались. К. нравились неспешность и однообразие работы. Приезжая утром и уезжая вечером, они провели на этой ферме неделю, и за день им иной раз удавалось протянуть всего двести — триста метров. Од-

нажды хозяин отвел К. в сторону, угостил сигаретой и похвалил его работу.

— Ловко у тебя получается, — сказал он. — Надо тебе этим ремеслом всерьез заняться. Что там ни творись в мире, а хорошие мастера ставить ограды всегда нужны. Все проще простого: если разводишь скот, без оград не обойтись. — Он тоже любит работать с проволокой, продолжал он. Обидно, что он дал им такое старье, но где сейчас взять новые материалы? В конце недели он заплатил им всем сколько полагалось по расценкам, но кроме денег дал еще фруктов и маиса и старую одежду. К. достался ношенный свитер, двое других получили картонный ящик с платьями для своих жен и детей. По дороге в лагерь один из товарищей К. стал рыться в ящике и вытащил ситцевые трусы большого размера, поднял их двумя пальцами и, сморщив нос, выпустил. Ветер подхватил трусы и унес. Тогда он вывалил на землю все, что было в ящике.

Вечером в лагере пили вино и разгорелась драка. Когда К. подошел посмотреть, он увидел в свете костра того, прежнего охранника, который говорил, что у него диабет, он стоял, прижав руки к бедру, и кричал:

— Помогите, помогите! — Руки были в крови, брючина промокла. — Что со мной будет, что со мной будет? — повторял он. Между пальцами сочилась кровь, густая как нефть. Со всех концов лагеря сбегались люди поглядеть, что случилось.

К. бросился к воротам, где стояли двое полицейских и с любопытством наблюдали за суматохой в лагере.

— Его пырнули ножом, — задыхаясь, проговорил К. — Он истекает кровью. Его надо в больницу.

Полицейские переглянулись.

— Несите его сюда, — сказал один. — Там поглядим.

К. побежал к костру. Раненый сидел на земле, спустив брюки, из раны на бедре хлестала кровь, он зажимал ее руками и что-то безостановочно говорил.

— Давайте отнесем его к воротам! — крикнул К., впервые за все время, что он попал в лагерь, и люди с любопытством посмотрели на него. — Несите его к воротам, его отвезут в больницу! — Сидящий на земле раненый радостно закивал.

— Да, да, отвезите меня в больницу! — крикнул он. — Кровь никак не останавливается!

К нему протолкался его товарищ, другой бывший охранник, в руках у него было полотенце, он стал завязывать рану. Кто-то толкнул К. локтем в бок, это был парень из другого барака.

— Тебе-то что? Пусть сами разбираются, — сказал он. Толпа начала расходиться, остались только дети да К., они стояли и смотрели, как в колеблющемся свете костра молодой охранник пытается перевязать ногу товарищу.

К. так никогда и не узнал, кто пырнул ножом бывшего охранника, не узнал, удалось его спасти или нет, потому что это была его последняя ночь в лагере. Все легли спать, а он потихоньку связал свои вещи в верное пальто, выскользнул из барака и, притаившись за цистерной, стал ждать, и вот наконец костер догорел дотла, стихли все звуки, только шумел гуляющий по вельду ветер. От долгого сидения тело у него затекло, он весь дрожал, но все равно он решил подождать еще час-полтора. Потом снял башмаки, связал шнурками и повесил себе на шею, неслышно подошел к забору позади уборных, перебросил узел и полез наверх. Когда он заносил ногу на ту сторону, брюки зацепились за колючую

проволоку, и он замер на миг — идеальная мишень на фоне синего с серебром неба; но наконец освободился и, спустившись вниз, неслышно зашагал по земле, которая — вот странно — ничем не отличалась от земли по ту сторону забора.

Он шел всю ночь, не чувствуя усталости, и порой его охватывала дрожь счастья от того, что он свободен. Когда начало светать, он свернул с дороги в вельд. Людей он не встречал, но иногда из зарослей выскакивала, пугая его, антилопа и мчалась к отрогам холмов. Белый сухой ковыль волновался под ветром, небо было синее, тело его переполняли силы. Сделав большой круг, он обошел одну ферму, потом другую. Вокруг было так пустынно, что невольно верилось — до него ничья нога не ходила по этой земле, не наступала на этот вот камешек. Но каждые полторы-две мили ему встречался забор, напоминая, что он беглец и идет по земле, которая кому-то принадлежит. Пролезая сквозь ряды проволоки, он с профессиональным удовольствием отмечал, как туго она натянута, — тронешь, и сразу гудит. Но он не мог себе представить, что сам он всю жизнь вгоняет в землю столбы, ставит заборы, делит землю на клочки. Этим должен заниматься кто-то тяжелый, оставляющий после себя следы, а он — он песчинка на поверхности земли, погруженной в такой глубокий сон, что ей не почувствовать, как по ней бегут ножки муравья, как ее трогает хоботок бабочки, как ее заметает пыль.

Он стал подниматься на последний пригорок, и сердце его гулко заколотилось. Сверху он увидел дом в долине, сначала появилась крыша и полуразрушенный щипец, потом беленые стены — все было как раньше. Теперь уж можно не сомневаться, подумал он, теперь уж нет сомнений, что я

пережил последнего из рода Висаги; теперь я точно знаю, что, пока я жил в горах, питаюсь воздухом, и потом, когда меня в лагере пожирало время, дни для этого паренька тянулись так же медленно, как для меня, сыт ли он был или голодал, спал ли в своем убежище или бодрствовал.

Задняя дверь была не заперта. К. распахнул верхнюю створку, и чуть ли не на голову ему прыгнул кот — огромный черно-рыжий котище, и сразу же сиганул за угол дома. К. раньше никогда не видел на ферме котов.

В доме была духота, пахло пылью, протухшим салом и невыделанными кожами. Он двинулся к кухне, и запах усилился. Возле двери он в нерешительности остановился. Подумал: еще не поздно замести следы и незаметно исчезнуть. Зачем бы я ни вернулся, я не хочу жить так, как жил здесь род Висаги, не хочу спать там, где они спали, сидеть на их веранде перед домом и смотреть на их землю. Если люди бросили этот дом и в нем поселились духи всех Висаги, которые когда-либо жили на земле, — пусть, мне все равно. Не затем я сюда пришел, чтобы жить в этом доме.

Кухня, в которую пробивался сквозь щель в крыше солнечный луч, была пуста; запах шел из кладовой, и, привыкнув к темноте, К. различил там вислящую на крюке тушу барана или козы. От туши остались лишь кости да высохшая серая кожа, но все равно зеленые мухи с жужжаньем роились вокруг нее.

Он вышел из кухни и пошел по дому, ища в полумраке следы, которые мог оставить последний из рода Висаги, или хотя бы угадать, где он прячется. Но нигде ничего. Полы покрывал свежий слой пыли. На чердачной двери висел замок. Вся мебель осталась на местах, никаких признаков того, что

здесь кто-то жил, не было. Он стоял посреди столовой и, затаив дыхание, слушал — не раздастся ли сверху или снизу легчайший шорох, но если внук Висаги вообще был жив и прятался здесь, значит, его сердце билось в такт с сердцем К.

Он вышел на солнечный свет и зашагал к водоему и к тому полю, на котором когда-то похоронил прах матери. Он узнавал каждый камень на пути, каждый куст. Здесь, возле водоема, он почувствовал то, чего никогда не чувствовал в доме, — что он дома. Он лег, подложив под голову свернутое пальто, и стал смотреть на плывущее над ним небо. Я хочу жить здесь, думал он, хочу жить здесь всегда, на этой земле, где жили моя мать и моя бабушка. Больше мне ничего не надо. Но в такое время, как наше, человек, если он вообще хочет жить, должен жить как зверь. Он не может жить в доме с освещенными окнами. Он должен жить в норе и днем прятаться. Человек должен жить, не оставляя никаких следов своего существования. Вот до чего нас довели.

Воды в водоеме не было, трава, которая когда-то зеленела вокруг него, пожухла, высохла, стала ломкой. словно он никогда и не сажал здесь тыквы и маис. Вскопанный им когда-то клочок земли буйно зарос сорняками.

Он освободил колесо насоса. Оно со скрипом дернулось, качнулось и начало вращаться. Поршень опустился, поднялся. Потекла вода, сначала ржаво-бурая, потом светлее, чище. Все было как раньше. Он подставил руку под струю и почувствовал, с какой силой она бьет в ладонь, тогда он спустился в водоем и встал под воду, подставил ей лицо, точно цветок, ипил, и впитывал ее всем телом, и не мог насытиться.

Он лег спать на траве, и ему приснился сон, от которого он проснулся: в темноте под полом, придавленный тяжестью массивного шкафа, окутанный паутиной, лежит, скорчившись, внук Висаги, он что-то кричит, о чем-то просит, умоляет, требует, но К. не может разобрать его слов, не может расслышать, понять. Он сел, чувствуя, что все тело затекло, что он до предела измучен. «Зачем он крадет у меня первый мой день здесь! — простонал он про себя. — Не хочу быть ему нянькой, не за тем я сюда пришел! Жил же он один все эти месяцы, пусть и дальше заботится о себе сам!» Он завернулся в черное пальто и, стиснув зубы, стал ждать рассвета. Скорее бы начать копать землю и сажать семена, сколько он об этом мечтал, вот только надо сначала устроить себе жилище.

Утром он принялся шаг за шагом исследовать вельд, обошел все идущие от холмов овражки и вырытые дождем канавы, осмотрел все трещины в скалах. Ярдах в трехстах от водоема он нашел в склоне холма два обращенных друг к другу свеса, округлых, точно женская грудь. Под ними было углубление около ярда высотой и ярда три-четыре в глубину. И стены, и дно углубления были из темно-синего мелкого гравия, стены можно было расширить. Именно то, что нужно, решил К. Он взял в сарае возле дома свои инструменты — лопату и кирку. Снял с курятника лист рифленого железа. С трудом освободил от спутанной проволоки три столба разрушенного забора, который окружал одичавший сад. Отнес все к водоему и принялся за дело.

Сначала он расширил нижнюю часть углубления и разровнял дно. Другой, узкий конец он завалил грудой камней. Потом положил три столба поверх обращенных друг к другу свесов и накрыл их

листом железа, а лист прижал обломками скалы. Получилась то ли пещера, то ли нора глубиной около пяти футов. Но когда он отошел к водоему оглядеть свою работу, он сразу же увидел, какой темной дырой зияет вход. И весь остаток дня он придумывал, как бы ее замаскировать. Стемнело, и он с удивлением вспомнил, что уже два дня ничего не ел.

Утром он приволок несколько мешков речного песку и насыпал на пол. Отбил от слоистых скал несколько кусков и заложил ими вход в пещеру, оставив лишь небольшой лаз внизу. Потом замесил глину пополам с высохшей травой и замазал щели между стенами и крышей. На крышу насыпал слой гравия. Весь день он не ел и совсем не чувствовал голода, но заметил, что работать стал медленнее, а порой просто стоит или сидит на корточках, и мысли его витают неизвестно где.

Залепляя щели и разравнивая глину, он вдруг подумал, что первый же ливень уничтожит весь его труд, ведь поток воды помчится по расщелине, в которой он устроил свой дом. Надо было вымостить дно камнями, а потом уже сыпать песок, подумал он, и карниз надо сделать, а он не сообразил. Но потом пришла другая мысль: разве я строю этот дом для своих детей и внуков? Мне ведь нужен просто кров, крыша над головой, убежище, чтобы я мог прожить в нем сколько надо и уйти, не привязавшись к нему сердцем. И если полицейские когда-нибудь найдут его жилище или то, что от него осталось, если они при этом покачают головой и скажут: «Что за мерзкое логово! Человеку свойственно гордиться своим трудом, но разве им это понять?» — пусть, ему все равно.

В сарае он нашел несколько тыквенных и дынных семян. На четвертый день после возвращения К. начал сажать их. Среди ковыля, который волновался

над кладбищем его первого огорода, он выкопал и вскопал несколько небольших клочков земли и посадил в каждый по семечку. Решил, что поливать весь огород нельзя, трава зазеленеет и выдаст его. И он стал поливать каждое семечко отдельно,нося воду из водоема в старой банке из-под краски. Больше дел у него не было, оставалось только ждать, когда семена взойдут, если только они не потеряли всхожесть. Он лежал в пещере и думал об этих своих бедных детях, которые с таким трудом пробиваются сквозь темную землю к солнцу. Одного он опасался: лето близится к концу, вдруг тыквы не успеют вызреть?

Он выхаживал растения, любовался ими и ждал, когда земля принесет плоды. Голода он не ощущал и даже почти забыл, что это за ощущение. Иногда он ел, если удавалось что-то найти, но лишь потому, что все еще верил: живое существо должно есть, иначе умрет. Ему было все равно, что есть. У еды вообще не было вкуса или был вкус пыли.

«Но вот когда пищу даст эта земля, — говорил он себе, — ее я буду есть с удовольствием, она будет вкусная».

После гор и лагерной жизни от него остались лишь кожа да кости, обтрепанная одежда висела на нем как мешок. И все равно, когда он ходил по своему огороду, его переполняла радость, что он жив. Ступал он легко, ноги едва касались земли. Казалось, он вот-вот взлетит. Казалось, человек может жить в своей телесной оболочке и в то же время быть духом.

Он снова начал есть насекомых. Время сейчас изливалось на него нескончаемым потоком, и он мог целое утро лежать на животе возле муравейника, доставал травинкой муравьиные яйца и слизывал их одно за другим. Или сдирал кору с высохших дере-

вьев и отыскивал личинки жуков. Ловил курткой стрекоз, отрывал им лапки, головы и крылья, разминал туловища и сушил на солнце.

Ел он и коренья. Отравиться он не боялся, он чутьем знал, какая горечь ядовита, а какая нет, как будто он когда-то раньше был животным и это знание растений в нем сохранилось.

Его убежище было всего лишь в миле от дороги, которая шла мимо фермы и, описав большую петлю, соединялась с проселком, ведущим в глубь Моргенарсваллей. Как ни мало было движения на дороге, забывать об опасности не стоило. Не раз, услышав шум приближающейся машины, К. пригибался к земле и затаивался. А однажды, бредя по руслу реки, он случайно поднял глаза и увидел ярдах в двухстах тележку, ее тащил старик, рядом с ним кто-то шел — то ли женщина, то ли ребенок. Видели они его или нет? Боясь шевельнуться и привлечь к себе внимание, он стоял как вкопанный на виду у всех, кто мог оказаться поблизости, и смотрел на тележку, а она медленно катилась по дороге и наконец скрылась за холмом. Эта необходимость быть все время настороже угнетала; угнетало и то, что нельзя брать воду для огорода днем. Никто не должен видеть, как крутится колесо насоса, все должны считать, что водоем заброшен, и потому он решался пускать колесо только ночью, при лунном свете, или в крайнем случае в поздних сумерках, накачивал немного воды и нес поливать свои растения.

Раза два он увидел на влажной земле отпечатки козлиных копыт, но не придавал этому никакого значения. А потом ночью его разбудило фыркание и топот копыт. Он выполз из своего жилища и сначала услышал их запах, а потом увидел их самих — коз и козлов, которые, он решил, навсегда ушли из

этих мест, когда вода в водоеме высохла. Он бросился к ним, спотыкаясь, в ярости крича, кидал в них камнями, голова его была затуманена сном, но он должен был во что бы то ни стало спасти свой огород, и вдруг он упал, и в ладонь ему вонзилась колючка. Всю ночь он охранял свои посадки. На рассвете козы показались снова, встали на пригорке по двое-трое и ждали, когда он уйдет, а он весь день караулил свой клочок земли, и когда они приближались, прогонял их камнями.

Из-за этих-то одичавших коз, которые не только угрожали его посадкам, но и могли выдать их людям, он решил, что теперь будет спать днем, а ночью охранять свою землю и ухаживать за растениями. Сначала ему удавалось работать только в те ночи, когда светила луна: в густой безлунной черноте он не мог сделать ни шага и только вытягивал перед собой руки, боясь наткнуться на призраки — ему казалось, они окружают его со всех сторон. Но постепенно он освоился в темноте и, точно слепой, шаря впереди себя палкой, двигался от своего жилища к огороду по тропе, которую успел протоптать, пускал колесо и открывал кран, потом наполнял водой банку и, раздвинув траву и найдя в ней свои растения, поливал их одно за другим. Скоро он перестал бояться ночи. Мало того, проснувшись иногда днем и выглянув наружу, он жмурился от пронзительного света и снова забивался в глубь своего логова, и в закрытых глазах стоял яркий зеленый огонь.

Лето кончалось, прошло уже больше месяца, как он убежал из Яккалсдрифа. Хозяйского внука он не искал и решил, что, пожалуй, не будет искать. Он старался не думать о нем, но иногда все-таки ему приходило в голову — а вдруг парнишка вырыл себе где-нибудь землянку и так же, как и он, живет побли-

зости от фермы в вельде, ловит и ест ящериц, пьет росу и ждет, чтобы армия его забыла... Да нет, вряд ли.

Ферму он обходил сторсной, точно чумное кладбище, заглядывал туда, только если что-нибудь было нужно. А нужны были какие-то приспособления, чтобы разводить огонь, и ему повезло — в ящике со старыми сломанными игрушками он нашел красный пластмассовый телескоп, одна из его линз достаточно хорошо фокусировала солнечные лучи, и сухая трава загоралась. В сарае лежала шкура антилопы, он нарезал из нее несколько полосок и простерил рогатку взамен потерянной.

Многое могло бы ему пригодиться — и рашпер, и кастрюля, и складной стул, и большие куски поролона, и мешки. Он разбирал сваленные в сарае вещи и думал, сколько тут всего нужного и полезного. Но он боялся перенести в свой земляной дом вещи хозяев, вдруг они накликают на него беду, какая случилась с Висаги? Устроить себе новый дом возле водоема, как бы бросив вызов старому, было бы тягчайшей ошибкой. Даже инструменты, которыми он работает, должны быть сделаны из дерева, кожи и жил, из тех материалов, которые потом съедят термиты.

К. стоял, прислонившись к насосу, и чувствовал, как корпус насоса вздрагивает всякий раз, когда поршень опускается вниз до упора, а над его головой поворачивалось в темноте на смазанных подшипниках большое колесо. Какое счастье, что у меня нет детей, думал он, какое счастье, что я не хочу быть отцом. Я никогда не хотел стать отцом. Что бы я стал делать здесь, в глуши, с ребенком, ведь ему нужно молоко, нужна одежда и друзья, он должен ходить в школу. Я не смог бы выполнить по отношению к нему свой долг, я был бы никудышный отец. И как

же просто жить изо дня в день, плыть по течению времени. Я один из немногих, кому повезло, меня не призвали в армию. Ему вспомнился лагерь Яккалсдриф, взрослые с детьми за колочей проволокой — со своими собственными детьми или с племянниками, внучатыми племянниками, вспомнилась земля, так плотно утоптанная их ногами, так беспощадно выжженная солнцем, что никогда уже больше на ней ничего не будет расти. Прах моей матери я принес сюда, домой, думал он, а отцом моим был «Норениус». Отцом моим был список запретов, приколотый к двери нашей общей спальни, в нем было двадцать одно правило, и первое из них гласило: «В спальне всегда надлежит соблюдать тишину», и еще моим отцом был учитель по труду, у него не хватало нескольких пальцев на руке, но он больно выкручивал мне ухо, если деревяшка, которую я точил, получалась неровной, и еще моим отцом были воскресные утра, когда мы надевали рубашки и шорты цвета хаки, черные носки и башмаки и шли парами в церковь на Папегай-стрит получить отпущение грехов. Вот кто был моим отцом, а мать умерла и еще не воскресла. И потому хорошо, что я, тот, кому нечего передать людям, живу здесь, вдали от всех.

За тот месяц, что К. прожил на ферме, он не видел, чтобы сюда кто-нибудь приходил. В доме на полу лежали лишь его собственные следы на слое пыли да следы того кота, он появлялся и исчезал, когда вздумается. Но однажды, проходя на рассвете мимо дома, он вдруг в ужасе застыл: всегда закрытая парадная дверь была приотворена. Его отделяло от двери каких-нибудь тридцать шагов, и он чувствовал себя беспомощным, как крот на солнечном свету. Неслышно ступая, он прокрался к речному руслу и потом забрался в свое убежище.

Целую неделю он не приближался к дому, выползал только ночью и шел ухаживать за своим огородом, он боялся, что из-под ноги вырвется камешек и шум разнесется по вельду и выдаст его. Большие сочные листья тыква ярко зеленели — ясно, что кто-то за ними ухаживает, и он старательно замаскировал плети травой, подумал даже — не оборвать ли их. Спать он не мог, но все равно лежал на своей травяной подстилке под раскаленной железной крышей и все слушал, не раздадутся ли какие-нибудь звуки, означающие, что его обнаружили.

Но иногда эти страхи казались ему глупыми, он ясно сознавал, что, оторвавшись от людей, стал пугливым, как мышь. Почему, едва увидев открытую дверь, он решил, что это вернулись хозяева или что полиция выследила его и теперь отправит в лагерь Брандвлей, одно название которого наводит на всех ужас? Сотни тысяч людей в этой стране бегут сейчас от войны и день за днем пробираются как муравьи по ее необъятным пространствам, кто-то из них забрел в пустой дом в этой глуши, зачем же К. бояться этих скитальцев? Уж скорее они (К. ясно представлял себе мужчину, который с трудом толкает перед собой нагруженную скарбом тележку, за ним плетется жена и тянет за руку ребенка, на тележке сидит еще один, прижимая к себе мяукающего котенка, все смертельно устали, ветер швыряет им в лицо пыль, гонит по небу серые тучи), уж скорее они испугаются его, когда он, одичавший, исхудалый, в лохмотьях появится из-под земли в сумерках вместе с летучими мышами.

Но потом приходили другие мысли: а если он ошибается, если это солдаты-дезертиры или полицейские, которые в свой выходной приехали поохотиться на диких коз, дюжие, матерые, они со смеху

помрут над моими жалкими уловками, над спрятанными в траве тыквами, над замазанным глиной жилищем, они избьют меня ногами в башмаках, потом прикажут встать и сделают своим слугой, заставят рубить для них дрова, носить воду и подгонять под их выстрелы коз, есть, сидя за кустом, требуху, пока они жарят на вертеле мясо. Нет, чем прислуживать им, лучше день и ночь прятаться, лучше зарыться в землю и таиться там. (А может, им в голову не придет сделать меня своим слугой. Увидев одичавшего оборванца, который приближается к ним по вельду, они скорее всего начнут спорить, кто попадет из пистолета в кокарду на его берете.)

Шли дни, но никто не появлялся. Светило солнце, с ветки на ветку перелетали птицы, великое молчание стояло над землей, и постепенно К. успокоился. Весь день он пролежал в своем убежище, наблюдая издали за домом, солнце медленно описывало на небе дугу — слева направо, а тени ползли по крыльцу справа налево. И дверь, темнеющая прямоугольником над ступеньками, — открыта она или закрыта? Издали не разобрать. Когда наступила ночь и взошла луна, он прокрался к заброшенному саду. В доме ни звука, свет нигде не горел. Он неслышно ступил на открытое пространство, прошел через двор к самому крыльцу и тут наконец увидел, что дверь открыта, — она все время и была открыта. Он поднялся на крыльцо и вошел в дом. Замер в непроглядной темноте прихожей и стал вслушиваться. Тишина.

Остаток ночи он провел в сарае, лег на пустой мешок и стал ждать. Он даже поспал немного, хотя давно отвык спать ночью. Утром он снова вошел в дом. Полы были чисто выметены, камин вычищен. Все еще слегка пахло дымом. В мусорной ку-

че за сараем он обнаружил шесть новеньких блестящих банок из-под тушенки без этикеток.

Он вернулся в свою берлогу потрясенный и весь день прятался, он был уверен, что на ферме побывали солдаты и что приходили они пешком. Если они вылавливают прячущихся в горах повстанцев и дезертиров или просто патрулируют местность, почему они не приехали на джипах или на грузовиках?

Почему они таились, почему старались скрыть свои следы? Да мало ли почему, объяснений можно придумать десятки, сотни, разве ему понять их, но одно несомненно — он спасся от них только чудом.

В ту ночь он не качал воду, надеясь, что солнце и ветер высушат дно водоема. Он принес еще травы из вельда, много, несколько охапок, и замаскировал ею зеленеющие плети тыкв. Двигался он очень тихо и старался не дышать.

Прошел день, еще один. А вечером, когда солнце уже садилось и К. выполз из своего дома размяться, он увидел на равнине несколько движущихся фигур. К. как стоял, так и бросился на землю. Но успел разглядеть всадника на лошади, который приближался к водоему, рядом шагал пеший; и еще он ясно разглядел за плечом у всадника дуло винтовки. Он как червяк пополз к своей норе с одной-единственной мыслью: «Пусть скорее наступит ночь, пусть земля поглотит меня и защитит».

Добравшись до входа, он выглянул из-за валуна и еще раз посмотрел на них.

Всадник ехал не на лошади, а на осле, и осел был такой маленький, что ноги всадника чуть не волочили по земле. Был и еще один осел, но уже без всадника, он вез два огромных тюка, а впереди шагало восемь человек, девятый шел за навьюченным ослом. У всех были винтовки, некоторые несли

рюкзак. На одном были синие брюки, на другом желтые, все остальные — в маскировочной одежде.

К. тихо-тихо влез в свое убежище. Изнутри ему уже было не видеть их, но в безветренной тишине он ясно слышал, как они спешили у водоема, громыхнула цепь — это они пустили колесо, он даже слышал, как они разговаривают. Кто-то влез по лесенке на высокий настил, потом спустился.

Стемнело, и теперь только по фырканью ослов можно было догадаться, как близко от него расположился отряд. В русле реки раздались глухие удары топора, потом в слабом оранжевом свете их костра обозначился контур валуна возле входа в пещеру. Дохнул ветер; звякнула рукоятка, раздался стон железа, колесо сделало оборот и остановилось. «Почему нет воды?» — ясно услышал он. Кто-то ответил, но его слов К. не разобрал, потом раздался взрыв смеха. Ветер снова поднялся, колесо со стоном повернулось, и К. почувствовал каждой клеточкой своего тела первый удар поршня глубоко в земле. Люди радостно зашумели. Потом ветер принес запах жарящегося мяса.

К. закрыл глаза и уткнулся лицом в ладони. Теперь он знал, что люди, которые разбили лагерь у водоема, а несколько дней назад ночевали в доме — вовсе не солдаты, а повстанцы, это они скрываются в горах и пускают под откос поезда, это они минируют шоссе, нападают на фермы и угоняют скот, отрезают города друг от друга, радио сообщает, что их убивают десятками, сотнями, а в газетах полно снимков, где они валяются на земле в луже крови. Так вот кто, оказывается, его ночные гости! А поглядишь со стороны — просто отдыхает после трудного матча футбольная команда: одиннадцать игроков, веселые, голодные, счастливые.

Сердце у него гулко стучало. Когда они утром двинутся в путь, думал он, я могу выйти из своего укрытия и пойти за ними, как ребенок за духовым оркестром. В конце концов они заметят меня, остановятся и спросят, чего мне надо. И я отвечу: «Дайте мне какую-нибудь поклажу, я понесу ее, чтобы вам было легче. Я буду рубить для вас дрова и разводить вечером костер». Или я скажу им: «Обязательно приходите сюда, к этому водоему. В следующий раз я хорошо накормлю вас. Скоро у меня созреют тыквы и дыни, созреют персики, финики, груши, всего будет вдоволь». И когда они в следующий раз отправятся в горы или куда они там ходят по ночам, они зайдут ко мне, и я накормлю их, а потом буду сидеть рядом с ними у костра и слушать, слушать. Они будут рассказывать совсем не о том, что я слышал в лагере, потому что в лагере живут неспособные сопротивляться — женщины и дети, старики, калеки, слепые, слабоумные, и рассказы их только об одном — как они страдали. А жизнь этих ребят полна удивительных, опасных приключений, вот эта операция удалась, а та не удалась, но они остались живы, они будут рассказывать свои истории всю жизнь, когда давно уже кончится война, и их будут слушать дети, а потом внуки.

К. потянул руки к башмакам проверить, завязаны ли шнурки, и в ту же минуту понял, что не сможет выползти из своей берлоги, не сможет встать в полный рост, шагнуть из темноты в свет их костра и назвать себя. Он знал, почему не сможет решиться: слишком много народу ушло воевать, говоря, что вот окончится война и тогда настанет время сажать сады, но так нельзя, кто-то должен остаться и сохранять сады или хотя бы доказать людям, что сады не должны погибнуть, ибо стоит

этой связи оборваться, и земля ожесточится и забудет своих детей. Он не пойдет к ним.

Он никогда не встанет перед ними лицом к лицу, хотя и свято верит в эту истину, потому что их разделяет не просто несколько десятков ярдов между его убежищем и их костром. Всю жизнь, когда он пытался додумать свои мысли до конца, разверзлась пропасть, зияние, тьма, и его разум пасовал, и было бесполезно кидать в эту пропасть слова, они в ней тонули — пропасть не заполнялась. Кому бы он ни рассказывал о себе, в его рассказе всегда оставалось что-то недосказанное, он не мог поймать главное, вечно оно ускользало.

Он вспомнил приют и уроки арифметики. Перед ним задача, он, оцепенев от ужаса, глядит на нее, учитель ходит по рядам и дожидается, когда ученики положат ручки и настанет время отделить козлиц от овец. Двенадцать человек съели шесть мешков картофеля. В каждом мешке было по шесть килограмм. Сколько пришлось на долю каждого? Он видит, как рука его выводит цифру «двенадцать», потом выводит «шесть», но он решительно не знает, что же с ними делать. Перечеркивает обе цифры и тупо глядит на слово «доля». Оно не изменяется, не растворяется в воздухе, не раскрывает своей тайны. Я умру, думает он, и все равно не узнаю, сколько пришлось на долю каждого.

Почти всю ночь он пролежал без сна, слушая, как медленно наполняется водой водоем, иногда выглядывал в темноту, пытаясь разглядеть при свете звезд, улеглись ли ослы отдыхать или все еще пасутся на его огороде. Потом он, видно, все-таки задремал, потому что вдруг услышал под пригорком в траве тяжелые шаги, кто-то хлопал в ладоши, поднимая ослов, и небо, на котором синели го-

ры, уже стало розовым. Ветер стих, и в утренней тишине он слышал, как звякнуло ведро, как кто-то мешает ложкой в кружке, как плещется вода.

«Если решаться, то сейчас, — подумал он, окончательно проснувшись, — это моя последняя возможность». Он вылез из пещеры, подполз на четвереньках к валуны и выглянул.

В водоеме купался какой-то мужчина. Он вынырнул из холодной ночной воды, вылез на бетонную стенку и, стоя, стал вытираться белым полотенцем, его мокрое тело блестело в первых мягких лучах утра. Двое навьючивали осла, один держал его за уздечку, другой перекинул ему через спину два тяжелых парусиновых мешка и увязывал их ремнями, да еще какую-то длинную трубу, тоже завернутую в парусину.

Остальные были за стенкой водоема, то и дело мелькала чья-нибудь голова.

Тот человек, который вытирался, стоя на стенке, начал одеваться. Затем он нагнулся и поднял заставку. Вода хлынула в канавы, которые К. вырыл еще в то, первое свое житье на ферме, чтобы поливать посадки.

Ошибка, подумал К., дурной знак.

Человек закрепил цепь колеса.

И отряд потянулся по вельду на восток, в сторону гор, впереди трусил осел, второй замыкал группу, и вставшее из-за горизонта солнце било им прямо в лицо. К. все глядел и глядел им вслед из-за валуна, а их уже было трудно разглядеть в желтой траве. Еще не поздно, думал он, можно броситься за ними и догнать. А когда они наконец скрылись из глаз, он встал и начал осматривать свой затопленный водой огород, на котором ночью паслись ослы. Огород был весь в следах копыт. Ослы не

только съели часть растений, но и затоптали их. Длинные ветвистые плети, которые он так старательно маскировал травой, были раздавлены, листья свернулись и поникли; завязавшиеся плоды, зеленые и маленькие, чуть крупнее ореха, были съедены. Пропала половина урожая. Но это был единственный след, который оставил после себя отряд. Кострище они тщательно засыпали землей и галькой, он нашел его только потому, что оно еще не остыло. Вода из водоема давно вытекла; он опустил заслонку.

К. забрался на холм, в котором устроил свое жилище, лег на самом верху и стал глядеть на солнце. Никого уже не было видно. Отряд скрылся в предгорьях.

«Я точно мать, чьи дети покинули дом, — подумал он, — единственное, что мне осталось, — это прибрать разбросанные вещи и слушать тишину. Мне хотелось дать им вкусной хорошей еды. А я лишь накормил их ослов, которые обошлись бы и травой». Он заполз в свое убежище, бессильно растянулся на подстилке из травы и закрыл глаза.

Разбудило его стрекотанье вертолета. Вертолет летел над руслом реки. Минут через пятнадцать он вернулся и проследовал дальше, на север.

Они увидели, что землю поливали, подумал он. Увидели, что трава зазеленела, увидели яркие плети тыква, сочные листья махали им, точно флаги. Все это они увидели сверху, увидели то, что создано самой природой, чтобы расти на земле. Надо мне было разводить лук, подумал он.

Еще не поздно убежать в горы, найти там пещеру и прятаться. Но он не мог стряхнуть вялое оцепенение. Пусть приходят, думал он, мне все равно. И снова заснул.

С неделю К. вел себя еще более осторожно. Днем он совсем не выходил из своего убежища, а ночью поливал оставшиеся в живых растения так скупно, что листья стали никнуть, а усики повяли. Истоптанные плети он вырвал. Если из каждого цветка завяжется плод, говорил он себе, осматривая то, что осталось от огорода, у меня вызреют штук сорок тыкв, не больше; а если они опять придут сюда с ослами, то не видать мне ни одной. Он-то мечтал о тучном урожае, а теперь хоть бы несколько плодов созрели и дали семена. Пройдет год, утешал он себя, снова наступит лето, и он начнет все заново.

Лето кончалось. Тяжкая духота навалилась на землю, плотные облака заволокли небо, и наконец собралась гроза. По овражкам хлынула вода, жилище К. затопило. Вымокший насквозь, он спрятался за стену водоема с подветренной стороны: точно улитка, выползшая из своей раковины, подумалось ему. Часа через полтора ливень кончился, запели птицы, на западе заиграла радуга. Он вытащил из дома травяную подстилку и стал ждать, когда поток в расщелине наконец иссякнет. Потом замесил глину и снова принялся обмазывать стены и крышу.

Ослы больше не появлялись, отряд повстанцев не возвращался, вертолет тоже ни разу не пролетал. Тыквы росли. Ночью К. крался к своему огороду и гладил крепкие упругие плоды. От ночи к ночи они все больше наливались. И в душе у него снова появилась надежда, что все будет хорошо, и он не гнал эту надежду. Иногда он просыпался днем и, высунув голову, оглядывал свой огород: то там, то здесь, укрытая травой, неярко поблескивала зреющая тыква.

Среди семян, которые он посадил, оказалось одно дынное. И вот теперь на краю огорода созревали две светло-зеленые дыни, и он любил их еще

нежнее, чем тыквы, они были словно две сестры среди веселого выводка братьев. Он подстелил под каждую подушку из травы, чтобы кожа не повредилась.

И вот наконец созрела первая тыква, ее можно было снять. Она была самая крупная, росла в самой середине огорода и поспела раньше других — его дитя, его первенец. Кожура была мягкая, нож вошел в нее без усилия. Мякоть — ярко-оранжевая, хотя у самой кожуры все-таки осталась тонкая зеленая полоска. Он положил ломти тыквы на проволочную решетку, которую сам и смастерил, и стал печь на углях, а ночь сгущалась, и угли краснели все ярче и ярче. Воздух наполнился ароматом печеной тыквы. И он произнес слова молитвы, которой его когда-то научили, только обратил он ее не к небу, а к земле, на которой стоял на коленях: «Воистину благодарю тебя за то, что ты даруешь нам».

Он стал поворачивать ломти тыквы двумя проволочками и вдруг почувствовал, что в сердце его хлынула благодарность. Именно та, о которой ему твердили в детстве, — его словно обдало чем-то теплым и радостным. «Ну вот, труд завершен, — сказал он себе. — Теперь я могу тихо жить здесь всю жизнь, питаясь тем, что дала мне за мои труды земля. Я буду возделывать землю — больше мне ничего не надо». Он поднес ко рту первый испеченный кусок тыквы. Хрустящая румяная корочка, под ней сочная, нежная мякоть. Он стал жевать ее, и на глазах у него выступили слезы радости. Никогда еще я не ел такой вкусной тыквы, думал он, за всю мою жизнь. В первый раз за все время, что он прожил здесь, на ферме, еда доставляла ему удовольствие. И какое! Он не мог остановиться. Снял решетку с углей и взял второй ломоть. Зубы впились сквозь поджаристую корочку в горячую тающую мякоть. Такую тыкву, по-

думал он, такую тыкву я согласен есть каждый день, и ничего-то мне больше не надо. А если бы ее еще немного посолить, немного посолить, смазать маслом, да еще посыпать сахаром и корицей! Он съел третий ломоть, четвертый, пятый, съел половину тыквы и наконец насытился и все время с восторгом вспоминал вкус соли, сливочного масла, сахара, корицы.

Да, тыквы поспевали, и тут возникли новые заботы. Плети-то ему удавалось маскировать травой, а вот тыквы скрыть было невозможно, они лежали в высокой, по колена, траве точно в ямках, — казалось, это стадо овец забрело сюда и спит. Он пытался прикрыть тыквы, но ведь им был дорог каждый луч предосеннего солнца. По стеблям к ним еще текли соки, у некоторых тыкв бок еще был зеленоватый, но все равно надо было их собрать и унести, ничего другого не оставалось.

Дни становились короче, ночи холоднее. Иногда К. приходилось работать в своем черном пальто; спал он, засунув ноги в мешок, а руки прятал в коленях. Он спал все больше и больше. Закончив труды, он уже не сидел больше как раньше, не смотрел на звезды, не слушал голоса ночи, не гулял по вельду, а заползал в свою нору и засыпал мертвым сном. Спал все утро до полудня, потом грезил о чем-то в полудреме, не шевелясь, нежился в тепле, которое излучала крыша; а когда солнце садилось, вылезал наружу, потягивался, разминаясь, шел к берегу рубить дрова и рубил, пока не наступала ночь.

Он вырыл яму для костра, чтобы огня не было видно издали, соорудил трубу. Поев, закрывал яму двумя плоскими камнями и присыпал сверху землей. Угли внизу тлели целые сутки. В благодатном тепле вокруг неостывающей ямы развелось множество насекомых.

Он не знал, какой сейчас месяц, но по его подсчетам выходило — апрель. Он не вел счет дням, не отмечал фазы луны. Ведь он не отверженный, его не сослали сюда отбывать наказание, он просто пришел сюда, к водоему, чтобы жить здесь.

Он до такой степени сроднился с сумерками и с темнотой, что дневной свет резал ему глаза. Раньше он ходил ночами по тропинкам, теперь они ему стали не нужны. Он не столько видел, сколько чувствовал кожей лица, давлением на глазные яблоки, что впереди какой-то предмет. Глаза его по большей части невидяще смотрели вдаль, точно он слепой. У него также необыкновенно обострилось обоняние. Его легкие наполнял чистый свежий запах воды, которую вынес на поверхность земли родник. Этот запах опьянял его, он дышал и не мог им наддышаться. Он не знал названия кустарников, но легко отличал их по запаху листьев. И еще он по запаху угадывал приближение дождя.

В эти прощальные дни лета он особенно любил праздность, но это было совсем не то, что раньше, когда его заставляли гнуть спину и он тайком урывал несколько минут передышки, незаметно отдыхая на корточках возле клумбы с тяпкой в руках, — сейчас он просто отдался во власть времени, а время медленно и вязко текло над землей от одного ее края до другого и омывало его тело, гладило грудь, живот, ласкало закрытые веки. Когда надо было сделать какую-нибудь работу, он не досадовал, но и не радовался: ему было все равно. Он мог целый день пролежать, разглядывая лист рифленого железа, служивший ему крышей, пятна ржавчины на нем; его мысли нигде не блуждали, он не видел ничего, кроме железа, фантазия не создавала никаких образов из сочетания цветов и ли-

ний: он был всего лишь он сам, ржавчина, всего лишь ржавчина, единственное, что двигалось, — это время, и оно несло его своим течением. Раз или два о себе напомнило другое время, то, в котором шла война, — высоко над головой со свистом пронеслись реактивные истребители. Но только и всего. Он жил за пределами календаря и отсчета часов, в благословенном, забытом всеми краю, и то ли бодрствовал, то ли спал. Как трутень, думал он, или ящерица, прячущаяся под камнем.

Полицейский капитан так тогда их и назвал в Яккалсдрифте: трутни, кричал он, вы паразитируете на чистом благоустроенном городе, объедаете его и ничего не даете взамен. Но сейчас, вяло вспоминая об этом в своем убежище, где он лежал без движения (что мне в конце концов до всего этого?), он уже и сам не мог бы сказать, кто на ком паразитирует — лагерь на городе или город на лагере? Эхинококк пожирает овцу, но зачем овца глотает его личинку? А что, если нас миллионы, много миллионов, никто даже не знает сколько, нас согнали в лагерь, мы живем подаяннием, тем, что дает земля, мы ловчим и изворачиваемся, забиваемся в щели, чтобы спрятаться от времени, мы таимся и не вывешиваем флаги: пусть нас никто не заметит — сколько же нас? Что, если паразитов гораздо больше, чем организмов, за счет которых они живут, это те, кто не трудится, и другие, тайные, паразиты в армии, в полиции, в школах, в конторах, на заводах, в сердце? Можно ли их называть паразитами? У этих паразитов тоже есть плоть и кровь, на них тоже можно паразитировать.

Лагерь ли паразитирует на городе или город на лагере — наверное, все зависит от того, кто громче кричит.

Думал он и о матери. Она просила его привезти ее домой, на родину, и он ее привез — если только прах можно назвать матерью. А что, если она родилась не на этой ферме? Где каменные стены амбара, о котором она рассказывала? Он заставил себя пойти днем на территорию усадьбы, осмотрел домишки на пригорке, прямоугольник голой земли возле них. «Если мать когда-то жила здесь, я это обязательно почувствую», — внушал он себе. Он закрыл глаза и попытался представить в своем воображении глинобитные стены и крытые соломой крыши из ее рассказов, сад, где росли груши, кур, клюющих корм, который приносила им босоногая девочка. А за девочкой, на пороге, в полутьме стояла женщина, от которой родилась в этот мир его мать. Когда мать умирала в больнице, думал он, и знала, что конец ее близок, она искала взглядом не меня, а ту, что стояла за мной, — свою собственную мать или хотя бы ее призрак. Для меня она была старуха, но для самой себя оставалась ребенком, и она кричала, чтобы мать взяла ее за руку и помогла ей. А мать моей матери, в той тайной жизни, которая скрыта от нас, тоже была ребенком, девочкой. За мной стоит нескончаемая вереница детей.

А в самом ее конце одинокая фигура в сером балахоне, женщина, не рожденная никакой другой женщиной. Но когда он пытался вообразить ту тишину, в которой она жила, тишину времен до сотворения мира, голова его раскалывалась от напряжения.

Он почти все время спал, и на его плантацию снова стали приходить пастись животные — на сей раз зайцы и маленькие серые антилопы. Если бы они просто объедали листья — бог с ними, но они отгрызали плети, лишая плод питающих его жизненных

соков, и К. впадал в отчаяние и гнев. А вдруг они погубят две его драгоценные дыни? Он стал мастерить капкан из проволоки, трудился долго, но ничего не вышло. И тогда он улегся спать посреди своей плантации. Но полная луна не давала заснуть, он вздрагивал от каждого шороха, ноги заledenели. Огородить бы площадку возле водоема забором, думал он, забором из крепкой проволочной сетки, да еще врыть эту сетку на фут в землю, а то и глубже, чтобы даже нору в его огород было не прокопать.

Он все время чувствовал вкус крови во рту. Его измучил понос; когда он вставал, кружилась голова. Иногда ему казалось, что желудок его сжался, точно кулак. Он заставлял себя есть тыкву, даже когда не хотел, и боль слегка отпускала, но тяжесть оставалась. Хотел убить из рогатки птицу, но разучился стрелять, да и терпения не было. Он поймал ящерицу и съел.

Тыквы начали поспевать все разом, их плети пожелтели, пожухли. К. не подумал заранее, где будет хранить урожай. Он попробовал резать тыквы тонкими ломтями и сушить на солнце, но они гнили, их облепляли муравьи. Он сложил все тридцать тыкв возле своего жилища, получилась пирамида, похожая на маяк. Зарывать тыквы в землю нельзя, их надо хранить в сухости и тепле, ведь они дети солнца. В конце концов он разложил их по одной вдоль берега в кустах и разузорил глиной кожуру, чтобы тыквы не бросались в глаза.

И вот наконец поспели дыни. Одну он съел сегодня, другую завтра, моля, чтобы они вернули ему здоровье. Ему показалось, что он чувствует себя лучше, хотя слабость не прошла. Мякоть у дынь была оранжевая, цвета речного песка, только ярче. Никогда в жизни он не ел таких сладких дынь. Какая

часть этой благоуханной сладости была заложена в семени и какую дала земля? Он собрал все семена до единого и разложил сушить. Одно семя дало целую горсть: вот это и есть — дать обилие посеянному вами.

И наконец наступил день, когда К. даже не вышел из своего жилища. Проснулся он днем, есть не хотелось. Дул холодный ветер, никаких дел в огороде не было, все его летние и осенние труды были закончены. Он повернулся на другой бок и снова заснул. Проснулся уже на рассвете — всю пели птицы.

Он совсем потерял счет времени. Иногда, просыпаясь, он видел, что сейчас день. Под старым черным пальто было душно, ноги в мешке казались чужими. Он подолгу лежал в тупом изнеможении, не в силах стряхнуть сон. Он чувствовал, что жизнь в теле замедляется. Ты так и дышать разучишься, говорил он себе, и все равно легкие его не наполнялись воздухом. Он поднимал руку, тяжелую как свинец, и клал на сердце: где-то далеко, словно в другом мире, что-то слабо сжималось и разжималось.

Шли дни, ночи, а он все спал, спал. Однажды ему приснилось, что его разбудил какой-то старик. Старик был в грязном тряпье, от него пахло табаком. Он тряс К. за плечо и кричал: «Убирайся с этой земли!» К. хотел освободиться, но пальцы старика впились в него мертвой хваткой. «Не будет тебе здесь добра!» — шипел он.

Снилась ему и мать. Они шли с ней по горам. Ноги у нее были распухшие, но она была молодая и красивая. Он широко размахивал руками, показывая от одного края земли до другого: его переполняли волнение и счастье. Рыжая земля, зеленеющие берега рек, нигде ни дорог, ни ферм, воздух неподвижен, тих. Радостно распахивая руки,

махая ими точно мельница крыльями, он чувствовал, что вот-вот оторвется от земли и его понесет над скалистым гребнем в огромное, полное воздуха пространство между небом и землей, но он не боялся, он знал, что умеет летать.

Иногда, просыпаясь, он и сам не мог бы сказать, сколько проспал, — день ли, неделю, месяц. «Наверное, что-то со мной неладное», — думал он. Нужно поест, внушал он себе, сделать над собой усилие и встать, принести тыкву. Но так и не вставал, он с наслаждением потягивался, зевал — ему было так хорошо, что ничего больше не хотелось, только лежать вот так и чувствовать пульсацию времени. Есть тоже не хотелось: жевать какую-то еду, глотать ее, проталкивать в желудок, зачем все это?

Но постепенно сон его стал уже не таким тяжелым, он просыпался чаще. Налетали образы, такие быстрые и бессвязные, что он не мог их ухватить. Он тревожно метался на своей подстилке, понимая, что нельзя ему все время пребывать в спячке, но не было сил встать. Начала болеть голова; он стискивал зубы, потому что каждое биение сердца остро пронзало мозг.

Пришла гроза. Пока гром перекатывался вдали, К. не обращал на него внимания. Но вот небо раскололось прямо над ним, хлынул ливень. Сквозь щели жилища начала сочиться вода, по расщелине помчался поток, размыл глиняную стенку и затопил постель. К. сел, скорчившись под своей низкой крышей, ему негде было спрятаться. По полу его жилища мчался поток, а он сидел в уголке, закутавшись в промокшее пальто, и спал. Просыпался, снова засыпал.

Разбудил его свет дня. Он дрожал от холода. Небо было затянуто тучами, огня он развести не мог.

Нет, так жить нельзя, подумал он. Прошел по своему огороду, мимо насоса. Все было как раньше, но он чувствовал себя здесь чужим, казалось даже, он не человек, а привидение. На земле стояли лужи, в первый раз за все время в реке появилась вода — неся мутный кипящий поток, широкий, ярдов в восемь — десять. На том берегу на сине-серой гальке что-то белело. Интересно, подумал он, неужели от дождя вырос такой большой гриб? И вдруг даже вздрогнул — никакой это не гриб, это тыква.

Дрожь все не унималась. От слабости он не мог поднять руку, ступал неуверенно, как старик. И вдруг почувствовал, что должен сесть, и сел на мокрую землю. Сколько дел ему предстоит, он их не осилит. «Не выспался я, — подумал он, — мне бы еще поспать». И поесть, наверное, надо, тогда перестанет плыть перед глазами, но при мысли о еде желудок свела судорога. Он заставил себя представить чай, чашку горячего сладкого чая, встал на четвереньки и напился из лужи.

Подняться он не смог, так его возле лужи и нашли. Он еще издали услышал шум моторов, но подумал, что это приближается гроза. Они подъехали к воротам усадьбы, и только тогда он их увидел и понял, кто они такие. Он поднялся на ноги, но голова у него закружилась и он снова сел. Одна из машин остановилась возле дома, другая, «джип», поехала прямо по вельду к нему. В ней сидело четверо. Он смотрел, как они приближаются; его охватила безнадежность.

Сначала они приняли его за обыкновенного бродягу, просто полиция еще не нашла его и не водворила в Яккалсдриф.

— Я живу в вельде, — сказал он, когда его начали расспрашивать, — я нигде не живу. — Ему

пришлось опустить голову в колени: в черепе стучал молоток, рот наполнился вкусом желчи. Один из солдат взял его руку двумя пальцами и покачал. К. не отнял руки. Она казалась чужой, словно торчащая из туловища палка.

— Интересно, чем он питается? — спросил солдат. — Мухами? Муравьями? Саранчой?

К. видел только их башмаки. Он закрыл глаза и словно бы перестал существовать. Потом его хлопнули по плечу и сунули что-то под нос — бутерброд, два толстых ломтя белого хлеба и между ними кусок колбасы. Он отпрянул и покачал головой.

— Ешь! — сказал его благодетель. — Набирайся сил!

Он взял бутерброд и откусил. Но едва только начал жевать, пустой желудок стало выворачивать. Свесив голову между колен, он выплюнул хлеб и колбасу и протянул им бутерброд.

— Да он больной, — произнес чей-то голос.

— Нализался как свинья, — сказал другой.

Но тут они увидели его дом, дождь смыл глину, которой он обмазал переднюю стенку, и голая каменная кладка резко бросалась в глаза. Сначала они, встав на четвереньки, по очереди заглядывали внутрь. Потом сняли крышу, и им открылось тщательно устроенное жилище, в углу лопата и топор, на полке, вырубленной в земляной стенке, — нож, ложка, тарелка, кружка, линза, на полу промокшая подстилка из травы.

Солдаты подняли К. и подтащили к его дому — никакой жалости к нему у них уже не чувствовалось. По его лицу полились слезы.

— Твоя работа? — спросили они. Он кивнул. — Ты здесь один? — Он снова кивнул. Солдат, который держал его, резко заломил ему руку за спину.

К. зашипел от боли. — Правду говори! — заорал солдат.

— Я сказал правду, — прошептал К.

Подъехал и грузовик; воздух наполнился громкими голосами, треском и воем рации; солдаты столпились вокруг К., разглядывали его, разглядывали жилище, которое он себе соорудил.

— Разойдись! — закричал один из них. — Обыскать все вокруг! Ищите тропинки, ямы, подземные ходы, склады! — На нем, как и на всех других, была маскировочная одежда, никаких знаков различия, по которым К. мог бы определить, что он командир. — Мы этот народ знаем, — продолжал он уже тише и ни к кому в особенности не обращаясь; глаза его беспокойно бегали. — Помните: вся земля, куда ни ступи, изрыта подземными ходами. Приедешь в такую вот глухомань и думаешь: ну, тут на десятки миль ни единой живой души. А чуть отвернулся — и они полезли из-под земли как тараканы. Спросите его, давно он здесь? — Повернулся к К. и рявкнул: — Эй, ты! Давно ты здесь?

— С прошлого года, — ответил К., сам не зная, удачно он соврал или нет.

— Ну и когда твои друзья вернутся? Когда ты их ждешь?

К. пожал плечами.

— Спроси его еще раз, — приказал офицер, отворачиваясь. — Спрашивай, пока не ответит. Пусть расскажет, когда его друзья вернутся. Пусть расскажет, когда они здесь были в последний раз. Может, он немой? Проверьте. Проверьте, идиот он или только прикидывается.

Солдат, который держал К., взял его сзади за шею двумя пальцами и пригнул вниз, так что К. упал сначала на колени, а потом уткнулся лицом в землю.

— Слышал, что приказал офицер? — спросил он. — Вот и рассказывай. Все расскажи, что знаешь. — Он сорвал с головы К. берет и вдавил его лицо в глину. Расплющенными губами и носом К. почувствовал влажный вкус глины. Он вздохнул. Его подняли, поставили на ноги. Он не открыл глаз. — Рассказывай о своих дружках, кончай валять дурака, — приказал солдат.

К. покачал головой. Его изо всей силы ударили в живот, и он потерял сознание. Солдаты были уверены, что здесь спрятаны запасы продовольствия и оружия, и весь день их искали. Сначала они прочесали участок вокруг водоема, потом двинулись вверх и вниз по реке. У одного из солдат был прибор — наушники, черная коробка, он медленно продвигался по глинистому берегу, вода по земле палкой. Нашли тыквы — наверное, все до одной, солдаты носили их к краю огорода и сбрасывали в кучу. Эта находка еще больше убедила их, что здесь много чего спрятано. («Иначе зачем им было оставлять здесь эту обезьяну?» — услышал К.)

Его снова хотели допрашивать, но поняли, что он слишком слаб. Дали ему чаю, он его выпил, и тогда они начали убеждать его.

— Ты же едва жив, — говорили они. — Погляди на себя. Погляди, как с тобой обходятся твои друзья. Им плевать на тебя. Ты хочешь домой? Мы отвезем тебя домой, ты начнешь новую жизнь.

Его посадили, прислонив к колесу «джипа». Кто-то поднял его берет и бросил ему на колени. Дали ломоть мягкого белого хлеба. Он проглотил кусок, согнулся, и его вырвало — и хлеб, и чай.

— Э, бросьте вы его, — сказал кто-то, — он того и гляди отдаст богу душу.

К. вытер рот рукавом. Солдаты стояли вокруг него; он чувствовал — они не знают, что делать.

И он заговорил.

— Вы меня не за того принимаете, — сказал он. — Я спал, а вы меня разбудили, вот и все. — Но они ничего не поняли.

Расположились солдаты в доме. Поставили в кухне собственную плиту, и скоро до К. донесся запах стряпни с помидорами. На веранде кто-то повесил транзистор; воздух наполнился нервными электрическими ритмами, ему от них стало тяжело и тревожно.

Его отвели в спальню в конце коридора, положили на сложенный вчетверо кусок брезента, накрыли одеялом. Дали ему теплого молока и две таблетки — сказали, что это аспирин; на этот раз его не вырвало. Потом, когда уже совсем стемнело, молоденький солдат принес ему тарелку еды.

— Попробуй, может, хоть немного съешь, — сказал он и посветил фонариком на тарелку. К. увидел две сосиски, политые густым соусом, и картофельное пюре. Он покачал головой и отвернулся к стенке.

Солдат оставил тарелку у его постели: «Может, все-таки надумаешь». Больше его не тревожили. Он задремал ненадолго, ему мешал запах еды. Наконец он встал и отнес тарелку в угол. Часть солдат сидели на веранде, часть в гостиной. Они болтали и смеялись, но света не зажигали. Утром из Принс-Альберта прибыла полиция с собаками — искать подземные ходы и спрятанные припасы. Капитан Остхейзен сразу же узнал К.

— Разве такую образину забудешь? — сказал он. — Этот голубчик убежал из Яккалсдрифа в декабре. Его зовут Михаэлс. Как он вам назвался?

— Михаэлом, — ответил офицер.

— Он не Михаэл, а Михаэлс, — сказал капитан Остхейзен и ткнул К. башмаком под ребро. —

Ничего он не умирает, у него всегда такой вид. Верно, Михаэлс?

И К. снова отвели к водоему, и он глядел, как собаки рвутся с поводков и, скуля от нетерпения, рыщут вдоль берега, солдаты едва за ними успевают, но единственное, что им удалось найти, — это несколько заячьих и ежиных нор. Остхейзен стукнул К. кулаком в висок.

— Ах ты, обезьяна! — сказал он. — Морочить нас вздумал?

Собак снова загнали в фургон. Никому уже не хотелось больше искать. Молодые солдаты стояли на солнышке, пили кофе и болтали.

К. сидел, свесив голову между колен. В мыслях была полная ясность, но голова кружилась, и он ничего не мог с собой поделаться. Из рта стекала струйка слюны — ну и пусть, ему все равно. Эту землю, каждый ее камень, каждый бугор, будут поливать дожди, потом опалит солнце, высушит ветер, потом снова наступит весна. И ни следа не останется от меня, будто я никогда здесь и не жил, как не осталось следа от моей матери, — она жила на земле, потом ее прах смыли дожди, развеял ветер, на нем выросла трава.

Так что же, что так привязывает меня к этому месту, точно это мой дом, думал он, почему я не могу с ним расстаться? Ведь всем нам в конце концов приходит пора уходить из дому, расставаться с матерью. Или я — тоже ребенок, ребенок из той цепочки поколений, которую никто из нас не может разорвать, и все мы возвращаемся сюда умирать, мы обязательно должны положить голову на колени матери — я своей, моя мать своей, поколение за поколением, до самой первой женщины, которая стала матерью?

Раздался громкий взрыв, и сразу же за ним второй. Воздух содрогнулся, закричали птицы, по холмам прокатилось грохочущее эхо. К. в ужасе поднял голову.

— Смотри! — сказал солдат и показал пальцем.

Там, где стоял дом Висаги, поднималось серо-оранжевое облако, облако не тумана, а пыли, казалось, это ветер подхватил дом и уносит. Но вот облако перестало расти, начало редеть, в нем проступил костяк: часть кухонной стены с трубой, три столба веранды. Откуда-то сверху опустился кусок кровельного железа и бесшумно спланировал на землю. Грохот продолжался, но К. не знал, грохочет ли эхо в горах или у него в голове.

Мимо пролетели ласточки, так низко над землей и так близко от него, что он мог бы дотронуться до них, если бы протянул руку.

Было еще несколько взрывов, но К. не стал смотреть, что взрывают, он и без того знал, что сараи. «Вот и все, негде больше семье Висаги прятаться», — подумал он.

Снова, прыгая по ухабам, подъехал «джип». Солдаты вокруг К. складывали и упаковывали вещи. Но на том месте, где был его огород, один-единственный солдат продолжал трудиться. Он снимал лопатой дерн и аккуратно складывал куски в кучу рядом. К. заволновался и, шатаясь, подошел к нему.

— Что вы делаете? — крикнул он.

Солдат не ответил. Он выкопал неглубокую ямку, причем землю сыпал на расстеленный черный пластик. К. увидел, что это уже третья ямка: возле первых двух тоже лежали на черном пластике аккуратные горки земли и кучки дерна с прилипшей к корням землей.

— Что вы делаете? — снова спросил он. Мог ли он думать, что так расстроится, увидев, как кто-то чужой копает на его поле? — Давайте я, — предложил он, — я привык копать.

Но солдат махнул ему, чтобы не мешал. Закончив третью ямку, он отмерил восемь шагов и расстелил на траве еще кусок пластика. Лопата вонзилась в землю, и тут К. опустил на корточки и закрыл траву руками.

— Пожалуйста, друг, пожалуйста! — просил он. Солдат в досаде отступил. Кто-то оттащил К. за шиворот.

— Уберите его, мешает, — сказал солдат. К. встал у насоса и не сводил с солдата глаз. А солдат вырыл пять ямок в разных концах поля и протянул между ними длинный белый шнур. Двое других принесли из грузовика ящик и начали закладывать мины. Клади мину в ямку и снимали с предохранителя, а тот, что копал ямы, сыпал горстями землю, разравнивал ее, закрывал дерном, обметал дерн щеткой, чтобы не оставалось никаких следов, и потом отползал на четвереньках.

— Что ты тут под ногами путаешься, — раздался голос за спиной К. — Ступай к грузовику и жди. — Это был офицер. К. послушно пошел и услышал, как тот отдает приказ: — Прикрепите две штуки к стойкам на ярд от земли. Еще одну положите под помост. Когда они на него ступят, все должно взлететь на воздух.

Оборудование было погружено. К. сидел в кузове грузовика вместе с солдатами. Грузовик уже тронулся, но вдруг кто-то указал на груды тыкв на краю огорода.

— Заберите и их! — крикнул офицер из «джи-па». Тыквы погрузили. — А теперь приведите его

конуру в прежний вид! — приказал офицер, и солдаты стали класть на место крышу, а машины стояли и ждали их. — Камнями сверху придавите! Да поживее!

Грузовик тронулся и поехал за «джипом» по разбитой, в ухабах дороге. К. крепко держался за ремень над головой; он видел, что соседи отодвигаются подальше, боясь, как бы их не швырнуло на него. Поднялась туча пыли и заволочла то, что осталось позади.

Он нагнулся к солдату, который сидел против него.

— Там, в доме, — сказал он, — прятался один парнишка.

Солдат не понял. К. пришлось повторить.

— Что он говорит? — спросил кто-то.

— Говорит, в доме прятался еще один из них.

— Скажи ему, помер он. Скажи, он уже в раю.

Вот наконец и поворот на шоссе. Грузовик набрал скорость, колеса запели свою песню, солдаты вздохнули с облегчением, пыль унесло прочь, и позади открылась длинная прямая полоса шоссе, ведущего в Принс-Альберт.

II

В лазарете появился новый пациент — маленький старичок, он потерял сознание во время физических упражнений, и его принесли с очень редким дыханием и слабым пульсом. Все признаки крайнего истощения: кожа покрыта трещинами, на руках и на ногах язвы, десны кровоточат. Огромные, выпирающие суставы; вес — меньше сорока килограммов. Говорят, его нашли где-то в вельде, в забытой

богом глуши, он охранял этапный лагерь повстанцев, которые орудуют в горах, прятал оружие и расстил для них овощи, хотя сам, судя по всему, их не ел. Я спросил охранников, которые его принесли, почему они заставили человека в таком состоянии выполнять физические упражнения. Да просто по недосмотру, объяснили они: он поступил с новой партией, оформление затянулось, сержант решил чем-нибудь занять людей и скомандовал бег на месте. Неужели он не видел, что человек этот едва жив? — спросил я. Заключение ни на что не жаловался, ответили охранники, сказал, что чувствует себя нормально, он всегда такой худой. Неужели вы не видите разницы между худым человеком и скелетом? — спросил я. Они пожали плечами.

* * *

Борюсь со своим новым больным, которого зовут Михаэлс. Он твердит, что вполне здоров, только надо дать ему таблетку от головной боли. Говорит, что есть ему не хочется. Но он и не может есть: его тотчас же рвет. Я держу его на капельнице, а он все время слабо пытается вырвать трубку.

На вид он древний старик, но говорит, что ему только тридцать два года. Что ж, может быть, и вправду тридцать два. Он родом из Кейптауна и помнит, что когда-то здесь был ипподром. Узнав, что в этой палате раньше находилась раздевалка для жокеев, он усмехнулся.

— Мне бы быть жокеем, — сказал он, — при моем-то весе.

Он работал садовником в городских парках, но потерял работу и решил попытать счастья где-нибудь на ферме, уехал из города и увез с собой мать.

— А где твоя мать сейчас? — спросил я.

— Там, где трава и деревья, — сказал он, отводя глаза.

— Умерла? — спросил я. — Трава и деревья — значит на кладбище?

Он покачал головой.

— Ее сожгли, — сказал он. — А вокруг головы горели волосы, как нимб.

Сказал спокойно и равнодушно, как будто мы беседовали о погоде. По-моему, он явно не от мира сего. Чтобы такой блаженный охранял лагерь повстанцев? Чушь собачья. Наверное, кто-нибудь просто дал ему стаканчик виски и попросил приглядеть за винтовкой, а он по глупости или по наивности согласился. Задержали его как повстанца, но он вряд ли понимает, что в стране идет война.

* * *

После того как Фелисити побрила его, я смог осмотреть его рот. Обыкновенная заячья губа, с небольшим смещением перегородки. Нёбо нормальное. Я спросил его, пытались ли ему когда-нибудь исправить этот дефект. Он не знает. Я сказал, что операция очень несложная, ее можно сделать и сейчас. Если мне удастся все устроить, он согласится? И вот его ответ, слово в слово: «Какой я есть, таким и останусь. Девушки меня никогда особенно не интересовали». Мне хотелось сказать ему: при чем тут девушки, ему просто будет легче жить, если он сможет нормально разговаривать, но пожалел его и промолчал.

Рассказал о нем Ноэлю.

— Сторож в лагере повстанцев? Да ему нельзя доверить простейший аттракцион в парке, — сказал я. — Он умственно отсталый, его случайно занесло в места, где идут бои, а выбраться оттуда у него соображения не хватило. В исправительном

лагере ему не место; его надо поместить в какой-нибудь инвалидный дом, и пусть плетет там корзинки или нанизывает бусы.

Ноэль принес его дело.

— Судя по тому, что тут написано, Михаэлс — поджигатель. К тому же он сбежал из трудового лагеря. Его поймали на заброшенной ферме, где он выращивал овощи на огромной плантации и кормил местных партизан. Вот в чем его обвиняют.

Я покачал головой.

— Это ошибка, они спутали его с каким-нибудь другим Михаэлсом. Этот Михаэлс — дурачок. Он совершенно беспомощен. Если он выращивал овощи на огромной плантации, почему же тогда он умирает от голода?

— Почему ты не ел? — спросил я Михаэлса, когда вернулся в палату. — Говорят, у тебя была плантация. Значит, была и еда?

Он ответил:

— Я спал, а меня разбудили. — Наверное, на лице у меня выразилось недоумение. — Когда я сплю, мне не нужна еда, — объяснил он.

Он говорит, что его зовут не Михаэлс, а Михаэл.

* * *

Ноэль требует, чтобы я не задерживал больных в лазарете. У нас всего восемь коек, а больных сейчас шестнадцать, остальные восемь лежат в помещении, где раньше взвешивали жокеев. Зачем я их так долго лечу, неужели нельзя выпустить побыстрее? Я объясняю ему, что, если не долечу больного дизентерией, в лагере начнется эпидемия. Нет, от эпидемии избави боже, но в лазарет часто попадают симулянты, а он не намерен им попустительствовать. Его обязанность — перевоспитывать

заключенных, отвечаю я, моя — лечить больных, на то я и врач. Он похлопывает меня по плечу.

— Вы знаете свое дело, я в этом несколько не сомневаюсь, — говорит он. — Но они не должны считать, что мы их жалеем, это единственное, чего я хочу.

Между нами повисает молчание; мы смотрим, как по стеклу бьются мухи.

— Но мы их действительно жалеем, — неуверенно говорю я.

— Может, и жалеем, — соглашается он. — Может, где-то в глубине души у нас даже есть расчет. Может, мы надеемся, что, если они все-таки возьмут верх и над нами начнется расправа, кто-нибудь вмешается и скажет: «Этих двух отпустите, они нас жалели». Кто знает? Но сейчас я не об этом. Я сейчас о койко-обороте. В наш лазарет поступает больше больных, чем из него выписывается, и я вас спрашиваю, что вы собираетесь по этому поводу предпринять?

Когда мы вышли из его кабинета, то увидели, что посреди бегового поля капрал поднимает на флагштоке оранжево-бело-синий флаг, оркестр из пяти человек играет «Uit die blou»*, причем корнет фальшивит, а вокруг по стойке смирно стоят шестьсот человек с угрюмейшими лицами, босые, в рваных, не по размеру формах, — это их так перевоспитывают. Год назад мы пытались заставить их петь, но давно отступились.

* * *

Сегодня утром Фелисити вывела Михаэlsa из палаты подышать воздухом. Когда я проходил мимо, он сидел на траве, подняв лицо к солнцу и впитывал

* «Хвалите господу с небес» (африкаанс).

тепло, как ящерица. Я спросил, нравится ли ему в лазарете. Он оказался неожиданно разговорчивым.

— Очень хорошо, что здесь нет радио, — сказал он. — В том, другом, месте радио играло все время.

Я подумал, что это он о другом лагере, но оказалось, нет: он вспомнил тот несчастный приют, где вырос.

— Там музыка играла с утра до вечера, до восьми часов. И деться от нее было некуда.

— Музыка играла, чтобы успокаивать вас, — объяснил я. — Иначе вы бы все время дрались и бросали в окно стулья. А музыка смягчала вашу агрессивность.

Не знаю, понял ли он меня, однако улыбнулся своей кривой улыбкой.

— А я от нее места себе не находил. Хотелось бежать куда глаза глядят — она мне думать мешала.

— О чем же ты думал?

— О том, что я лечу. Мне всегда хотелось летать. Я раскидывал руки и представлял себе, что вот я лечу над заборами, между домами. Лечу низко, над головами людей, а они меня не видят. А когда включали музыку, я ужасно мучался и больше не мог летать.

И он даже назвал две или три песни, которые ему особенно досаждали.

Я распорядился, чтобы его положили на другую кровать, возле окна, подальше от парня со сломанной ногой, который невзлюбил К. и целый день его шпыняет. Теперь, когда он садится, ему хотя бы видно небо и верхушку флагштока.

— Ешь чуть больше, тогда ты сможешь ходить гулять, — уговариваю я его.

Но на самом деле ему нужна физиотерапия, а у нас ее нет. Он похож на игрушку из палочек, скрепленных резинками. Ему нужна строжайшая

диета, легкие физические упражнения и физиотерапия, и тогда его через какое-то время можно будет выпустить в лагерную жизнь, и пусть себе марширует взад-вперед по беговому полю, выкрикивает лозунги и салютует флагу, а потом роет ямы и снова их засыпает.

* * *

Услышал случайно в лагерной лавке:

— Дети никак не могут привыкнуть жить в квартире. Страшно скучают по нашему саду и по своим собакам. Пришлось эвакуироваться в такой спешке, предупредили всего за три дня. Вспоминаю, что мы там оставили, и готова плакать. — Это говорила цветущая женщина в платье в горошек, кажется, жена одного из наших унтер-офицеров. Когда она вспоминала о своем брошенном доме, ей, конечно, представлялось, что на ее кровати развалился в грязных башмаках какой-нибудь детина, потом он встает, подходит к морозильной камере и плюет в мороженое. — Нет, не утешайте меня, — говорила она маленькой худенькой женщине с короткими зачесанными назад волосами; я ее раньше не видел.

Верит ли кто-нибудь из нас в то дело, которое мы здесь делаем? Сомневаюсь. И уж меньше всех муж этой женщины в платье горошком. Нам дали старый ипподром, много колючей проволоки и приказали перевоспитывать людские души. В душах мы смыслим мало, но исходя из того, что душа все-таки как-то связана с телом, мы заставляем заключенных отжиматься и маршировать взад-вперед. Оглушаем их музыкой духового оркестра и показываем фильмы, в которых молодые солдаты в ладно пригнанных формах учат седовласых деревенских старейшин истреблять москитов и пахать по контуру поля. После

такой обработки мы выдаем им свидетельство, что они исправились, и отправляем в трудовые части, где они носят воду и роют сортиры. На больших военных парадах перед камерой непременно проходит вместе с танками, ракетами и полевой артиллерией такая трудовая часть — в доказательство того, что мы умеем обращать врагов в союзников; однако я заметил, что на плече у них не винтовки, а лопаты.

* * *

Возвращаясь в воскресенье вечером в лагерь, я чувствую себя заядлым игроком на скачках. Над главными воротами висит надпись: «Загон А». У входа в лазарет табличка: «Посторонним вход воспрещен». Почему их не сняли? Они что, думают, ишподром когда-нибудь снова откроется? Неужели люди где-нибудь все еще тренируют скаковых лошадей и надеются, что после всех этих катастроф мир станет таким же, как прежде?

* * *

У нас осталось двенадцать больных. Однако Михаэлсу не лучше. Видимо, у него серьезно нарушена система пищеварения. Я опять посадил его на обезжиренное молоко.

Он лежит, глядя в окно на небо, — голый череп, торчащие уши, на лице обычная улыбка. Когда его принесли, у него был с собой пакетик из оберточной бумаги, он положил его под подушку. Сейчас он часто достает его и прижимает к груди. Я спросил его, что там такое — *muti**? Нет, ответил он и показал мне высушенные семена тыквы. Меня это очень взволновало.

* Здесь: амулет (африкаанс).

— Когда кончится война, ты обязательно должен снова стать садовником, — сказал я. — Ты, наверно, вернешься в Кару? — Он отвел глаза. — Конечно, на полуострове тоже хорошая земля, в долинах и на склонах холмов, — сказал я. — Как хорошо, если здесь снова начнут выращивать фрукты и овощи.

Он ничего не ответил. Я взял из его рук пакет и засунул ему под подушку — для сохранности. Когда я через час проходил мимо него, он спал, уткнувшись лицом в подушку, как ребенок.

Он точно камешек, который лежал себе тихо с сотворения мира, а сейчас его вдруг подняли и перебрасывают из рук в руки. Маленький твердый камешек, он вряд ли замечает, что творится вокруг, так он замкнут в себе и в своей внутренней жизни. Он прошел через приют, через лагеря и лазареты, и еще бог знает через что он прошел, и ничто не оставило на нем следа. Даже мясорубка войны. Существо, не рожденное смертной матерью и само не способное дать никому жизнь. Для меня он не вполне человек, хотя судя по всему он старше меня.

* * *

Его состояние стабилизировалось, желудок нормализуется. Но пульс очень редкий, а давление низкое. Вчера он пожаловался, что мерзнет, хотя ночи стали теплее, и Фелисити пришлось дать ему носки. Сегодня утром я дружески заговорил с ним, но он не отозвался.

— Вы думаете, я без вас умру? — спросил он. — Зачем вы хотите раскормить меня? Зачем столько возитесь со мной? Чем я лучше других?

Я был не в настроении с ним спорить. Хотел пощупать его пульс, но он с неожиданной силой вырвал свою руку, тонкую, как ножка паука. Я сделал

обход и потом снова вернулся к нему. Теперь я знал, что ему сказать.

— Ты спрашиваешь, Михаэлс, чем ты лучше других. Я тебе отвечу: ничем. Но это не значит, что ты никому не нужен. Нужны все. Даже воробьи. Даже самый маленький муравей.

Он долго смотрел в потолок, точно шаман, совещающийся с духами, потом заговорил.

— Моя мать всю жизнь работала, — сказал он. — Мыла людям полы, готовила им еду, мыла грязную посуду. Стирала их белье. Отмывала после них ванну. Чистила на коленях унитаз. А когда она состарилась и заболела, она им стала больше не нужна. Они забыли о ней. Потом она умерла, и ее сожгли. А мне дали коробку с прахом и сказали: «Вот твоя мать, за-бери ее, она нам не нужна».

Парень со сломанной ногой внимательно слушал, хотя и притворялся, что спит.

Я ответил Михаэлсу резко, как только мог: не-зачем поощрять эту его жалость к себе, решил я.

— Мы делаем для тебя то, что положено, — ска-зал я. — Успокойся, ты ничем не лучше других. Вот поправишься, и мой на здоровье полы, чисти уни-тазы. Что касается твоей матери, ты рассказал мне не все, я уверен, и ты сам это отлично знаешь.

Но все равно он прав: я действительно уделяю ему слишком много внимания. Да кто он такой в конце концов? С одной стороны, города сейчас наводнены беженцами из сельской местности, ко-торым кажется, что здесь безопасней. С другой стороны, людям надоело ютиться по пять человек в комнате и жить впроголодь, и они перебираются на заброшенные фермы, надеясь хоть как-то про-жить там. И конечно же, Михаэлс — один из этого множества. Мышь, сбжавшая с переполненного

тонущего корабля. Только он городская мышь, он не умел жить, возделывая землю, и совсем оголодал. К счастью, его заметили и снова втащили на борт. Чем он так недоволен?

* * *

Ноэлю вчера звонили из полиции Принс-Альберта. Ночью выведен из строя городской водопровод. Взорвана насосная станция и в нескольких местах повреждены трубы. Пока не прибудет подразделение инженерных войск, придется брать воду из колодцев. Воздушные линии электропередач также не действуют. Что ж, тонет еще один маленький корабль, а большие все еще одиноко плывут в темноте, борясь с волнами и скрипя под грузом людей. Полиция хочет еще раз допросить Михаэlsa о виновниках, то бишь о его друзьях с гор. Предлагают нам также задать ему ряд вопросов.

— Да ведь его уже допрашивали, — возразил я Ноэлю. — Какой смысл начинать все сначала? Везти его нельзя, он слишком слаб, болен, да и вообще он не в себе.

— А с нами разговаривать он тоже не сможет, слишком болен? — спросил Ноэль.

— С нами он разговаривать сможет, но никакого толка мы от него не добьемся, — ответил я.

Ноэль достал бумаги Михаэlsa, показал мне. В графе «род занятий» я прочел выведенное аккуратным почерком деревенского полицейского: «Orgaarder»*.

— Что такое orgaarder? — спросил я.

— Ну, тот, кто собирает и хранит припасы, как белка, или муравей, или пчела.

* Собиратель, хранитель (африкаанс).

— Это что — новая профессия? Он учился в школе для orgaarder, ему присвоили квалификацию orgaarder? — спросил я.

Мы привели Михаэlsa в пижаме и с одеялом на плечах в склад в дальнем конце трибун. У стены громоздились банки с краской и картонные ящики, все углы затянуты паутиной, на полу толстый слой пыли, сесть не на что. Михаэлс твердо стоял на своих тонких, как спицы, ногах и, кутаясь в одеяло, сурово смотрел на нас.

— Вляпался ты, Михаэлс, не позавидуешь, — сказал Ноэль. — Твои друзья из Принс-Альберта орудуют вовсю. Совсем обнаглели. Мы должны поймать их и потолковать с ними. Ты можешь нам помочь, мы это знаем и решили сделать еще одну попытку. Расскажи нам о своих друзьях: где они прячутся, как можно с ними связаться. — Он закурил сигарету. Михаэлс не шевельнулся, не отвел от нас глаз.

— Михаэлс, — сказал я, — Михаэлс, некоторые из нас вовсе не считают, что ты связан с повстанцами. Убеди нас, что ты не сотрудничал с ними, и ты избавишь нас от массы хлопот, а себя от неприятностей. Признайся же нам, признайся майору: что ты делал на ферме, когда тебя поймали? Что мы о тебе знаем? Только то, что написано в деле, которое прислала полиция Принс-Альберта, но честно признаюсь: написана там полная чепуха. Скажи нам правду, признайся, как все было на самом деле, и мы отпустим тебя, иди в палату и ложись, мы больше не будем ни о чем допытываться.

Он слегка пригнулся и сжал руками одеяло у горла, неподвижно глядя на нас.

— Ну, говори же, дружище! — сказал я. — Никто тебе ничего плохого не сделает, скажи то, о чем мы тебя спрашиваем, и все!

Молчание. Ноэль не произносил ни слова, он возложил всю тяжесть разговора на меня.

— Ну что же ты, Михаэлс, — настаивал я, — не так уж у нас много времени, ведь идет война!

— Я в войне не участвую, — наконец произнес он. Меня взяла досада.

— Это ты-то не участвуешь? Еще как участвуешь, хочется тебе этого или нет! Ты не в санатории и не на курорте, ты в исправительном лагере: мы перевоспитываем здесь таких, как ты, и заставляем работать! Ты будешь с утра до ночи насыпать мешки песком и рыть ямы! И если не станешь помогать нам, попадешь кое-куда похуже! Будешь там целый день жариться на солнце и есть картофельную шелуху и стержни кукурузных початков, а не выдержишь такой жизни и умрешь, тебя просто вычеркнут из списков, и все, конец, назавтра никто о тебе и не вспомнит. Так что брось упираться, время дорого, расскажи нам, что ты делал на ферме, а мы запишем и пошлем в Принс-Альберт. Майор очень занятой человек, он не привык терять время, он был в отставке, но вернулся на службу, навел в этом лагере замечательный порядок и помогает таким людям, как ты. Ты должен пойти нам навстречу.

И он ответил, стоя все в той же настороженной позе, готовый отпрянуть, если я брошусь на него.

— Не мастер я говорить, — только и сказал он. И тут же облизнул губы — словно язычок ящерицы мелькнул.

— Плевать нам, мастер ты говорить или не мастер, нам нужна правда, пойми ты!

Он в ответ хитро усмехнулся.

— У тебя там была плантация, — сказал Ноэль, — что ты на ней выращивал?

— Это был просто огород.

— Для кого ты выращивал овощи? Кого ими кормил?

— Они были не мои. Их вырастила земля.

— Я тебя спросил: кого ты ими кормил?

— Их взяли солдаты.

— А тебе было обидно, что солдаты взяли твои овощи?

Он пожал плечами.

— То, что растет на земле, принадлежит нам всем. Все мы дети земли.

Тут в разговор вступил я.

— На этой ферме похоронена твоя мать, верно? Ты ведь говорил мне, что твоя мать похоронена там?

Лицо его замкнулось и стало как камень, но я продолжал наступать, чувствуя, что он вот-вот сдастся.

— Ты рассказал мне о своей матери, но майор ничего не знает. Расскажи майору о матери.

Я снова увидел, как он страдает, когда его вынуждают говорить о матери. Пальцы его ног скрючились, он облизал свою заячью губу.

— Расскажи нам о своих друзьях, которые появляются среди ночи, сжигают фермы и убивают женщин и детей, — сказал Ноэль. — Вот что меня интересует.

— Расскажи нам о своем отце, — сказал я. — Ты часто говоришь о матери, но ни разу не вспомнил об отце. Что случилось с твоим отцом?

Он упрямо сжал рот, который не мог толком сжаться, и затравленно смотрел на нас.

— Неужели у тебя нет детей, Михаэлс? — спрашивал я. — Мужчина в твоём возрасте... Неужели у тебя нет где-нибудь жены и детей? Почему ты один? Почему не думаешь о будущем? Ты хочешь, чтобы твой род закончился на тебе? Это будет очень грустно, тебе не кажется?

Тишина была такая плотная, что я услышал, как у меня звенит в ушах, такая тишина бывает в шахтах, в погребках, в бомбоубежищах, там, где нет воздуха.

— Мы привели тебя сюда поговорить, Михаэлс, — сказал я. — Мы положили тебя в удобную постель, сытно тебя кормили, никто не мешает тебе целый день лежать и глядеть, как по небу летят птицы, но мы хотим получить от тебя что-то взамен. Пришло время платить по счету. Тебе есть что рассказать, и мы готовы слушать. Можешь начать с чего угодно. Расскажи нам о своей матери. Расскажи об отце. Расскажи, что ты думаешь о жизни. А если не хочешь рассказывать о матери и об отце и о своем отношении к жизни, расскажи, как ты там возделывал землю, расскажи о своих друзьях с гор, которые время от времени навещали к тебе и которых ты кормил. Расскажи нам то, что нас интересует, и мы отпустим тебя с миром.

Я умолк. Он смотрел на меня, и лицо было все такое же каменное.

— Ну же, Михаэлс, говори, — продолжал я. — Ты сам видишь, как это легко — говорить. Послушай меня — слышишь, как легко мои слова наполняют эту комнату. Я знаю людей, которые могут говорить целый день напролет и никогда не устанут, они способны весь мир заговорить. — Ноэль предостерегающе посмотрел на меня, но я продолжал гнуть свое. — Да прояви себя хоть как-нибудь, иначе ты так и проживешь жизнь, никем не замеченный. Ты прибавишь лишнюю единицу к тому огромному числу жертв, которое подсчитают, когда кончится война. Ведь ты не хочешь быть всего лишь одним из безвестных погибших? Ты хочешь жить, хочешь! Так говори же, ради всего святого, дай нам услышать твой голос, расска-

жи, что ты знаешь! Мы слушаем тебя! Где еще во всем мире ты найдешь двух вежливых цивилизованных людей, которые готовы слушать тебя весь день, а если надо, то и всю ночь, да еще записывать твой рассказ?

Ноэль резко повернулся и вышел из комнаты.

— Подожди, я сейчас вернусь, — приказал я Михаэлсу и бросился за Ноэлем. Догнал его в темном коридоре и с мольбой схватил за рукав.

— Вы от него никогда ничего не добьетесь, — сказал я, — вы сами видите. Он дурачок, к тому же даже не забавный. Обездоленное, беспомощное существо, которому позволили забрести, если можно так выразиться, на поле битвы жизни, а его надо бы запереть в лечебницу, отгородить от мира высоким забором, и пусть бы он там набивал подушки или поливал цветы. Послушайте меня, Ноэль, у меня к вам серьезная просьба. Отпустите его. Не надо выбивать из него признание.

— Кто собирается его бить?

— Не пытайтесь выудить из него признание, — ему не в чем признаваться, клянусь вам. И если глубоко вдуматься, он и сам не знает, что делает: я уверен в этом, ведь я давно за ним наблюдаю. Сочините какой-нибудь отчет для полиции. Как, по-вашему, сколько может быть повстанцев в этом свартбергском отряде? Двадцать? Тридцать? Напишите, что он сказал вам, что их там двадцать. Они приходили на ферму раз в месяц или даже реже, в одном и том же составе, и не говорили ему, когда придут в следующий раз. Фамилий их он не знает, только имена. Составьте список имен. Перечислите оружие, которое у них было. Напишите, что где-то в горах у них лагерь, где именно — они ему не говорили, он знает только, что далеко, от фермы идти пешком два дня. Напишите, что они спят в пещерах и что среди

них есть женщины. И дети. Этого будет довольно. Пошлите такой отчет. Они от нас отстанут, и мы сможем заниматься своим делом.

Мы стояли на солнце под синим весенним небом.

— Вы, стало быть, хотите, чтобы я обманул полицию, да еще подписал под этой ложью свое имя.

— Это не ложь, Ноэль. Скорее всего, так оно и есть, только Михаэлс нам даже под пытками не признается.

— А если отряд живет вовсе не в горах? Если они живут в окрестностях Принс-Альберта, днем послушно работают, делают все, что им велят, а ночью, когда дети засыпают, достают из-под половиц винтовки и начинают орудовать в темноте, взрывают, поджигают, терроризируют население? Такой вариант вам не пришел в голову? Почему вы так стараетесь защитить Михаэлса?

— Ноэль, я его вовсе не защищаю! Неужели вам хочется провести весь день в этой грязной дыре, вытягивая признание у несчастного идиота, у слабоумного, который трясется от ужаса, когда ему снится мать с горящими волосами, и который убежден, что детей находят в капусте? Ноэль, у нас есть дела поважнее! Он ни в чем не замешан, поверьте мне, и если вы передадите его полиции, они придут к тому же выводу: он ни в чем не замешан, ему не в чем признаваться, нечего рассказать, что хоть сколько-то заинтересовало бы разумных людей. Я наблюдаю за ним, я знаю! Он не от мира сего. Он живет в своем собственном мире.

Словом, Михаэлс, мое красноречие спасло тебя. Мы состряпаем признание, которое вполне удовлетворит полицию, и тебя не повезут в Принс-Альберт в полицейском фургоне, в наручниках, в луже мочи на полу, ты будешь по-прежнему лежать в чистых простынях и слушать, как воркуют голу-

би, дремать, думать о чем тебе хочется. Надеюсь, когда-нибудь ты будешь мне за это благодарен.

Но вот что удивительно: ты прожил тридцать лет среди отверженных города, потом тебя швырнуло (если верить тому, что ты рассказываешь) в район боевых действий, и ты не погиб, но поддерживать твою жизнь сейчас — все равно что выхаживать захиревшее животное, слабенького новорожденного котенка или выпавшего из гнезда птенца. У тебя нет ни документов, ни денег, нет семьи, друзей, ты совершенно не понимаешь, что ты такое. Незаметнейший из незаметных, такой незаметный, что сразу бросаешься в глаза.

* * *

Первый теплый летний день, на пляж бы, а у нас новый пациент — высокая температура, головокружение, рвота, лимфатические узлы распухли. Я поместил его отдельно, в комнате, где раньше взвешивались жокеи, и распорядился отправить кровь и мочу на анализ в Уинберг. Полчаса назад захожу в экспедиторскую, и там, на виду у всех, стоит пакет с красным крестом и с надписью «Срочно». Секретарь объясняет, что машины, развозящей корреспонденцию, сегодня не было. Почему же он не послал кого-нибудь на велосипеде? Отвечает, кого было послать. Речь идет не о здоровье одного какого-то заключенного, говорю я, речь идет обо всем лагере — это наша жизнь или смерть. Он пожимает плечами. Mfe is pog'n dag*. Успеется. На столе у него открытый журнал для молодых девиц.

Дубы на Розмид-авеню на западной стороне лагеря, за кирпичной стеной и колючей проволокой, за несколько дней покрылись пышной изумрудной

* Можно и завтра (африкаанс).

лиственной. С улицы доносится цоканье лошадиных копыт, а с бегового поля пение маленького хора Уинбергской церкви, который приезжает со своим аккордеонистом по воскресеньям два раза в месяц выступать перед заключенными. Сейчас хор поет «Loot die Heer»* — свой заключительный номер, после которого наши подопечные пойдут строем в сектор «Д», где их ждет рар** и бобы с соусом. Об их душах заботится хор и пастор (в пасторах никогда нет недостатка), о теле — врач. Так что они ни в чем не нуждаются, месяц-полтора — и их выпустят из лагеря, удостоверив их «чистоту помыслов» и «готовность трудиться», и мы увидим шестьсот новых, горящих непокорностью лиц. «Не я, так кто-нибудь другой, — говорит Ноэль, — и этот другой будет хуже меня». «С тех пор как я заведу лагерем, заключенные хотя бы умирают естественной смертью», — говорит Ноэль. «Не может же война длиться вечно, — говорит Ноэль, — когда-нибудь она кончится, как все на свете кончается». Вот что любит повторять майор вам Рензбург. «И все равно, — говорю я, когда наступает мой черед говорить, — однажды перестрелка кончится, и часовые разбегутся, и враги беспрепятственно войдут в ворота и будут правы, если захотят найти коменданта лагеря в кабинете за своим письменным столом с пулей в виске. Именно этого они и будут от вас ждать, несмотря ни на что». Ноэль не отвечает, хотя, я уверен, он давно уже все обдумал.

* * *

Вчера я выписал Михаэlsa. В выписке специально указал, что его необходимо освободить от физических упражнений минимум на семь дней.

* «Славьте господа» (африкаанс).

** Каша (африкаанс).

И первое, что я увидел, выйдя утром из помещений внутри трибун, был Михаэлс — обнаженный по пояс скелет, он еле тащился по полу за группой крепких, сильных мужчин. Я высказал свое недовольство дежурному.

— Когда он устанет, может уйти, — ответил тот.

— Он умрет, — объявил ему я, — у него сердце не выдержит.

— Он вам наплел невесть чего, вы и разжалобились, — ответил дежурный. — Они умеют пудрить мозги, разве им можно верить? А он здоров как бык. И вообще, чего вы с ним так носитесь? Вон, глядите!

Он показал на Михаэлса, который пробегал мимо нас. Глаза его были закрыты, дышал он глубоко, лицо спокойное.

Может, я и впрямь зря верю всему, что он рассказывал. Может, на самом деле все гораздо проще: ему нужно меньше еды, чем другим, только и всего.

* * *

Я ошибся. Напрасно поддался сомнению. Через два дня он снова оказался у нас. Фелисити подошла к двери и увидела Михаэлса — его приволокли два охранника, он был без сознания. Она спросила, что произошло. Те сделали вид, что не знают. Сказали, спросите сержанта Альбрехтса.

Руки и ноги у него были холодные как лед, пульс еле прослушивался. Фелисити завернула его в одеяло, обложила грелками. Я сделал укол, потом стал вливать глюкозу и молоко через трубку.

Альбрехтс считает, что Михаэлс просто-напросто проявил неповиновение, — отказался выполнять приказ, и в качестве наказания ему велели делать физические упражнения — приседания

и прыжки. Он присел несколько раз, упал, и привести его в чувство уже не удалось.

— Какой приказ он отказался выполнить? — спросил я.

— Петь.

— Петь? Да он же не в своем уме, он и говорить-то толком не умеет, а вы хотели, чтобы он пел!

Сержант пожал плечами.

— Хоть бы попробовал, ничего бы с ним не случилось.

— Как вы могли заставить его в наказание делать физические упражнения? Он едва жив, вы сами видите.

— Я действовал по уставу, — сказал он.

* * *

Михаэлс пришел в сознание. Он сразу же выдернул из носа трубку, Фелисити не успела ему помешать. Он лежит на кровати возле двери под ворохом одеял, похожий на труп, и отказывается от пищи. Тонкой, как палка, рукой он отталкивает поильник.

— Я такую еду не ем, — повторяет он.

— А какую еду, черт возьми, ты ешь? — спрашиваю я. — Почему ты так с нами обращаешься? Мы хотим тебе помочь, ты что, не понимаешь? — Он смотрит на меня так ясно и равнодушно, что я прихожу в ярость. — Каждый день сотни людей умирают от голода, а ты отказываешься есть! Почему? Ты что, объявил голодовку? В знак протеста? Против чего ты протестуешь? Хочешь, чтобы тебя освободили? Да если мы тебя выпустим, если ты выйдешь из лагеря в таком состоянии, ты через несколько часов умрешь. Ты не способен заботиться о себе, не умеешь. Мы с Фелисити — единственные люди на свете, которые хотят тебе помочь. Не потому что ты

какой-то особенный, а потому что это наш долг. Почему ты не хочешь пойти нам навстречу?

Моя возмущенная речь взволновала всю палату. Парнишка, у которого я подозревал менингит (и который вчера, когда я зашел в палату, пытался засунуть руку под юбку Фелисити), поднялся на своей кровати на колени и, ухмыляясь, глядел на нас.

Даже Фелисити перестала мести палату и застыла со шваброй.

— Я не просил, чтобы ко мне относились по-особому, — прохрипел Михаэлс.

Я повернулся и вышел.

Ты никогда ни о чем не просил, и все равно я не могу избавиться от мыслей о тебе. У меня такое ощущение, что твои костлявые руки обхватили мою шею, что я тащу тебя на себе.

Немного погодя, когда палата успокоилась, я вернулся и сел на край твоей кровати. Ждать мне пришлось долго. Наконец ты открыл глаза и произнес:

— Я не умру. Просто я не могу есть такую еду. Не могу есть лагерную еду.

— Напишите в отчете, что он умер, — уговаривал я Ноэля. — Я подведу его вечером к воротам, дам немного денег и пусть идет себе на все четыре стороны. Пусть заботится о себе сам. Напишите, что он умер, а я составлю для вас свидетельство о смерти: «Причина смерти — пневмония, вызванная хроническим истощением». Вычеркнем его из списка заключенных и забудем о нем.

— Меня удивляет ваш интерес к нему, — сказал Ноэль. — Не просите меня подделывать документы, я на это не пойду. Если он хочет умереть и потому отказывается есть, пусть умирает. Вот все, что я могу сказать.

— Это не потому, что он умирает, — сказал я. — И не потому, что он хочет умереть. Просто он не может есть здешнюю еду. Его организм не принимает ее, и все. Не принимает даже детское питание. Может быть, единственное, что он может есть, — это хлеб свободы.

Наступило неловкое молчание.

— Может быть, мы с вами тоже не смогли бы есть лагерную еду, — сказал я.

— Вы видели, каким его привезли сюда, — скелет скелетом, — сказал Ноэль. — Он жил один на той ферме, свободный как птица, ел хлеб свободы, и все равно он был живые мощи. Похож на узника Дахау.

— Может быть, он от природы такой худой, — сказал я.

* * *

В палате было темно, Фелисити спала в своей комнате. Я, с фонариком в руке, наклонился над кроватью Михаэlsa и потряс его за плечо, он проснулся, прикрыл рукой глаза. Я склонился так низко, что услышал запах дыма, который от него исходит, хотя его моют, и зашептал:

— Хочу поговорить с тобой, Михаэлс. Если ты не будешь есть, ты и в самом деле умрешь. Это ясно как божий день. Ты будешь умирать долго, мучительно, но в конце концов все равно умрешь. И я ничего не сделаю, чтобы помешать тебе. Мне ничего не стоит привязать тебя к кровати, вставить в горло трубку и кормить насильно, но я не стану. Я не хочу обращаться с тобой как с ребенком или как с животным, я хочу обращаться с тобой как со свободным человеком. Если ты решил расстаться с жизнью, что ж, расставайся, это твоя жизнь, не моя.

Он отвел руку от глаз и глухо откашлялся. Хотел что-то сказать, но не сказал, покачал головой и улыбнулся. В свете фонарика его улыбка показалась отталкивающей, похожей на акулий оскал.

— Чего бы ты хотел съесть? — спросил я шепотом. — Какую еду ты станешь есть?

Он медленно протянул руку и отвел фонарик в сторону. Потом повернулся на другой бок и снова заснул.

* * *

Перевоспитание сентябрьской партии закончилось, и сегодня утром длинная босоногая колонна наших подопечных с барабанщиком впереди и с охранниками по флангам отправилась за двенадцать километров на вокзал, откуда их повезут в глубь страны. В лагере осталось шесть человек неисправимых, запертых и ждущих отправки в Мюлдерсрус, и трое лежащих больных в лазарете. Один из них Михаэлс: с тех пор как он отказался, чтобы его кормили через трубку, он не взял в рот ни крошки.

Ветерок несет запах карболки, приятная тишина. Мне легко, я почти счастлив. Значит, вот как все будет, когда кончится война и лагерь закроют? (А может быть, лагерь даже и тогда не закроют? Ведь лагерь с высокими заборами всегда нужны.) Весь лагерный персонал, кроме нескольких человек, разъехался на выходные. В понедельник ожидается ноябрьское поступление. Но железнодорожное сообщение сейчас настолько ненадежно, что ничего нельзя загадывать, даже за день вперед. Неделию назад было нападение на Де-Ар, серьезно повреждены станционные пути. Ни газеты, ни радио об этом не сообщали, но Ноэль узнал из достоверных источников.

Я купил у уличного торговца на Мейн-роуд кабачок, разрезал на тонкие ломти и поджарил в тостере.

— Это не тыква, — сказал я Михаэлсу, усаживая его в подушках, — но по вкусу очень похоже.

Он откусил кусочек и стал с трудом мусолить во рту.

— Нравится? — спросил я.

Он кивнул. Кабачок был посыпан сахаром, но вот корицы у меня не нашлось. Я посидел немного и ушел, чтобы не смущать его. Вернулся — он лежит, и тарелка возле него пустая. Когда Фелисити будет в следующий раз убирать палату, она выметет из-под кровати куски кабачка, сплошь облепленные муравьями. Жалко.

— Как убедить тебя, что надо есть? — спросил я его.

Он молчал так долго, что я подумал, он заснул. Но вот он откашлялся.

— Никому никогда раньше не было дела, что я ем, — проговорил он. — И я спрашиваю себя: вам-то что до меня?

— Я не могу смотреть, как ты умираешь от голода. Я вообще не хочу, чтобы кто-нибудь здесь умер от голода.

Вряд ли он слышал меня. Его растрескавшиеся губы продолжали шевелиться, словно он боялся потерять какую-то мысль:

— Я все спрашиваю себя, что я этому человеку? Я спрашиваю себя: какое дело этому человеку, жив я или умер?

— С таким же успехом ты мог бы спросить, почему мы не расстреливаем заключенных. Примерно тот же самый вопрос.

Он покачал головой и вдруг открыл глаза и посмотрел на меня огромными темными озерами. Я хотел еще что-то сказать, но не смог. Абсурд — спорить с человеком, который глядит на тебя словно бы из могилы.

Мы долго смотрели друг на друга. Потом я услышал, что говорю, вернее не говорю, а шепчу. В голове у меня мелькнуло: я сдался. Именно так себя чувствуешь, когда потерпел поражение.

— Я мог бы задать тот же вопрос тебе, — шептал я, — тот же вопрос, что ты задал мне: что я этому человеку? — шептал я все тише и тише, и сердце у меня гулко стучало. — Я не звал тебя сюда. Пока ты не появился, у меня все было хорошо. Я был счастлив — насколько человек может быть счастлив в таком месте. Поэтому я тоже спрашиваю: что мне до тебя?

Он снова закрыл глаза. Горло у меня пересохло. Я ушел в умывалку, выпил воды и долго стоял, прислонившись к раковине, меня переполняла печаль, я думал, что вот-вот случится беда, а я к ней не готов. Я вернулся к нему со стаканом воды.

— Пусть ты не ешь, — сказал я, — но пить ты все равно должен.

Помог ему сесть, он сделал несколько глотков.

* * *

Дорогой Михаэлс, я отвечу на твой вопрос. Я хочу узнать историю твоей жизни. Хочу понять, как случилось, что ты, именно ты, замешался в войну, которая не имеет к тебе никакого отношения. Ты не солдат, Михаэлс, ты комическая фигура, шут, ярмарочный деревянный человечек. Что ты делаешь в этом лагере? Мы не можем перевоспитать тебя, не можем освободить от жаждущей мести матери с пылающими волосами, которая преследует тебя

в твоих снах. Я правильно себе все это представляю? Мне кажется, что правильно. И для какого дела мы должны тебя перевоспитывать? Чтобы ты плел корзины? Стриг газоны? Ты точно насекомое палочник, Михаэлс, единственная защита которого от всех хищников мира — его причудливая форма. Ты точно палочник, который бог весть откуда взялся посреди огромного, голого, покрытого асфальтом плаца. Ты медленно поднимаешь то одну, то другую тоненькую ножку-палочку, ты ползешь, тщетно надеясь слиться с чем-нибудь, спрятаться. Зачем ты вообще ушел из сада, Михаэлс? Твое место там. Жил бы себе всю жизнь где-нибудь на тихой окраине, в дальнем углу запущенного сада, в неприметном кустике, делал бы то, что положено делать насекомым — обгрызал листочки, ел тлей, пил росу. И — прости, что я вмешиваюсь в твою личную жизнь, — тебе надо было как можно раньше отдалиться от твоей матери, которую я считаю настоящим убийцей. Надо тебе было найти куст подальше от нее и начать независимую жизнь. Ты совершил непоправимую ошибку, Михаэлс, когда взвалил ее на себя и, надеясь спастись, бежал из объятого пламенем города в деревню. Ибо когда я представляю себе, как ты тащил ее, чуть не падая под ее тяжестью, задыхаясь в дыму, увертываясь от пуль и совершая все прочие подвиги, на которые вдохновляла тебя сыновняя привязанность, я вижу и ее: она сидит у тебя на плечах, высасывает из твоей головы мозг и с торжеством взирает на всех — великая мать Смерть, ее истинное воплощение. А теперь, когда она умерла, ты хочешь последовать за ней. Я не раз думал: что ты видишь, Михаэлс, когда так широко раскрываешь глаза? Ведь, конечно же, ты видишь не меня, не белые стены и пустые койки лазарета, не Фелисити

в ее белоснежной шапочке. Что ты видишь? Свою мать в нимбе пылающих волос, она усмехается и манит тебя скрюченным пальцем, зовет пройти сквозь завесу света к ней, в тот, другой, мир? И этим объясняется твое равнодушие к жизни?

Еще я хочу знать, что за пищу ты ел там, на заброшенной ферме, после которой всякая другая кажется тебе лишенной вкуса. Единственное, что ты когда-либо называл, это тыквы. Ты даже носишь с собой пакетик тыквенных семян. Неужели тыква — это единственное, что едят в Кару? И я должен поверить, что ты целый год питался тыквами? Человеческий организм такого не выдержит, Михаэлс. Что еще ты ел? Наверное, ты охотился? Сделал себе лук и стрелы и охотился? Ел ягоды и корни? Ел саранчу? В твоих бумагах сказано, что ты был *orgaarder*, сторож, но не сказано, что именно ты сторожил. Манну небесную? Она падала тебе с неба, и ты хранил ее в погребах, чтобы кормить своих ночных друзей? И потому-то ты отказываешься есть лагерную пищу — ты навеки отравлен вкусом манны небесной?

Тебе надо было прятаться, Михаэлс. Ты был слишком беззаботен. Надо было забиться в самую глубокую нору, в самый ее темный угол и терпеливо ждать, пока война кончится. Ты что, считал себя незримым духом, инопланетянином, существом, на которое людские законы не распространяются? Людские законы зажали тебя сейчас в тиски, они пригвоздили тебя к кровати под трибунами Кенилуортского ипподрома, они, если понадобится, сотрут тебя в порошок. Эти законы написаны железной рукой, Михаэлс, надеюсь, ты начал это понимать. Истай, как свеча, — они все равно не сжальются. Людям с такой огромной душой на земле нет места, разве что в Антарктике или где-нибудь среди океана.

Если ты не пойдешь на уступки, Михаэлс, ты умрешь. И не думай, что ты просто исчезнешь, плоть твоя сгорит и останется одна душа, и эта душа улетит в эфир. Смерть, которую ты выбрал, — мучительная смерть, ты в полной мере испытываешь раскаяние, сожаление, горе, и много дней пройдет, пока наконец наступит избавление. Ты умрешь, и история твоей жизни умрет с тобой, умрет навсегда, если ты не одумаешься и не послушаешь меня. Послушай меня, Михаэлс. Я единственный, кто может тебя спасти. Я единственный, кто понимает, какое ты необыкновенное существо. Я единственный, кому ты не безразличен. Я один вижу, что ты не покорный узник, которого надо поместить в лагерь с мягким режимом, и не закоренелый преступник, которому нужен жесточайший режим, нет, ты просто человек, на которого нельзя наклеить никакой ярлык, твоя душа, к счастью, не отравлена никакими догмами, ей неведома человеческая история, и эта душа пытается расправить крылья в своем каменном саркофаге, пытается заговорить под своей клоунской маской. В каком-то смысле ты — уникал, Михаэлс; ты последний из своего вида, доисторическое животное вроде целаканта, или последний человек, говорящий на языке янкви. Мы все свалились в кипящий котел истории, и только ты, следуя своей дурацкой звезде, проведя свое детство в приюте (кому бы пришлось в голову, что приют может стать убежищем?), ускользнув от мира и от войны, спрятавшись на открытом месте, там, где никому и в голову не пришлось бы тебя искать, только ты один умудрился жить на старьй лад, ты плыл по времени, ты наблюдал смену времен года и не пытался изменить ход истории, как не пытается изменить его песчинка. Мы должны гордиться-

ся тобой и воздавать тебе почести, твою одежду надо выставить в музее, одежду и пакетик с семенами тыквы, а на стене ипподрома установить мемориальную доску в память о твоём пребывании здесь. Но ничего этого не будет. Будет иначе: ты умрешь, никому неведомый, тебя зароят где-нибудь в углу ипподрома, потому что сейчас речи быть не может о том, чтобы везти тебя на кладбище в Волтемаде, ни одна живая душа, кроме меня, не будет помнить о тебе, если только ты не смягчишься и наконец не заговоришь.

Умоляю тебя, Михаэлс, смягчись!

Твой друг.

* * *

После самых разнообразных слухов об ожидаемом поступлении заключенных положение наконец разъяснилось. Основная часть задержана в Реддерсбурге, ждут транспорта. Что касается партии из восточных провинций, они вообще не придут: в Эйттенхагском этапном лагере не осталось сотрудников, которые могли бы рассортировать задержанных на матерых преступников и на тех, кто просто нуждается в перевоспитании, и потому все арестованные в этом секторе отправляются в лагерь со строгим режимом и будут содержаться в них до особых распоряжений.

Так что в Кенилурте по-прежнему царит праздничное настроение. Завтра состоится крикетный матч между персоналом лагеря и командой генералквартирмейстерской службы. В центре бегового поля кипит деятельность: стригут газон, размечают площадку. Капитан нашей команды — Ноэль. Он говорит, что в последний раз играл тридцать лет назад. Никак не может найти себе белые брюки по размеру.

Если по всей стране и впредь будут взрывать железнодорожные пути и задерживать составы, власти о нас забудут, и мы, отгородившись от мира нашим забором, сможем мирно играть до конца войны.

К нам нагрянул Ноэль с инспекцией. В палате всего двое больных — Михаэлс и еще один парнишка с сотрясением мозга. Мы говорили о Михаэлсе, говорили тихо, хотя он и спал. Я все еще могу спасти его, сказал я Ноэлю, если вставлю ему в нос трубку и буду кормить, но заставлять жить человека, который не хочет жить, против моих убеждений. Устав на моей стороне: он запрещает принудительное питание и искусственное продление жизни. (И еще он запрещает афишировать голодные забастовки.)

— Сколько он еще протянет? — спросил Ноэль.

— Недели две, может быть, даже три, — сказал я.

— Что ж, по крайней мере, он умрет без мучений.

— Нет, — возразил я, — он умрет в жесточайших мучениях.

— А разве нельзя сделать ему какой-нибудь укол?

— Чтобы умертвить его? — спросил я.

— Нет, я вовсе не хочу его умертвлять, — ответил он, — просто чтобы облегчить его страдания.

Я отказался. Не могу брать на себя такую ответственность, пока есть надежда, что он передумает. Так мы ни до чего и не договорились.

* * *

Матч мы проиграли, мяч носился над неровно подстриженным полем, а отбивающие отскакивали от него, боясь, как бы он их не ударил. Ноэль, который играл в белом шерстяном тренировочном костюме с красными лампасами и был похож в нем на Деда Мороза в теплом нижнем белье, бил одиннадцатым, и после первого же мяча его высадили.

— Где вы учились играть в крикет? — спросил я его.

— В Морресбурге, еще в тридцатые годы, — ответил он, — на школьном стадионе, во время больших перемен.

Из всех из нас он самый лучший.

После крикета устроили пирушку и не расходились до глубокой ночи. Ответный матч назначили на февраль, в Симонстауне, если нас к тому времени не переведут.

* * *

Ноэль очень удручен. Он узнал сегодня, что то, что произошло в Эйтенхагском лагере, только начало и что разница между исправительными лагерями и лагерями для военнопленных ликвидируется. Бардскердерсбос закрывается, а три остальные, включая Кенилуорт, превращаются в обыкновенные лагеря для военнопленных. Перевоспитание вещь прекрасная, но, как выяснилось, идеал оказался недостижим; что же касается трудовых частей, их можно формировать из узников лагерей для военнопленных. Ноэль спросил начальство: «По-вашему, можно запереть крепких бывалых солдат здесь, в Кенилуорте, в центре города, оградив их всего лишь кирпичным забором и двойной оградой колючей проволоки, под охраной горстки стариков с большим сердцем и зеленых юнцов?» Ему ответили: «Нам известны недостатки кенилуортского лагеря. Прежде чем он будет заново открыт, его предполагается модернизировать, причем будут установлены прожекторы и сторожевые вышки».

Ноэль признался мне, что подумывает об отставке: ему шестьдесят лет, достаточно он отдал службе, у него дочь-вдова, она уговаривает его переехать

к ней в Гордонс-Бей. «Начальником такого лагеря должен быть железный человек. Не для меня эта работа». Я не мог с ним не согласиться. То, что он не железный, — самое большое его достоинство.

* * *

Михаэлс исчез. Должно быть, сбежал ночью. Когда Фелисити утром вошла в палату, она увидела, что его кровать пуста, но докладывать не стала. («Я подумала, он в туалете».) Я обнаружил, что он исчез, только в десять часов. Теперь-то я понимаю, как легко было сбежать, во всяком случае, здоровому человеку. Лагерь пуст, часовые только у главных ворот и у ворот на территорию, где живут сотрудники лагеря. Ограду никто не охраняет, боковые ворота просто заперты. Бежать из лагеря некому, а кто захотел бы войти в него из города? О Михаэлсе мы, конечно, не подумали. Он, вероятно, тихонько вышел на поле, перелез через забор, одному богу известно как, и исчез. Колочая проволока вроде нигде не перерезана, но Михаэлс такой тощий, что пролезет в самую узкую щель.

Ноэль в затруднении. Устав предписывает доложить о побеге властям и передать дело в полицию. Но тогда начнется расследование и, конечно же, обнаружится, как вольготно мы тут живем: половина сотрудников ночами отсутствует, часовые не выставляются и т. д. Есть выход: составить свидетельство о смерти, и пусть Михаэлс идет на все четыре стороны. Я убеждаю Ноэля так и поступить:

— Давайте покончим с Михаэлсом раз и навсегда. Несчастный идиот уполз, как больная собака, чтобы где-нибудь тихо умереть. Бог с ним, зачем нам надо, чтобы его приволокли сюда обратно и он умирал при свете прожектора, под взглядами чужих

людей. — Ноэль улыбнулся. — Вы улыбаются, — сказал я, — но я прав: такие, как Михаэлс, связаны с миром, который нам с вами недоступен. Они слышат зов великого доброго творца и повинуются ему. Как слоны, вы ведь знаете?

— Михаэlsa вообще не следовало привозить в этот лагерь, — продолжал я. — Это была ошибка. И уж если на то пошло, вся жизнь его была ошибка, от начала и до конца. Жестоко так говорить, но я все равно скажу: ему вообще не надо было родиться на свет. Как только мать увидела его, ей надо было тихонько задушить его и бросить в мусорный контейнер. Давайте хоть сейчас отпустим его с миром: я составлю свидетельство о смерти, вы подпишете, какой-нибудь клерк в управлении подошьет его к делу не глядя, и все, на этом история с Михаэлсом закончится.

— На нем лагерная пижама, — сказал Ноэль. — Полиция заберет его, спросит, откуда он, он объяснит, что из Кенилуорта, они проверят и обнаружат, что о побеге мы не сообщили, и расплата будет жестокой.

— Он был не в пижаме, — возразил я. — Что уж он там надел, я не знаю, только пижаму он оставил в палате. И он никогда не признается, что он из Кенилуорта, по той простой причине, что не хочет возвращаться в Кенилуорт. Он наплетет им какую-нибудь из своих историй, например, что он из райского сада. Выгащит свой пакетик с семенами, потрясет им, улыбнется, и его тут же отправят в сумасшедший дом, если их еще не все закрыли. Больше мы о Михаэсе не услышим, Ноэль, клянусь вам. Кстати, знаете, сколько он весит? Тридцать пять килограммов, кожа да кости. Он две недели не ел. Его организм утратил способность усваивать обыкновенную пищу.

Я поражен, что у него хватило сил встать и идти, а то, что он перелез через забор, — вообще чудо. Сколько он может протянуть? Одна ночь под открытым небом — и он умрет от холода. Его сердце остановится.

— Кстати, неплохо бы проверить, не лежит ли он где-нибудь возле забора, может, он залез на него и просто свалился?

Я встал.

— Облепленный мухами труп возле лагеря — только этого нам не хватало. Конечно, ходить проверять не ваша обязанность, но если хотите, сделайте одолжение, посмотрите. Можете взять мою машину.

Машину я брать не стал, обошел лагерь пешком. По ту сторону забора густо разрослись сорняки, на задах мне буквально пришлось продирааться сквозь них. Труп я не обнаружил, проволока нигде не была повреждена. Через полчаса я вернулся к тому месту, с которого начал обход, и слегка удивился: до чего же, оказывается, лагерь маленький — то есть снаружи, а для тех, кто в нем живет, это целая вселенная. А потом, вместо того чтобы вернуться с докладом к Ноэлю, я побрел по Розмидавеню в узорной тени дубов, наслаждаясь полуденным покоем. Мимо проехал на велосипеде старик, велосипед скрипел при каждом движении педалей. Он поднял руку, приветствуя меня. Я подумал, что, если пойти за ним прямо по улице, к двум часам я буду на пляже. Почему бы дисциплине и порядку не развалиться прямо сегодня, спрашивал я себя, какой смысл ждать еще день, неделю, месяц, год? От чего человечеству будет больше пользы — если я проторчу весь день в лазарете, инвентаризируя имущество, или если я пойду на пляж, разденусь, лягу в трусах на песок и буду впитывать в себя ласковое весеннее солнышко, смотреть, как дети рез-

вятся в воде, потом куплю мороженое в киоске на стоянке, если киоск еще существует? Чего в конечном итоге достиг Ноэль, часами подсчитывая за своим письменным столом, сколько к нам поступило заключенных и сколько мы выпустили? Не лучше ли ему было пойти вздремнуть? Может быть, общая сумма человеческого счастья увеличилась бы, объяви он сегодняшней день выходным, все пошли бы на пляж — и начальник лагеря, и врач, и священник, и инструкторы по физической подготовке, и охранники, и часовые с собаками, и даже шесть неисправимых заключенных, которых держат под арестом, оставили бы только больного с сотрясением мозга, пусть присматривает за лагерем. Может быть, нам встретились бы девушки. Разве не для того мы в конечном итоге ведем войну, чтобы увеличить сумму человеческого счастья во всем мире? Или, может быть, я перепутал, может быть, я думал о другой войне?

— За забором Михаэlsa нет, — доложил я. — И на нем одежда, которая нас не выдаст. На нем синий комбинезон с надписью «Лесоруб» на груди и на спине, он висел в уборной на крючке бог весть с каких пор. Мы можем спокойно списать его со счетов.

Ноэль устало посмотрел на меня — усталый, старый человек.

— И еще одно, — продолжал я, — можете вы мне напомнить, ради чего мы ведем эту войну? Мне когда-то говорили, но это было давно, боюсь, я забыл.

— Мы ведем эту войну, — сказал Ноэль, — чтобы национальные меньшинства сами могли решать свою судьбу.

Мы смотрели друг на друга пустым взглядом. Он не понимал меня, тут я ничего не мог сделать.

— Давайте свидетельство, которое вы хотели написать, — сказал он. — Дату не проставляйте, оставьте пустое место.

А вечером я сидел без дела за столом медсестры, в палате было темно, за окном разыгрывался юго-восточный ветер, ровно дышал больной с сотрясением мозга, и вдруг я с необыкновенной остротой почувствовал, что зря растрачиваю свою жизнь, растрачиваю ее, живя изо дня в день в ожидании, что я по сути сдался этой войне в плен. Я вышел из лазарета, встал на краю пустого бегового поля и стал смотреть на чистое ветреное небо, надеясь, что моя тревога пройдет и вернется прежнее спокойствие. Время войн — это время ожидания, сказал когда-то Ноэль. Что еще остается в лагере, как не ждать, жить заведенным порядком, тянуть ляжку, прислушиваться все время к гулу войны за стенами, в надежде, что его тон изменится? История колеблется, не зная, куда ей повернуть, а вот Фелисити — взять хотя бы одну только Фелисити — интересно, ощущает ли она, что живет как бы во взвешенном состоянии, живет и в то же время не живет? Для Фелисити история, судя по тому, что я о ней знаю, всего лишь школьный учебник. («Когда была открыта Южная Африка?» — «В тысяча шестьсот пятьдесят втором году». — «Где самая глубокая скважина в мире?» — «В Кимберли».) Сомневаюсь, чтобы Фелисити видела потоки времени, вьющиеся и крутящиеся вокруг нас на полях сражений, в военных штабах, на заводах, на улице, в правлениях фирм, в правительственных учреждениях, — сначала они бьются и сталкиваются друг с другом, но неуклонно стремятся к преобразению, и тогда из хаоса рождается порядок и история торжественно являет себя во всем своем смысле и значении. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, Фелисити не считает,

что ее заперло в ловушке времени — времени ожидания, времени лагерей, времени войны. Ей время кажется таким же наполненным, как и прежде, даже когда она стирает простыни, даже когда метет полы; я же, слушающий одним ухом обыденные разговоры, которые мы ведем в нашей лагерной жизни, а другим — недоступное обычному слуху жужжание гироскопов Великого Механизма, чувствую, что время опустошилось. (А может быть, я недооцениваю Фелисити?) Даже наш больной с сотрясением мозга, полностью обращенный в себя и отгороженный от мира своим медленным угасанием, умирая, живет более насыщено, чем я, здоровый и полный сил.

Я хочу, хотя нам это грозит неприятностями, чтобы у ворот появился полицейский, держа за шиворот Михаэlsa, точно тряпичную куклу, сказал: «Почему вы не смотрите за этими ублюдками?», оставил бы его у нас и ушел. Михаэлс с его мечтой покрыть пустыню цветущими плетями тыкв — еще один из тех чудаков, кто слишком занят, слишком глуп, кто слишком увлечен и потому не слышит, как движутся колеса истории.

* * *

Сегодня утром без предупреждения прибыла колонна грузовиков и привезла новую партию, — четыреста заключенных, тех самых, которых сначала держали неделю в Реддерсбурге, а потом состав с ними стоял к северу от Бофорт-Уэста. И все то время, что мы играли здесь в крикет, развлекались с девушками, философствовали о жизни и о смерти и об истории, эти люди томилась на запасных путях в вагонах для скота, днем под палящим ноябрьским солнцем, ледяными ночами спали на полу, прижавшись друг к другу, два раза в сутки их выпускали справлять

нужду, единственное, что они ели, — это каша, которую варили на кострах возле насыпи; составы с более срочным грузом проносились мимо, а колеса их временного жилища оплетали паутиной пауки. Ноэль говорит, что сперва хотел категорически отказаться принять людей, и имел бы полное право, потому что наш лагерь для них совершенно неприспособлен, но когда услышал запах, который исходил от заключенных, увидел, как они измучены и беспомощны, он понял, что возражать не надо, — их просто отвезут обратно на вокзал, погрузят в те же самые вагоны для скота, в которых они прибыли, и если только какой-нибудь чиновник в этой немислимой бюрократической машине не шевельнет ради них пальцем, они так в этих вагонах и перемрут. И все мы целый день без отдыха трудились, обрабатывая вновь поступивших: надо было провести дезинфекцию, сжечь их одежду и выдать лагерную, накормить их, отделить больных от просто истощенных. Палата и коридор опять переполнены; некоторые из новых больных почти такие же худые, как Михаэлс, который, как мне кажется, живя, настолько приблизился к смерти — или, может быть, умирая, — к жизни, не знаю, — насколько это доступно человеку. Словом, все мы в делах и в хлопотах, и очень скоро церемония подъема флага и исправительное пение погубят наши мирные послеполуденные часы.

Заключенные говорят, что по дороге умерло человек двадцать, не меньше. Покойников зарывали прямо в вельде. Ноэль стал проверять документы. Оказалось, что они составлены сегодня утром в Кейптауне, и в них не значится ничего, кроме числа прибывших.

— Почему вы не потребовали сопроводительные бумаги? — спросил его я.

— Какой толк? — ответил он. — Мне ответили бы, что бумаги еще не готовы. А они никогда не будут готовы. Кому нужно, чтобы началось расследование? И потом, кто скажет, что двадцать из четырехсот так уж много? Люди умирают на каждом шагу, они смертны, такова природа человеческая, ничего тут не поделаешь.

Очень много больных дизентерией и желтухой, и конечно же, почти у всех глисты. Нам с Фелисити вдвоем не справиться. Ноэль согласился, чтобы я взял двух санитаров из заключенных.

Тем временем планы превратить Кенилуорт в лагерь строгого режима проводятся в жизнь. Первого марта мы переходим в новый статус. Готовятся серьезные перемены: должны быть снесены трибуны и построены бараки, чтобы принять еще пятьсот заключенных. Ноэль позвонил начальству и пожаловался, что срок слишком короткий, но ему сказали: «Успокойтесь. Обо всем позаботятся. Помогите нам — выделите людей для очистки территории. Если есть трава, сожгите ее. Если камни — уберите. Каждый камень отбрасывает тень. Желаем удачи. Помните: 'n boeg maak 'n plan»*.

Подозреваю, что Ноэль пьет сейчас больше обычного. По-моему, пора нам с ним бежать из крепости — ибо Полуостров превращают именно в крепость, — и пусть заключенные стерегут заключенных, а больные лечат больных. Наверное, нам надо взять пример с Михаэlsa и забраться в какой-нибудь тихий уголок страны, например, в пустынные районы Кару, поселиться там и жить — два беглеца, два неприятзательных джентльмена со скромными средствами. Главная трудность в том, чтобы нас по

* Здесь: «Им нельзя доверять» (африкаанс).

дороге не поймали. Наверное, для начала надо снять военную форму, набить под ногти грязь и вообще приблизиться к земле, впрочем, я сомневаюсь, что нам удастся стать такими же незаметными, как Михаэлс, точнее, такими, каким он был до того, как превратился в скелет. Когда я глядел на Михаэlsa, я неизменно думал, что вот кто-то взял горсть пыли, смочил слюной и вылепил примитивного человечка, слегка уродливого (заячья губа и, конечно же, мозги), не со всеми органами (нет полового), и все равно получился настоящий маленький глиняный человечек, именно такой, каких лепят крестьяне; он вылезает на свет из утробы матери, и его пальцы уже скрючены, а спина согнута, чтобы копать нору; всю свою жизнь это существо проводит, склонившись над землей, и когда наконец его время приходит, он сам роет себе могилу, тихо в нее ложится и заваливает себя тяжелыми комьями, закутывается в них, как в одеяло, улыбается последней улыбкой, поворачивается и засыпает, наконец-то обретя дом, а где-то далеко, как всегда незаметно, продолжают вращаться колеса истории. Какому носителю власти пришло бы в голову поручить этим существам исполнение своей воли, ведь единственное, на что они пригодны, — это носить тяжести и умирать сотнями, тысячами. Государство держится на земледельцах, каким был Михаэлс; оно пожинает плоды их труда и в благодарность плюет на них. Но когда государство навесило на Михаэlsa номер и швырнуло себе в пасть, оно зря трудилось: государству не удалось сожрать и переварить его, он вышел из лагеря целый и невредимый, как вышел в свое время из школы и из приюта.

А вот меня, — если я однажды глухой ночью наде- ну комбинезон и теннисные туфли и перелезу через

забор (мне придется перерезать колбочую проволоку, ведь я-то сделан не из воздуха), — меня заберет первый же патруль, пока я буду стоять и раздумывать, куда идти, в какой стороне искать спасение. Беда моя в том, что я потерял единственную надежду, которая у меня была, потерял еще до того, как это понял. В ту ночь, когда Михаэлс бежал, мне надо было бежать вместе с ним. Я был не готов, но что толку говорить об этом теперь! Если бы я отнесся к Михаэлсу серьезно, я давно был бы готов. Заранее собрал бы узелок со сменой белья, взял коробку спичек, пакет сухарей и банку сардин, положил в кошелек деньги. Нельзя было спускать с него глаз. Когда он спал, я должен был спать рядом за дверью; когда он просыпался, я должен был следить за каждым его движением. И когда он проскользнул из палаты во двор, я должен был скользнуть за ним. Прятаться в тени, красться по его следам, перелезть через забор в темном углу и идти по обсаженной дубами улице под звездами, не приближаясь к нему, останавливаться, когда он останавливался, чтобы он ничего не заподозрил и не подумал: «Кто это там идет за мной? Что ему надо?» и не бросился бежать, приняв меня за полицейского, за переодетого полицейского в комбинезоне и теннисных туфлях, с узелком, в котором лежит пистолет. Я должен был красться за ним по переулкам всю ночь до рассвета, и вот наконец перед нами пустыри, и за ними начинается Капская равнина, мы шагаем по песку через заросли, ты впереди, я — в пятидесяти шагах от тебя, обходя лачуги, из которых к небу уже поднимается кудрявый дым. И здесь, при свете дня, ты наконец поворачиваешься и смотришь на меня — фармацевта, которому пришлось стать в лагере врачом, я сейчас смиренно иду за тобой, а до того, как мне прозреть, я приказывал тебе, когда ты должен

засыпать и когда просыпаться, я вставлял тебе трубку в нос, я заставлял тебя глотать таблетки, в твоём присутствии подсмеивался над тобой, и главное, главное — безжалостно заставлял тебя есть пищу, которую ты есть не можешь. Полный подозрений, полный гнева, ты останавливаешься и ждёшь, пока я подойду и все тебе объясню.

И я подхожу к тебе и начинаю говорить. Я говорю: «Прости меня за то, что я так с тобой обращался, я только в последние дни понял, какое ты удивительное существо. Прости меня и за то, что я крался за тобой. Обещаю, что не стану для тебя обузой. («Какой была твоя мать?») Нет, наверное, этих слов говорить не стоит.) Я не прошу тебя заботиться обо мне, кормить меня. Мне нужно очень мало. Страна у нас большая, такая большая, что в ней, казалось бы, всем должно хватить места, но жизнь научила меня, что нас хотят упрятать в лагерь. И все же я убежден, есть места, которые нельзя превратить в лагерь, например, некоторые вершины гор, островки среди болот, безводные пустыни, где люди обычно не селятся. Я хочу найти такое место и жить там, может быть, пока не наступят перемены к лучшему, может быть, всегда. Но я не так глуп и понимаю, что никакие карты и дороги меня туда не приведут. Поэтому я и выбрал тебя — покажи мне путь».

Тут я подхожу к тебе ближе, так близко, что мог бы коснуться рукой, и ты уже не отведешь от меня глаз. «С той самой минуты, как ты появился у нас, Михаэлс, — говорю я, сбежавший в ту ночь вместе с тобой, — я сразу увидел, что ты не из тех, кого можно заключить в лагерь. Признаюсь, сначала я считал тебя смешным чудачком. Да, я просил майора ван Ренсбурга освободить тебя от лагерного режима, но лишь потому, что был уверен, — заставлять тебя

принимать участие в перевоспитательных процедурах все равно что пытаться научить крысу, или мышь, или (прости меня) ящерицу лаять, ловить мяч и просить милостыню. Но шло время, и я начал медленно понимать, как своеобразно твое сопротивление. Ты был не герой и не посягал на роль героя, даже когда голодал. По сути, ты вовсе и не сопротивлялся. Тебе велели прыгать, и ты прыгал. Тебе снова велели прыгать, и ты снова прыгал. Тебе велели прыгать в третий раз, и ты не возразил, ты просто рухнул на землю, и все мы поняли, даже самые недоверчивые, что ты не смог прыгать только потому, что истощил все силы, подчиняясь нам. И тогда мы тебя подняли, ты оказался легким как перышко, поставили перед тобой еду и сказали: «Ешь, восстанавливай силы, чтобы потом снова их истощить, подчиняясь нам». И ты не отказался. Ты искренне хотел, я в этом уверен, выполнить все, что тебе велели. Дух твой соглашался (прости, что я тебя расчленяю, но только так я могу объяснить свою мысль), дух соглашался, но организм твой бунтовал. Так мне это представляется. Твой организм отвергал пищу, которой мы хотели тебя накормить, и ты все продолжал худеть. «Почему, — спрашивал я себя, — почему этот человек отказывается есть? Ведь он умирает с голоду». Но потом, наблюдая за тобой изо дня в день, я начал постигать истину: что ты тайно, подсознанием (прости мне этот психоаналитический термин) жаждешь другой пищи, пищи, которую ни один лагерь тебе дать не может. Твой дух уступал, но организм жаждал именно той пищи, которая ему была нужна, и никакой другой не хотел. Я понял, что организм не идет на компромисс. А меня-то учили, что организм хочет одного — жить. Когда человек совершает самоубийство, то не тело убивает себя, а дух

убивает тело, считал я. И вот передо мной оказался организм, который был готов умереть, только бы не менять свою природу. Я часами простаивал в дверях палаты, наблюдая за тобой и пытаюсь разгадать эту тайну. Ты погибал не за какую-то идею, не за какой-то принцип. Ты не хотел умирать, и все же умирал. Ты был точно кролик, заваленный кусками говядины: среди этой груды мяса ты задыхался и тосковал о пище, которую ты только и можешь есть».

Тут я умолкну, потому что неподалеку от нас раздается кашель, старик отхаркается и плюнет, потянет дымом костра; но мои горящие глаза не отпустят тебя, ты будешь стоять, точно прикованный.

«Я был единственный, кто видел, что ты совсем не то, чем кажешься, — снова заговорю я. — Медленно, день за днем, по мере того, как твое упрямое «нет» набирало силу, я начал чувствовать, что ты не просто еще один пациент в моей палате, еще одна жертва войны, еще один камень в пирамиде, на вершину которой когда-нибудь влезет победитель, расставит ноги и, с хохотом потрясая руками, объявит себя властелином края, расстилающегося перед ним. Ты лежал на своей койке возле окна, горел ночник, глаза твои были закрыты, наверное, ты спал. Я останавливался в дверях и, затаив дыхание, слушал, как стонут во сне и ворочаются другие больные, стоял и ждал; и во мне росло ощущение, что над одной из кроватей воздух сгущается, концентрируется темнота, черный вихрь ревет в полнейшем беззвучии над твоим спящим телом, указывая на тебя, но так, что даже кончик простыни не кольхнется. Я тряс головой, пытаюсь отогнать морок, но ощущение не пропадало. «Нет, это не моя фантазия, — говорил я себе. — Это предчувствие, что смысл вырисовывается, вовсе не похоже на то, с ка-

ким я направляю свой луч, чтобы осветить ту или иную кровать, с каким ряжу по своей прихоти в разные одежды того или иного больного. В Михаэлсе скрыт большой смысл, и этот смысл важен не для меня одного. Если бы это было не так, если бы ощущение этого смысла было рождено всего лишь пустотой во мне, скажем, отсутствием того, во что можно верить, ибо все мы знаем, как трудно утолить эту жажду веры при том будущем, которое сулит нам война, и тем более лагеря, если бы сам Михаэлс был всего лишь тем, чем кажется (чем ты кажешься), высохшим скелетом с уродливой губой (прости меня, я перечисляю лишь те приметы, которые бросаются в глаза), тогда я имел бы полное право пойти в туалет за бывшими раздевалками жокеев, запереться в последней кабинке и пустить себе пулю в лоб. Был ли я когда-нибудь более искренен, чем сейчас?» И все так же стоя в дверях, я жесточайшим образом анализировал себя, стараясь разглядеть всеми доступными мне средствами хотя бы тень корысти в глубине моего убеждения, например, желание оказаться единственным, для кого лагерь — это не просто бывший Кенилуортский ипподром с выстроенными на нем типовыми бараками, но священное место, в котором мир осветился смыслом. И если такая тень жила во мне, она не поднималась на поверхность, а если ее не было, разве я мог вызвать ее силой? (Я в общем-то сомневаюсь, что можно отделить ту часть нашей души, которая вглядывается в нас словно ястреб, от той, которая прячется; но давай лучше отложим этот разговор до другого времени, когда нам не придется убегать от полиции.) И я снова обращал свой взгляд вовне — и все было как прежде, я не обманывал себя, не льстил себе, не утешал себя, это была правда, истина: над

одной из кроватей действительно сгустилась, сконцентрировалась темнота, и это была твоя кровать».

Тут, я думаю, ты отвернешься от меня и пойдешь прочь, перестав понимать, о чем я говорю, и, главное, желая уйти как можно дальше от лагеря. А может быть, тебя спугнет толпа людей в пижамах, которые соберутся на мой голос из лачуг и, разинув рты, будут слушать мой страстный монолог. И теперь мне придется спешить за тобой, стараясь идти рядом, чтобы не кричать. «Прости меня, Михаэлс, — вынужден буду сказать я, — осталось немного, пожалуйста, потерпи. Я только хочу объяснить тебе, что ты для меня значишь».

Тут, я думаю, ты бросишься бежать, так уж ты устроен. И мне придется бежать за тобой по глубокому серому песку, словно по воде, я буду бежать, увертываясь от веток, и кричать: «Твоя жизнь в лагере была всего лишь аллегорией, хотя ты, наверно, и не знаешь этого слова. Да, это аллегория, высочайшая аллегория того, как сгусток смысла может попасть в чудовищную, вопиющую бессмыслицу и не потеряться в ней. Разве ты не помнишь, как ты ускользал всякий раз, когда я пытался загнать тебя в угол? Я-то помню. Знаешь, что я подумал, когда увидел, что ты бежал, не перерезав колочей проволоки? «Наверное, он прыгун с шестом», — вот что я подумал. Может быть, ты и не прыгун с шестом, Михаэлс, но ты великий иллюзионист-эскапист, один из величайших в этом жанре — снимаю перед тобой шляпу!»

Объясняя тебе все это на бегу, я начну задыхаться и, может быть, даже стану отставать от тебя. «И еще последнее, твой сад, — ловя ртом воздух просиплю я. — Позволь мне объяснить тебе значение священного чарующего сада, который цветет в самом сердце пустыни и дает плоды жизни. Сада,

к которому ты сейчас стремишься, нет нигде, и в то же время он везде, кроме лагерей. Именно в нем ты должен жить, там твое место, твой дом. Его нет ни на одной карте, ни одна обыкновенная дорога не ведет туда, и только ты знаешь путь к нему».

Кажется ли мне это или ты на самом деле после этих моих слов бросишься бежать изо всех своих последних сил, так что даже посторонний наблюдатель поймет, что ты хочешь убежать от человека, который кричит тебе что-то вслед, от человека в синем, который, судя по всему, преследует тебя, — маляк ли он, сыщик или полицейский? И удивительно ли, что дети, которые ради забавы пришли за нами, к этому времени начнут сочувствовать тебе, вцепятся в меня со всех сторон, будут колотить, кидать в меня камни и палки, и чтобы отбиться от них, мне придется остановиться, а ты тем временем побежишь дальше, побежишь сквозь густейшую чащобу так быстро, что всякий бы поразился, — неужели это бежит человек, который столько времени голодал, и, глядя тебе вслед, я крикну: «Я прав? Я понял тебя? Если я прав, подними правую руку, если ошибся — левую!»

III

Чувствуя, как ноги дрожат после долгой ходьбы, шурясь от ослепительного утреннего света, Михаэл К. сел на скамейку возле крошечного поля для игры в гольф на набережной Си-Пойнта и стал смотреть на море; он отдыхал, набирался сил. Воздух был тих. Он слышал, как внизу волны плещут о камни и с шипеньем откатываются. Возле него остановилась собака, понюхала его коленку, подняла лапу

возле ножки скамьи. Пробежали, о чем-то щебеча, три девушки в шортах и майках, за ними тянулся хвост сладкого запаха. На Бич-роуд затренькал колокольчик уличного мороженщика, он приближался, потом стал удаляться. Наполненный покоем, в привычной знакомой обстановке, благодарный дню за тепло, К. вздохнул, и голова его медленно свесилась набок. Он не знал — спал он или нет, но когда открыл глаза, то почувствовал, что отдохнул и может идти дальше.

В домах на Бич-роуд стало еще больше заколоченных окон, особенно на первых этажах. Те самые автомобили были на прежних местах, только теперь они совсем проржавели; у парапета валялся перевернутый обгоревший кузов без колес. К. шел по променаду, остро ощущая, что под синим комбинезоном у него ничего нет, что из всех гуляющих только он босой. Но если кто-нибудь и глядел мельком на него, то уж, во всяком случае, не на его ноги, а на лицо.

Он дошел до клочка земли, где сквозь выжженную траву пробивались среди битого стекла и обугленного мусора нежные зеленые ростки. По черным перекладинам какого-то детского спортивного снаряда карабкался маленький мальчишка, его ступни и ладони были черные от сажи. К. пересек газон, прошел по улице и из солнечного света шагнул в сумрак неосвещенного холла виллы «Лазурный берег», где на стене кто-то написал черной краской из баллончика-распылителя: «Да здравствует Джо!» Выбрав себе место в коридоре против двери с нарисованным на ней черепом и скрещенными костями, за которой когда-то жила его мать, он присел на корточки у стены и подумал: «Ничего, люди примут меня за нищего». Вспомнил потерянный берет: по-

ложить бы его рядом для полноты картины, чтобы было куда бросать милостыню.

Шел час за часом. Никто не приходил. Он не вставал и не пытался открыть дверь, он не знал, что будет делать, если она откроется. В полдень холод начал пробирать его до костей, и он вышел из виллы и снова пошел на пляж. На белом песке под теплым солнышком он заснул.

Проснулся и не сразу понял, где он; хотелось пить, он весь взмок в своем комбинезоне. Нашел общественную уборную на пляже, но воды в краях не было. Унитазы были засыпаны песком, у стены песку намело по щиколотку.

К. стоял у раковины, раздумывая, что же теперь делать, и тут увидел в зеркало, что в уборную вошли трое. Женщина в белом обтягивающем платье, в платиновом парике и с парой серебряных туфель на высоких каблуках в руке и двое мужчин. Тот, что был повыше, подошел к К. и взял его за локоть.

— Ну что, кончил ты тут свои дела? — спросил он. — Это заведение занято.

Он вывел К. на берег, на слепящий свет пляжа.

— Тут других уборных полно, — сказал он и хлопнул его по плечу, а может быть, просто слегка подтолкнул.

К. сел в песок. Высокий остановился в дверях уборной и смотрел на него. На нем была клетчатая шапочка набекрень.

На маленьком пляже загорало несколько человек, но никто не купался, только в мелкой воде у берега стояла, широко расставив ноги, женщина в подоткнутой юбке и раскачивала за руки маленького ребенка вправо-влево, так что его подошвы касались воды. Ребенок взвизгивал от страха и восторга.

— Это моя сестра, — заметил стоящий в дверях, указывая на женщину с ребенком. — И эта тоже, — он указал пальцем через плечо. — У меня много сестер. Большая семья.

В голове у К. начал ухать паровой молот. Ему бы шляпу или шапочку. Он закрыл глаза.

Из уборной показался другой мужчина и молча сбежал по ступенькам на набережную.

Край солнца коснулся поверхности пустого моря. Подожду, пока песок остынет, подумал К., тогда решу, куда идти.

Высокий стоял над ним и тыкал носком ботинка в ребра. За ним стояли две его сестры, у одной ребенок был привязан за спиной, другая сняла парик и держала его в руке вместе с туфлями. Кончик ботинка нашел прореху в боку его комбинезона и раскрыл ее, там оказалось голое бедро.

— Смотрите, он голый! — со смехом сказал незнакомый, обращаясь к женщинам. — Голый мужчина! Когда ты в последний раз ел, парень? — Он снова ткнул К. в ребра. — Давайте дадим ему что-нибудь поесть, тогда он, может быть, проснется!

Сестра, у которой был ребенок, достала из сумки бутылку вина, завернутую в бумагу. К. сел и стал пить.

— Откуда ты, парень? — спросил незнакомый. — Ты что, работаешь на них? — И он указал длинным пальцем на его комбинезон, на золотые буквы на кармане.

К. хотел ответить, но вдруг его желудок свела судорога, вино выплеснулось из горла тонкой золотой струей и сразу же впиталось в песок. Мир поплыл и закружился, он закрыл глаза.

— Ничего! — Незнакомый засмеялся и потрепал К. по плечу. — Вот что значит пить на голод-

ный желудок! Когда я тебя увидел, честно признаюсь, я сразу подумал: «Этот парень голодный, ясное дело. Надо его подкормить! — Он помог К. подняться. — Идемте с нами, мистер Лесоруб, мы вам такого дадим, сразу обростете жирком».

Они вместе дошли по набережной до пустой автобусной остановки. Незнакомый достал из сумки свежий батон и банку сгущенного молока. Вынул из кармана что-то узкое и черное и показал К. Сделал незаметное движение, это узкое и черное превратилось в нож. Свистнув в изумлении, он показал всем сверкающее лезвие и стал хохотать, хлопая себя по колену и тыча пальцем в сторону К. Ребенок, который глядел из-за плеча матери широко открытыми глазенками, тоже засмеялся и замахал кулачком.

Высокий успокоился и отрезал толстый ломоть от батона, налил на него вьющееся петлями сгущенное молоко и протянул К. К. стал есть, а все на него смотрели.

Они проходили по переулку, и вдруг К. увидел колонку, из которой капала вода. Он бросился к колонке и стал пить. Пил и не мог остановиться. Вода словно бы сразу хлынула через его тело вниз: ему пришлось убежать в конец переулка и присесть над водостоком, и после этого у него так закружилась голова, что он никак не мог попасть руками в рукава комбинезона.

Жилые кварталы остались позади, они начали подниматься по склону Сигнал-хилл. Идущий позади всех К. остановился перевести дух. Сестра с ребенком тоже остановилась.

— Тяжелый! — сказала она, указывая на ребенка, и улыбнулась. К. предложил взять у нее сумку, но она отказалась: — Ничего, я привыкла.

Пролезли сквозь дыру в заборе, окружавшем лесной заповедник. Незнакомый и другая сестра шагали впереди по дороге, вьющейся вверх; внизу в Си-Пойнте замигали огни, море и небо на горизонте налились красным светом.

Под купой сосен они остановились. Сестра в белом платье исчезла в сумерках. Через несколько минут она вернулась — в джинсах и с двумя набитыми пластиковыми пакетами. Другая сестра растегнула блузку и дала малышу грудь; К. не знал куда девать глаза. Мужчина раскинул на земле одеяло, зажег свечу и поставил ее в консервную банку. Потом стал выкладывать ужин: батон хлеба, сгущенное молоко, палку копченой колбасы («Золотая! — сказал он К., размахивая колбасой. — За нее платят золотом!»), три банана. Отвинтил крышку с бутылки вина и протянул К. Тот отхлебнул глоток и вернул бутылку.

— А воды у вас нет? — спросил он.

Высокий покачал головой.

— Вино у нас есть, молоко есть двух сортов, — он шутливо указал на женщину, кормящую ребенка, — но воды нет, друг, увы, воды здесь нет. Завтра я тебе обещаю достать воду. Завтра начнется новая жизнь. У тебя будет все, ты станешь другим человеком.

Голова у К. кружилась от вина, он то и дело хватался руками за землю, чтобы не упасть, и все же он съел кусок хлеба со сгущенным молоком, даже съел полбанана, но от колбасы отказался.

Мужчина рассказывал о жизни в Си-Пойнте.

— Странно, правда, мы спим на горе, как бродяги, — говорил он. — А ведь мы не бродяги. У нас есть еда, есть деньги, мы зарабатываем себе на жизнь. Знаешь, где мы раньше жили? Скажи мистеру Лесорубу, где мы жили раньше.

— На улице Норманди, — сказала сестра в джинсах.

— Улица Норманди, дом тысяча двести шестнадцать. Но нам надоело взбираться по этой бесконечной лестнице, и мы переселились сюда. Это наш летний курорт, мы тут устраиваем пикники. — Он засмеялся. — А до улицы Норманди мы знаешь где жили? Скажи ему.

— В парикмахерской, — сказала сестра.

— В салоне для мужчин и женщин. Так что видишь, жить в Си-Пойнте можно, надо только уметь. Но расскажи мне, ты-то откуда? Я тебя никогда не видел.

К. понял, что настал его черед рассказывать.

— Я провел три месяца в лагере Кенилуорт, был там до вчерашней ночи, — начал он. — Когда-то я был садовником, работал в городском парке. Давно это было. Но мне пришлось бросить это место и везти мать на ферму, потому что она заболела. Моя мать работала в Си-Пойнте, и жила она тоже там, мы прошли мимо дома, где у нее была комната. — Из желудка поднялась тошнота, он с трудом ее подавил. — Мать умерла по дороге, в Стелленбосе. — Мир качнулся, потом все снова вернулось на свои места. — Я не всегда ел досыта, — проговорил он. Он видел, что женщина с ребенком что-то шепчет мужчине. Другой женщины не было в круге света, который бросало дрожащее пламя свечи. Он вдруг подумал, что за все время сестры не перемолвились и словом. И еще он подумал, что ему не стоит рассказывать дальше, рассказ такой неинтересный, сплошные обрывки, он никогда не научится их соединять. А может быть, он просто не умеет рассказывать, чтобы людям было интересно. Тошнота прошла, взмокший от пота комбинезон начал

холодить тело, и его пробрала дрожь. Он закрыл глаза.

— Да я вижу, ты хочешь спать! — воскликнул мужчина и хлопнул его по коленке. — Пора укладываться! Завтра ты проснешься совсем другим человеком, увидишь. — Он снова хлопнул К. по коленке, но уже легче. — Все будет хорошо, друг, — пообещал он.

Спать устроились под соснами, на подстилке из сосновых игл. У них были постели, которые они вынули из своих сумок. К. дали большой кусок толстого пластика и помогли в него завернуться. Закутанный в пластик, обливаясь потом и дрожа, мучаясь от звона в ушах, К. засыпал на несколько минут и в тревоге просыпался. Он не спал, когда среди ночи мужчина, чьего имени он так и не узнал, нагнулся к нему, загородив верхушки деревьев и звезды. Надо что-нибудь сказать, пока не поздно, подумал он, но не смог. Рука незнакомца скользнула по его горлу и стала расстегивать нагрудный карман комбинезона. Пакет с семенами так зашуршал, что К. стало стыдно притворяться спящим. Он застонал и шевельнулся. На миг рука замерла; потом человек исчез в темноте.

Остальную часть ночи К. пролежал, глядя сквозь ветки, как луна плывет по небу. На рассвете он выполз из задубевшего пластика и подошел туда, где спали остальные. Мужчина лежал рядом с женщиной, у которой был ребенок. Ребенок не спал; он играл с пуговицами на кофточке матери и без страха смотрел на К.

К. потряс мужчину за плечо.

— Отдайте мне мой пакет, — прошептал он, чтобы не разбудить женщин. Мужчина всхрапнул и повернулся на другой бок.

Пакет он нашел в нескольких ярдах. Опустился на четвереньки и стал собирать семена. Собрал половину, спрятал пакет в карман и застегнул, подумав: «Вот жалость — под соснами ни одно семя не прорастет». И стал спускаться по извилистой дороге.

Пустыми рассветными улицами прошел на пляж. Солнце еще не поднялось из-за горы, и песок был холодный. Он направился к камням, среди которых было много лагун, в них жили своей жизнью актинии и улитки. Он долго рассматривал их, потом ему это надоело, он пересек Бич-роуд и снова просидел около часа у стены возле комнаты матери, дожидаясь, чтобы те, кто живут в доме, вышли и увидели его. Потом он снова вернулся на пляж, лег на песок и стал слушать, как все громче и громче звенит у него в ушах, а может быть, это кровь бежала по жилам, или мысли неслись в голове, он не знал. У него было такое чувство, будто что-то внутри него освободилось или вот-вот освободится. Что освобождается, он пока не знал, но чувствовал также, что все жесткое и натянутое внутри него размягчается, расслаивается, и оба эти чувства были как-то связаны.

Солнце стояло высоко в небе. Оно взлетело туда в мгновение ока. Он не представлял себе, сколько прошло времени. Наверное, я спал, подумал он, только это был какой-то нехороший сон. Я словно исчез, но куда? Теперь он был на пляже не один. В нескольких шагах загорали, прикрыв лица шляпами, две девушки в бикини, были и еще люди. Разморенный жарой, с путающимися мыслями, побрел он к общественной уборной. Воды в кранах по-прежнему не было. Высвободив руки из рукавов комбинезона, он сел на слой нанесенного песка, голый по пояс, и попытался привести мысли в порядок.

Он все еще сидел там, когда в уборную вошел тот самый высокий с женщиной, которую он тоже назвал своей сестрой. К. хотел встать и уйти, но высокий его обнял.

— Мой друг мистер Лесоруб! — воскликнул он. — Как я рад тебя видеть! Почему ты ушел от нас так рано утром? Разве я не пообещал, что сегодня у тебя будет праздник? Смотри, что я принес! — Из кармана пиджака он извлек маленькую бутылку бренди. (И как это он умудряется быть таким элегантным? Ведь живет на горе, с удивлением подумал К.)

Высокий потянул К. вниз на песок.

— Сегодня вечером мы идем на вечеринку, — прошептал он. — Там будет много народу.

Он приложился к бутылке и передал ее К. Михаил отпил глоток. От сердца стала разливаться теплота, голова блаженно онемела. Он лег, все вокруг плыло.

До его слуха донесся шепот; потом кто-то расстегнул нижнюю пуговицу его комбинезона, и внутрь скользнула прохладная рука. К. открыл глаза. Это была женщина. Он оттолкнул ее руку и хотел встать, но мужчина сказал:

— Успокойся, друг, мы в Си-Пойнте, сегодня великий день, день, когда совершаются чудеса. Успокойся же и радуйся жизни.

Он поставил бутылку в песок рядом с К. и исчез.

— Кто твой брат? — хрипло спросил К. — Как его имя?

— Его имя Декабрь, — ответила женщина. Декабрь, не ослышался ли он? В первый раз она заговорила с ним. — Это имя записано в его пропуске. Завтра он может его сменить. Будет другой пропуск с другим именем. Чтобы сбить с толку полицию.

К. хотел оттолкнуть женщину, но не смог и сдался кружению в голове и далекой влажной теплоте.

Он и сам не знал — может быть, он спит. Она легла с ним рядом на песок, и он увидел, что она совсем молодая, просто серебряный парик ее старил.

— И он в самом деле твой брат? — пробормотал он, думая о мужчине, который ждал снаружи.

Она улыбнулась. Потом склонилась и поцеловала, раздвинув языком его губы.

Когда все кончилось, он почувствовал, что должен что-то сказать, и ради себя, и ради нее, но все слова куда-то ускользнули. Покой, который дал ему бренди, начал улечувиваться. Он отпил из бутылки и передал ее девушке.

Над ним замаячили какие-то тени. Он открыл глаза и увидел девушку, она уже была в туфлях. Рядом с ней стоял мужчина, ее брат.

— Поспи, друг, — сказал мужчина, и голос его звучал где-то далеко-далеко. — Вечером я приду за тобой и отвезу на праздник, который тебе обещал, там будет много еды, ты увидишь, как веселится Си-Пойнт.

К. подумал, что они наконец ушли, но мужчина вернулся и, нагнувшись к нему, прошептал на ухо:

— Трудно проявлять доброту к человеку, которому ничего не нужно. Говори, чего тебе хочется, не бойся, тогда ты все получишь. Послушайся моего совета, мой тощий друг. — И потрепал К. по плечу.

Оставшись наконец один, дрожа от холода, с растрескавшимся горлом, с подстерегающим в тени сознания стыдом за то, что произошло с девушкой, К. застегнул комбинезон и вышел из уборной на пляж, где солнце уже опустилось низко и девушки в бикини складывали сумки, собираясь уходить. Шагать по песку стало еще труднее, чем раньше; раз он даже потерял равновесие и свалился на бок. Затренькал колокольчик мороженщика, он заспешил

было, хотел догнать его, но вспомнил, что денег у него нет. На мгновенье в голове прояснилось, и он понял, что заболел. Что-то странное творилось с его телом. Ему было одновременно и холодно и жарко, если только такое возможно. Потом все снова как бы окуталось туманом. Он стоял у подножия лестницы, вцепившись в перила, и тут мимо прошли те две девушки, они отвернулись от него и, как он заподозрил, старались не дышать. Он смотрел, как они поднимаются по ступенькам, и с изумлением почувствовал, что ему хочется вонзить пальцы в их мягкую плоть.

Он напился из крана во дворе виллы «Лазурный берег», закрыл глаза ипил, представляя себе, как прохладная вода сбегает с гор в резервуар над парком Де Ваал и потом бежит много миль под городом по трубам, в темноте, под землей, чтобы излиться здесь и утолить его жажду. Ему пришлось опорожнить себя, он ничего не мог поделать, и он снова стал пить. Легкий, такой легкий, что ноги его, казалось, не касаются земли, он вошел из сумерек улицы в черноту коридора и без колебаний повернул ручку двери.

Комната, где когда-то жила его мать, превратилась в склад мебели. Глаза его привыкли к полумраку, и он различил громоздящиеся от пола до потолка десятки стульев из стальных трубок, свернутые огромные пляжные зонты, покрытые белым пластиком столы с отверстиями посредине, и возле двери — три раскрашенные гипсовые скульптуры: олень с шоколадными глазами, гном в желтой куртке, в желтых же панталонах до колен и в зеленом колпаке с кисточкой, человечек с длинным носом, крупнее оленя и гнома, — Пиноккио, узнал он.

Пригнувшись, К. шагнул в темный угол за дверью. Ощупью нашел постель на полу — смятое одея-

ло, лежащее на расправленных картонных коробках. Упала и покатилась пустая бутылка. От одеяла пахло вином, табачным дымом, застарелым потом. Он лег и завернулся в одеяло. И тут же в ушах начался звон, запульсировала привычная боль в голове.

Вот я и вернулся, подумал он.

Завыла первая сирена, объявляя о наступлении комендантского часа. И тотчас же к ней присоединились все сирены и гудки города. Потом какофония стихла.

Спать он не мог.

Против воли он вспоминал шлем серебряных волос, вспоминал, как девушка трудилась над ним. У всех я вызываю жалость, подумал он. Где бы я ни появился, находятся люди, готовые излить на меня свою жалость. Мне уже столько лет, и все равно я кажусь сиротой. Они относятся ко мне как к детям из Яккалсдрифа, они были маленькие и не могли совершать преступления, и потому их кормили. От детей ждали в ответ только неловких слов благодарности. От меня они хотят большего, потому что я дольше живу на свете. Они хотят, чтобы я открыл перед ними душу, рассказал о своей жизни, которую прожил в клетках. Они хотят услышать обо всех клетках, в которых я жил, как будто я попугай, или белая мышь, или обезьяна. И если бы в «Норениусе» меня учили не чистить картошку и решать задачи, а рассказывать разные истории, если бы меня каждый день заставляли рассказывать историю моей жизни, стояли бы надо мной с палкой и били, пока я не научусь рассказывать без запинки, тогда я, может быть, сумел бы угодить им. Я рассказал бы им о жизни, проведенной в тюрьме, где я день за днем, год за годом стоял, прижавшись лбом к колочей проволоке, и смотрел вдаль, мечтая о том,

чему никогда не сбыться, рассказал бы, как охранники оскорбляли меня, пинали ботинками в спину и гнали мыть полы. Услышав мой рассказ, люди качали бы головами, сочувствовали мне и негодовали, кормили вкусной едой и поили вином, женщины клали бы меня к себе в постель и в темноте любили бы меня. А правда в другом: я садовник, сначала я работал в городском саду, потом был сам по себе, но все равно садовники проводят жизнь, уткнувшись носом в землю.

К. беспокойно ворочался на своей картонной постели. Его волновали эти дерзкие слова: «Правда в другом, в другом, я садовник». Он громко повторял их снова и снова. А с другой стороны, разве не странно, что садовник спит в каморке и слушает, как рядом бухают волны?

Пожалуй, я похож на земляного червя, подумал он. Червь ведь тоже рыхлит землю. Или на крота, крот тоже роется в земле и никому не рассказывает о себе, он живет в молчании. Но что делать кроту и земляному червю на асфальте?

Он попытался расслабить свое тело, как когда-то умел, сантиметр за сантиметром.

Что ж, подумал он, по крайней мере, я никогда не хитрил и не принес в Си-Пойнт ворох историй о том, как меня били в лагерях, морили голодом и вышибли мозги. Я был нем и прост в начале жизни, буду нем и прост в конце. Ничего нет стыдного в том, что ты дурачок. Дурачков первыми начали упрячивать в лагеря. А сейчас устроили лагеря для детей, которых бросили родители, лагеря для людей с большими головами и лагеря для людей с маленькими головами, лагеря для рабочих, которые лишились средств к существованию, лагеря для крестьян, которых согнали с земли, лагеря для бродяг, ко-

торые живут в подземных водостоках, лагеря для проституток, лагеря для неграмотных, лагеря для повстанцев, которые прячутся в горах и по ночам взрывают мосты. Может быть, счастье в том, чтобы просто не попасть в лагерь, ни в один из этих лагерей. Может быть, сейчас этого и довольно. Много ли осталось народу, кто не упрятан в лагерь и не стоит у ворот с автоматом в руках? Я убежал из лагерей; может быть, если я буду жить тихо, мне удастся избежать и жалости.

Моя ошибка в том, думал он, возвращаясь мыслями в прошлое, что я не запас разных семян, надо мне было разложить их по всем карманам — в один семена тыквы, в другой семена кабачка, в третий гороха, моркови, свеклы, лука, помидор, шпината. И в башмаки надо было их положить, и за подкладку куртки, если вдруг воры встретятся по дороге. И еще ошибка была в том, что я посадил все семена рядом. Надо было рассадить их по вельду за несколько миль друг от друга на маленьких взрыхленных клочках земли величиной с ладонь, сделать карту и все время носить с собой, каждую ночь обходить с ней посадки и поливать. Ибо для всего на свете есть время — уж это-то он понял там, на ферме. (Значит, это и есть мудрость, к которой он пришел всей своей жизнью, — что для всего на свете есть время? Значит, так вот мудрость и является, неожиданно и нежданно, когда ты просто живешь и меньше всего ее ожидаешь?)

Он стал думать о ферме, о серых зарослях терновника, о каменистой почве, о кольце холмов, о лиловых горах вдали, об огромном спокойном пустом синем небе, о бурой выжженной траве, в которой, если приглядеться, можно вдруг увидеть ярко-зеленый лист тыквы и метелку моркови.

А ведь вполне может случиться, что человеку, который плюет на комендантский час и приходит ночевать в этот вонючий угол, когда ему вздумается (К. он представлялся маленьким сутулым старичком с бутылкой в кармане, который все время бормочет что-то себе в бороду, полиция на таких стариков не обращает внимания), вполне может случиться, что ему надоело жить у моря и он захочет отдохнуть где-нибудь на ферме, если только найдется кто-нибудь, кто отведет его туда. Сегодня они могут переночевать в одной постели, ему не раз приходилось так ночевать, а утром, на рассвете, они пойдут на окраину искать брошенную тачку; и если им повезет, уже к десяти они будут шагать по шоссе, купят по пути семена и другие нужные им вещи, но Стелленбос они обогнут, это несчастливое место. И когда старик вылезет из тачки, потянется, разминаясь (события в его воображении развивались все быстрее и быстрее), посмотрит туда, где когда-то стоял насос, который взорвали солдаты, чтобы ничего от фермы не осталось, и растерянно спросит: «А где же мы возьмем воду?», он, Михаэл К., вытащит из кармана чайную ложку, да, чайную ложку и большой моток бечевки. Он очистит от обломков вход в скважину, согнет ручку ложечки и сделает петлю, привяжет к ней бечевку и опустит глубоко под землю, и когда он потом достанет ее, в ложке будет вода; вот видишь, скажет он, здесь вполне можно жить.

СОДЕРЖАНИЕ

В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ

Перевод А. Михалевс

5

ЖИЗНЬ И ВРЕМЯ МИХАЭЛА К.

Перевод И. Архангельской, Ю. Жуковой

247

Литературно-художественное издание

Дж. М. Кутзее

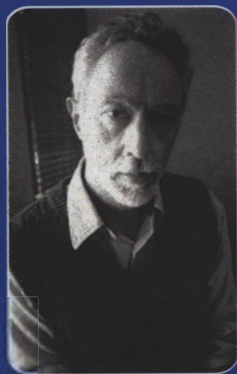
В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ

Ответственный редактор *Павел Крусанов*
Художественный редактор *Егор Саламашенко*
Технический редактор *Любовь Никитина*
Корректор *Вера Чаленко*
Верстка *Максима Залиева*

Подписано в печать 27.10.2003.
Формат издания 84×108^{1/32}. Печать высокая.
Усл. печ. л. 24,36. Тираж 7000 экз.
Заказ № 1371.

ИД № 02164 от 28.06.2000.
Торгово-издательский дом «Амфора».
197022, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 23.
E-mail: amphora@mail.ru

Отпечатано с фотоформ
в ФГУП «Печатный двор» им. А. М. Горького
Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.



Джозеф М. Кутзее – единственный человек в мире, который дважды получал Букеровскую премию. Первый раз это случилось в 1983 году, тогда приз взял роман «Жизнь и время Майкла К.», вошедший в эту книгу. И во второй раз – в 1999-м, когда победил уже известный русскому читателю роман «Бесчестье». В 2003 году Кутзее стал Нобелевским лауреатом. В заявлении Шведской академии говорится, что «романам Кутзее присущи хорошо продуманная композиция, богатые диалоги и аналитическое мастерство».

*Я не провозвестник каких-либо идей –
я лишь тот, кто рвется к свободе,
как рвется к ней всякий закованный узник,
тот, кто воображает людей, вырвавшихся
из оков и обративших свои лица к солнцу.*

Джозеф М. Кутзее

OM
журнал

МК В ПИТЕРЕ



ISBN 5-94278-458-2